



ОЛЕГ БОРИСОВИЧ МЕРКУЛОВ

КОМБАТ АРДАТОВ

Повесть

От автора

В истории Великой Отечественной войны есть подвиги, которые навечно прославили стойкость, мужество нашего человека, его готовность к самопожертвованию ради защиты нашей Родины. И его солдатское умение.

Чем дальше отодвигает нас время от суровых дней войны, тем больше мы узнаем имена тех, кто, не щадя себя, воевал не только отважно, но и умно, талантливо.

Немыслимым, на первый взгляд, подвигом, повторившим подвиг панфиловцев, был бой воинов 1379 полка 87 стрелковой дивизии в конце августа 1942 года на дальних подступах к Сталинграду. Там, у Малой Россошки, небольшая группа красноармейцев, сержантов и командиров, оторванная от частей Красной Армии, обороняла рубеж, на котором ее застал рассвет.

Гитлеровцы жестоко бомбили район обороны, обстреливали из орудий и минометов, но ни уничтожить защитников этого кусочка советской земли, ни сломить их волю к сопротивлению не могли.

Несмотря на потери, группа отбила атаки батальона, который поддерживали в общей сложности 70 танков, истребила 150 захватчиков, сожгла и вывела из строя 27 танков. Когда наступила ночь, 33 мужественных воина отошли для соединения со своим полком.

Конечно, определяющим фактором победы в этом бою были отвага и стойкость. Но война это ведь и «ратный труд», и, как всякая работа, она требует профессиональных знаний, опыта, умения.

Те, кто удерживал Малую Россошку, были вооружены лишь гранатами, бутылками с горючей жидкостью и единственным противотанковым ружьем. Но они сумели задержать наступление немцев, многократно превосходящих их числом и техникой.

Этот подвиг свидетельствует, что стойкость, в основе которой лежит верность своей земле плюс умение воевать, — и есть сила непобедимая.

Героизм и мастерство 33-х сталинградцев послужили импульсом для создания книги «Комбат Ардатов». Однако ее герои не списаны с конкретных участников тех боев — вряд ли можно было бы сейчас сделать это в меру правдиво: прошло 34 года. Но совпадает и фабула событий, потому что повесть имеет особенности, отличные от документальной публикации.

Но сущностью «Комбата Ардатова» является то главное, что было главным для 33-х защитников дальнего рубежа Сталинграда, — мужество нашего солдата и офицера, их умение защищать Родину.

— Минутку, голубчик! Минутку! Мы, кажется, однополчане. Я не ошибаюсь? Конечно же, не ошибаюсь. Ну-те-с! Дайте мне вашу руку. Так, рад! Очень, очень рад видеть вас. Вы — Ардагов. В сорок первом — командир роты второго батальона двести семьдесят шестого полка. Не так ли?

— Так! Так, Варсонофий Михайлович! — подтвердил радостно Ардагов, до хруста пожимая руку полковника Нечаева. — Я тоже очень рад вас видеть. Тогда, под Уманью, когда мы...

— Ладно, голубчик, — вздохнул Нечаев. — Пойдемте-ка ко мне. Пойдемте, пойдемте. Коридор не место для таких разговоров... Умань! Сенча! — продолжал Нечаев, увлекая Ардагова за собой. — Это, знаете ли, уже история. Грустная, но история...

Полковник Нечаев, начальник оперативного отдела штаба армии, в которую Ардагов прибыл из командирского резерва, его бывший однополчанин по службе в Житомире и с начала войны до окружения под Уманью, полковник Нечаев встретил его в школьном коридоре — штаб армии размещался в школе на заречной окраине города, — узнал, улыбнулся, сверкнув золотыми коронками, пожал коротко и сильно руку и привел в спортзал, где под шведскими стенками, под канатами, кольцами, турниками, за столами и партами, сдвинутыми по три, четыре вместе, над картами и бумагами сидели командиры оперативного отдела — операторы.

Ардагов тоже сразу узнал Нечаева: прошел хоть и тяжкий, но только год, и Нечаев, как и все, не очень-то изменился, он лишь побледнел да погрузнел, сидя над картами и схемами по суткам, лишь гуще были нафабрены, чтобы скрыть седину, его короткие и широкие — английские, модные до войны среди старших командиров, — усы, лишь увеличились под запавшими глазами мешочки. Но пробор в его приглаженных, не поредевших ничуть темно-соломенных волосах был безукоризненно точен, и от пробора пахло «шипром».

Поблескивая стеклышками пенсне, Нечаев некоторое время рассматривал Ардагова, потом притронулся к ордену «Красного Знамени».

— «Звезда» — за шепетовские бои. Помню, сам писал представление. А этот?

— За Москву.

Нечаев отступил на шаг, заложил руки за спину, наклонил голову набок, все продолжая его разглядывать.

— Славно. Славно, голубчик. Простите, не помню вашего имени, отчества.

Ардагов назвал.

Хотя и до войны между ними была служебная разница — Нечаев был тогда начштаба дивизии, хотя и в эту встречу их разделяли три чина, Нечаев говорил с ним, как с равным; это было приятно, разговор получался человеческий.

Сокрушаясь, что приказ о назначении Ардагова подписан и что поэтому Ардагов должен спешить, Нечаев расспрашивал, о ком он из общих знакомых слышал, в свою очередь рассказывая, о ком знал сам.

Эта часть разговора была трудной. Они говорили о тех, кто был убит, кто пропал без вести, кого искалечило. Живых, воюющих на разных фронтах, они вдвоем не назвали и дюжину: еще до Умани их дивизия потеряла две трети командиров, а из окружения вышли вообще немногие.

— Да, голубчик... — пускал дым от толстой папиросы Нечаев, шурясь вроде бы от него. — Видите, как все сложилось. Мы рассчитывали совсем на другую войну — победную, скоротечную, малокровную, но... Вы-то сами как выходили?

— Где? Под Вязьмой?

— Вы и под Вязьмой были?

— Был. Там оказалось и легче и трудней. Трудней — потому что они отрезали нас глубже, легче — потому что леса; леса спасали от авиации и кормили. Две недели мы шли на ягодах и грибах.

— А под Уманью?

Ардагов коротко рассказал.

— Помню, — покивал Нечаев.

Нечаев по памяти нарисовал на листке кусок Днепра, прижатые к нему армии: Умань, Первомайск, Новоархангельск и несколько деревень.

— Здесь? На колхоз «Светлый путь»? Еще северней? Значит, вы были во второй отвлекающей группе. Мы выходили так, — он начертил изогнутую стрелку к Новоархангельску. — Первую группу

немцы приняли, как и надо полагать, за отвлекающую, вашу за основную, а мы тем временем ударили южнее...

Их главный разговор произошел позднее, вечером. Они поужинали в штабной столовой, потом Нечаев отвел его в комнату, где спали штабисты.

Здесь от аккумуляторов горела тусклая лампочка, было тихо, так как одеяла, закрывающие окна, глушили звуки, и казалось, что они находятся не на окраине Сталинграда, к которому подходят немцы, а где-то далеко от войны, черт знает где, на какой-то зимовке, что ли.

Из шести кроватей две оказались запятыми. На них, несмотря на ранний еще вечер, спали, причем, один командир, сложив аккуратнейшим образом обмундирование, спал под простынью, а другой спал, только сняв сапоги, неудобно — наискось — упав на кровать.

— Располагайтесь, — гостеприимно показал на кровать рядом, со своей Нечаев. — У нас всегда есть места, всегда кто-то в частях, так что вы можете как Малюгин, — Нечаев кивнул на того, кто спал под простынью, — воспользоваться случаем. Командующий дал ему на отдых четыре часа. Он и в баню успел, и в парикмахерскую, и сейчас, как на курорте в Евпатории. Что ж, после блиндажа... Он командир восемьдесят седьмого, и от полка у него процентов тридцать. Фу ты...

Нечаев тяжело опустился на кровать.

— Хорошо! И хорошо, что у меня сегодня палестина времени — до полуночи. И потолкуем и поспим...

Нечаев расстегнул ворот, стал снимать гимнастерку и пробубнил под ней:

— Должен признаться, вы, голубчик, мне не очень нравитесь. Слишком мрачны.

— С чего веселиться, Варсонофий Михайлович? — сказал Ардатов, расстилая постель. — Не вижу причин. Они — на Волге. Или вот-вот будут на Волге. Не до веселья.

— Что ж, голубчик, вы правы, они вот-вот будут на Волге, — согласился Нечаев, переобуваясь в танки. — Причин для веселья нет. Но все-таки! Все-таки тонус должен быть выше. А вы мрачны как... гробовщик. И так же торжественны. Это не годится. Извольте быть оптимистичней.

Нечаев улыбнулся ему светло и искренне:

— Я очень, очень рад видеть вас...

Вошел, тихо ступая, вестовой и сразу же за ним вошел мотоциклист. Мотоциклист остался у двери, а вестовой, наклонившись, стал будить того командира, который спал одетым.

— Туварищ капитан, а, туварищ капитан, — говорил он, произнося «у» вместо «о». — Пура вам. Пура!

Капитан открыл один глаз и уставился им на мотоциклиста.

— Заправились?

— Заправились.

— Поели?

— Поели.

Капитан вздохнул и закрыл глаз.

— Жиклер?

— Сменил.

— Ага, — сказал не слишком довольный капитан и посмотрел в полевую сумку, проверяя, там ли пакет.

— Держитесь все время на Гумрак, — предупредил капитана Нечаев. — Три километра западнее — развилка дорог. Не просмотрите. Коричеву скажите, что бригада на марше, это первое, и, второе, пусть бережет боекомплект. До следующей ночи ничего подбросить не сможем, так что все, чем он располагает, — на сутки.

Капитан, подхватив автомат, ушел, на ходу застегивая ремень.

— Они опять сделали такой рывок! За июнь-август прошли полтысячи верст. Подумать только! — вернулся к прежнему разговору Ардатов, когда они уже лежали.

Он приподнялся на локоть, чтобы из-за тумбочки можно было видеть лицо Нечаева.

— Не укладывается в голове, Варсонофий Михайлович. Как все это получается? Объясните. У меня голова кругом идет.

Еще в госпитале, следя за тем, как немцы захватывают его землю, слушая по радио сводки Информбюро и читая их в газетах, обтолковывая эти сообщения с товарищами по палате, Ардатов

чувствовал, как с каждым днем все больше камнеет его сердце. Но ни он, ни его товарищи не могли объяснить, почему же немцы идут и идут и никак их не останавлият! Сводки же, давая только факты, не раскрывали их причин, и Ардатов был рад, что встретился с Нечаевым и мог поговорить с ним, тем более, что у них установился доверительный тон. Нечаев ежедневно работал с генералами, его командарм работал с командующим фронтом, эти люди знали во много раз больше Ардатова, и многое от них, конечно же, знал Нечаев.

— И это лето трагедия! — вырвалось у Ардатова.

— Спокойней, — остановил его Нечаев. — Спокойней, Константин Константинович!

Без пенсне — Нечаев протирал его уголком простыни — его крупное лицо было более открытым, стеклышки не загораживали глаза, и лицо Нечаева было сразу и сумрачным, и в то же время озаренным твердой надеждой. Сумрачность шла от широкого лба, пересеченного, как разделенного на две части, морщиной над переносицей, от сжатого рта, от углов которого к низу подбородка тоже падали морщины, а надежда светилась в усталых голубых глазах.

— Для нас — да, трагедия. Но для них... — Нечаев поправил пенсне получше. — Но для них, для немцев — катастрофа!

— Вот как! — Ардатов забыл, что надо говорить вполголоса, и сказал это громко, но тут же повторил тише, наклоняясь еще больше с кровати. — Вот как! Катастрофа? Варсонофий Михайлович, объясните. Я понимаю, вам надо отдыхать, в двадцать четыре ваше дежурство, но все-таки объясните. Для меня это очень важно. Катастрофа! Вы... вы уверены в этом?

Само это слово — ка-та-стро-фа! — и тон, каким оно было сказано — спокойно-беспощадный тон, — захлестнули Ардатова неразумным, каким-то шальным восторгом: он ни от кого не слышал такого жесткого, неотвратимого, какого-то математически неизбежного приговора, возмездия немцам.

— Сколько вам лет? — неожиданно спросил Нечаев, не очень одобрительно глядя на него и сказав несколько раз «Гм. Гм. Гм».

— Тридцать три.

— Может, это и оправдание, — покачал головой Нечаев, как бы уверяя себя. — Хотя... хотя Иисусу было тоже тридцать три, и Цезарю. И Остапу Бендеру. — Об Остапе он сказал с усмешкой. — Но ведь тоже ум. Так... — Он приоткрыл тумбочку. — Все это — односторонние знания и, главное, голубчик, вы заучивали только чужие готовые выводы, но не учились думать.

— Я попал в училище сразу после первого курса.

Ардатова не обидели, не затронули слова насчет односторонних знаний и прочего: Нечаев сказал их неоскорбительно, но все-таки Ардатов ощутил какое-то чувство вины, как если бы он, Ардатов, был виноват в том, что мало думал, но, может быть, так оно и было вообще-то.

— После училища, после года взводным, перед тем, как дать роту, в тридцать девятом, трехмесячные курсы — вот и все.

— Не много, — согласился Нечаев, доставая из тумбочки школьный атлас. — Кем вы хотели быть? На каком факультете учились?

— Географом. Отец географ, школьный учитель. Я тоже хотел учить ребят географии. И, наверное, истории.

Нечаев листал атлас, подбирая карту.

— Откуда вы?

— Алма-Ата.

— По-старому — Верный. Благословенные края! — Нечаев улыбнулся. — Тишина, покой, неторопливая жизнь, а на базарах верблюды и безобразные, но трогательные ослы.

Ардатов улыбнулся.

— Да, их там много. Вы бывали в Алма-Ате?

— Нет. Был один раз во Фрунзе. Пишпек. Не долго. И давно... Мне показалось там, что именно о таком городке пел Вертинский: «В пыльный маленький город, где вы жили ребенком, из Парижа весною пришел туалет...»

Нечаев замолчал, задумался, и мысли у него были, наверное, светлые, потому что Ардатов видел, как светится, отражая эти мысли, все его лицо. Потом он, все с той же светлой улыбкой, спросил:

— Вы, наверное, очень хорошо жили до войны. Вообще, все там, в Алма-Ате, наверное, жили хорошо? А?

Ардатов, затрудняясь со скорым ответом, было пожал плечами, соображая, что же ответить — хорошо ли он жил или жил плохо до армии, и если хорошо, то отчего, и если плохо, то почему, но, видимо, Нечаев и не ждал, что он скажет, потому что уже сам решил:

— Хорошо. Хорошо жили, — и пояснил: — Там, в этих благословенных, тихих краях нельзя жить плохо. Покой, неторопливость, человек живет тем, что есть, и не бьется в жизни в погоне за какими-то иллюзиями.

Он вздохнул, но сразу же извинительно улыбнулся.

— Я, пожалуй, начинаю уставать. Где-то здесь, — он показал всеми пальцами рук, прижав их к середине груди. — Иначе как же объяснить эту печаль по покою? А? А, батенька мой? Не согласны? Потому что не хотите перечить начальству? Оно ведь, знаете, любит, чтоб подчиненные только сладкие слова говорили...

«Да нет, — подумал Ардатов, — я жил хорошо. Чего же еще не хорошо? У меня было все — свобода, кров, еда и... и моя жизнь, которой я был волен распоряжаться по своему разумению...»

— Зачем же сладкие слова, Варсонофий Михайлович! — возразил он. — Они ни к чему... Но я и правда жил хорошо. И если бы не армия, если бы не война...

— Ничего! — перебил его Нечаев. — Человек когда-то будет жить и без войн и без армий. Будет же? А? Или вы в это не верите? Не верите в человека?

Нечаев спрашивал серьезно, пристально вглядываясь через пенсне в глаза Ардатова.

— А ведь это главный вопрос — вопрос вопросов. Чего же в человеке больше — светлого разума или звериного эгоизма?

— Не знаю, — смутился Ардатов. — Я как-то над этим не думал. Не могу ответить.

Нечаев тяжело и сокрушенно вздохнул, первый раз за всю их встречу, потер виски, пригладил ладонью пробор, рассеянно посмотрел на потолок, как-будто хотел там что-то прочесть, на одеяла, на окна, на спящего полковника Малюгина.

— Я тоже не могу. И хотелось бы... По теории... По, так сказать, науке. Однако повседневность иногда выбивает из-под ног все. Но, повторяю, может быть, мы с вами устали, отсюда и недостаток оптимизма.

— Да, сложно все это! — протянул Ардатов. — Сложно, голова кругом идет! И хотел бы понять, но...

Нечаев подождал, но так как Ардатов не закончил эту фразу, Нечаев мягко посоветовал:

— Чтобы что-то понять, голубчик, надо думать. Без этого — без желания думать — ничего не поймешь. Не уразумеешь. Легко только верить.

Он показал на атлас:

— Тут подобрал. Не удержался. Штабист! — Нечаев полистал атлас. — Разве штабист пройдет мимо карт? Или географ. Из дома пишут?

— Пишут. Хорошо, что мы успели вывезти семьи.

Ардатов помнил, что говорили тогда, в июне прошлого года — не позаботься Нечаев, кто знает, что было бы с женами и ребятишками командиров их полка. Мало ли погибло под бомбежкой командирских семей?

— А ваши?

— Жена... Жена пишет. — Нечаев прикоснулся, как бы поправляя его, к узкому обручальному колечку. — Из Казани. Сын убит. Под Ржевом. Я справлялся. Запрашивал часть — похоронен в районе деревни Сухие Борки...

Нечаев прилег, так что его голова спряталась за тумбочку, и оттуда закончил.

— Храбрый был мальчик — стрелял своей батареей в упор, сжег несколько танков. Погиб под гусеницами. Нелегко это, голубчик, иметь взрослых детей: они вне контроля.

Нечаев помолчал, откашлялся за тумбочкой.

— Так писал мой отец в последнем письме обо мне же: извечный закон, извечный инстинкт родителя к птенцам... От него, от него и от матери долго ничего нет. Знаете, Ленинград... В блокаду какая почта... Но будем надеяться...

Ардатов тоже тихо прилег, тихо дышал, мигая в полумраке, молчал, не зная, что сказать, не зная даже, нужно ли что-то говорить, потому что не было таких слов, которые могли хоть как-то помочь Нечаеву, могли уменьшить хоть на каплю его боль за стариков, которые бог весть как бедствовали в голодном блокадном Ленинграде, уменьшить хоть на каплю его горе за храброго мальчика, который бил

танки с сотни метров и жег их, но или не успел сжечь тот, который ворвался на его батарею, или у этого мальчика кончились снаряды и танк раздавил его, раздавил беспощадной стальной гусеницей.

— Будем, Варсонофий Михайлович. Будем надеяться... — скупое сказал он.

— Так вот!...

Нечаев пристроил на тумбочке фонарик, так, чтобы он светил на лист атласа «Украинская ССР», захватывающий и юго-запад РСФСР, и погладил лист:

— Итак — начнем. Кто стучится, тому отворят. Надо только стучаться. Вы, голубчик, постучались.

Итак — Курск. Вот Таганрог. Вот... — тронул карандашом карту Нечаев, но вошел тот же вестовой.

Вестовой посмотрел на бумажку, на часы, которые стояли, прижимая край одеяла, на подоконнике, и подошел к полковнику.

— Пура. Туварищ пулкувник, пура.

Малюгин вздрогнул, проснулся, скомандовал:

— Пятнадцать минут тебе — вскипятить чай, заварить покрепче. Водопровод работает? Нет? Добудь ведро воды умыться. Все! — и мгновенно уснул.

— Если бы вы появились раньше, можно было бы отдать вас ему, — сказал Нечаев, кивнув на Малюгина. — Вы бы, полагаю, сработались. Продолжим.

Он повел карандаш от Курска на юг, сделал возле Лозовой дугу на запад так, что дуга охватывала Изюм, Барвенково, Балаклею, повернул у Славянска снова на юг и провел черту до Таганрога.

— События развивались так. Начнем почти ab ovo¹.

[¹ — Ab ovo (лат.) — букв.: от яйца, т.е. с самого начала].

Малюгин, набирая темп, перестав отдувать губы, глубоко засопел. Он лежал на спине, скрестив большие, поднимавшиеся и опускавшиеся на груди руки. Когда он захрапел, Нечаев поморщился, и Ардатов, дотянувшись до кровати полковника, дернул за простыню. Это не помогло, тогда Ардатов встал и переложил полковника на бок.

— А? Бу! Трикута!... — пробормотал невразумительно Малюгин.

— Итак, этой весной, после зимней кампании, когда подсохло, стал вопрос: «Что дальше? Как вести войну дальше?» — начал академично спокойно Нечаев. — «Как и где?» Вопрос был аналогичный и для нас, и для немцев. При всех наших поражениях, в прошлом году мы устояли: молниеносная война типа французской кампании вермахту не удалась, хотя пропагандистский аппарат Гитлера трубил на весь мир о победах под Белостоком, Минском, Лохвицей, Смоленском, Вязьмой... Что ж, победы у них были — не будь их, разве немцы подошли бы к Москве?

Ардатов, выпустив дым, не сдержался и вздохнул.

Нечаев приподнял бровь:

— Не надо так горько! Сейчас мы не имеем права на это, как... как вы не имеете права учить ребят географии.

Проведя линию на другой карте от Баренцова моря до Таганрога, прикинув по масштабу длину этой линии, Нечаев продолжал:

— К весне и они и мы имели фронт: по прямой — больше двух тысяч километров, с кривыми, видимо, к трем. Естественно, ни мы, ни они не могли наступать на всех направлениях, хотя, отметьте себе, войну немцы начали всеми тремя группами — «Север», «Центр», «Юг» — и практически наступали ими до зимы. Этой же весной ни мы, ни они не могли наступать...

Подчеркнув «они», Нечаев медлил, давая возможность Ардатову понять разницу сорок первого и сорок второго.

— Ни мы, ни они! — повторил Ардатов. — Понял, понял, Варсонофий Михайлович! — сказал он возбужденно. — Вы видите в этом равенство. Вы его видите?

— Да! Именно — равенство. Равенство весной сорок второго как доказательство того, что немцы проиграли войну. Если мы ее не проиграли, а это могло быть только в сорок первом, значит — по большому счету — проиграли ее они.

Нечаев наклонился к Ардатову, так что лицо Нечаева теперь было совсем рядом — серьезное, хмурое, даже жестокое лицо — выражение жестокости появлялось, видимо, от холодных глаз, насупленных белесых бровей, плотно сжатого рта, вздернутого, раздвоенного ямочкой подбородка.

Крепко держа Ардатова за плечо, сжимая это плечо при каждом слове, как бы помогая воспринять значение этого каждого слова, Нечаев повторял и повторял:

— Раз мы не проиграли войну в сорок первом, а мы ее не проиграли, мы даже отшвырнули немцев от Москвы! — раз мы не проиграли войну в сорок первом, значит, мы ее вообще не проиграли! Это — ясно? Ясно?

Ардатов, вдруг озаренный всей глубиной смысла слов, которые как бы вбивал в него Нечаев, кивал, кивал, повторяя:

— Да, да. Ясно! Понятно. Не проиграли... Отшвырнули. Нет, конечно же, в сорок первом не проиграли! Как же проиграли! Ничего подобного! Наоборот... То есть, не наоборот, а устояли. Удержались... Костями, но удержали немцев и у Москвы, и у Ленинграда, так что... Хоть и миллионы легли в землю, хоть и миллионы — в земле...

Сжав сильнее его плечо, Нечаев, наклонившись еще ближе к нему, так что пенсне Нечаева было в каких-то сантиметрах, и за пенсне блестели прищуренные, словно разглядывающие что-то далекое, глаза — одновременно холодные, видимо, холодность эта относилась к немцам, в то же время и радостные — радость, наверное, рождалась от того, что эти глаза видели далеко-далеко; сжав сильнее плечо Ардатову, Нечаев закончил:

— Но если войну один из противников не проигрывает, значит, проигрывает другой! Беспроигрышных войн не бывает. И если мы не проиграли войны, значит, ее проиграют — проиграли, раз не выиграли — немцы!

Что немцы проиграют войну, Ардатов никогда не сомневался. Для него это было ясно с самого ее начала, — да разве можно победить навсегда Россию! — но победы немцев в сорок первом и теперешний рывок их к Волге не позволяли ему даже приблизительно увидеть день, когда можно будет сказать, так как сказал сейчас Нечаев. И он упрямо заметил:

— Логично. Я не могу не верить вам. Я хочу верить вам! Но... Но они все-таки выходят к Волге...

Нечаев приподнял карандаш, как бы запрещая возвращаться к этой теме.

— Весной, этой весной, мы, чтобы захватить стратегическую инициативу, ударили от Белгорода и Волчанска с севера, и от Лозовой и Балаклеи с юга с явной задачей — это видно по направлению ударов, — используя выгодную конфигурацию фронта, — эту дугу, — Нечаев обвел дугу, в которой были Изюм, Балаклея, Барвенково, — ударили с задачей выйти к Харькову и, отрезав немецкие части восточнее его, уничтожить их, освободить Харьков и...

— Наткнулись на кулак! — сердито закончил за него полковник Малюгин. Он сел, сонно поглядывая на дверь. — Они сами готовились к выходу на Дон, к повороту на Кавказ, собрали за Харьковом для этого мощную группировку, а мы на нее наткнулись!

— Да, — подтвердил Нечаев. — Именно поэтому сейчас и успех у них. Мы ждали, что весной они будут наступать на Москву, стянули к ней резервы, а немцы ударили на юг.

— Потеснили нас под Харьковом, а потом разорвали фронт от Курска до Таганрога и пошли, и пошли! Где же он провалился? — спросил о вестовом Малюгин.

Как будто только это и надо было спросить, как будто вестовой ждал этих слов: он открыл дверь, неся кипяток и заварку.

— Вудичка течет, — сообщил он.

— Веди, — приказал Малюгин.

— Он прав, — кивнул Нечаев на китель полковника.

Он полистал атлас, остановился на карте «Нижний Дон и Северный Кавказ» и повел карандаш от Курска через Воронеж к Сталинграду, от него на юг к Элисте, от Элисты к Моздоку и, заворачивая на запад, к Пятигорску, Майкопу, до Керчи. На зеленой с желтыми пятнами возвышенности и голубыми жилками рек карте синий карандаш Нечаева начертил какую-то некрасивую кисту, которая от Курска вверх и Таганрога внизу выдвигалась к Волге и Кавказу.

— Конечно, их операция — не местный успех, не тактическая удача, — констатировал Нечаев, разглядывая эту кисту. — С конца июня по сегодняшний день они прошли, — он приложил линейку, — на восток, если считать от Изюма, шестьсот километров, и на юг, — он опять смерил, — тоже полтысячи. Это масштабы из области стратегии, и, казалось бы, у немцев вновь победы. Но при внимательном рассмотрении — победы эти меркнут, ибо они — не решающие для всей войны.

Комната задрожала, они прислушались. По улице, приближаясь к школе, лязгая, грохоча, урча моторами, скрежеща всеми своими металлическими суставами, шли танки. Ардатов мысленно увидел,

как они идут: пыльные, горячие, пахнущие соляжкой, покачивая пушками, держась в темноте друг от друга так, чтобы механики-водители через открытые люки различали замаскированные стоп-сигналы.

— Вот и славно! — сказал Нечаев, слушая танки. — Семьдесят вторая. На полчаса раньше, значит, у нее полчаса лишнего ночного времени, это лишние десять верст.

— Вам, — сказал он Малюгину, кивнув на окно, когда Малюгин вернулся. — Полнокровная единица без БТ и Т-26, одни средние. Потрудитесь беречь ее.

— Да уж знаем, — буркнул Малюгин, усаживаясь к чаю и вождеденно нюхая заварку. — Теряешь каждую машину как свою руку, и сколько штук ты их потерял, столько раз тебе эту руку отрезали.

Потирая сердце, морщась, он достал из кармана кителя какую-то таблетку, кинул ее в рот и запил голой заваркой.

— А! — наслаждался, прихлебывая чай, дуя на него, Малюгин. — А! А! Ух ты! Хорошо! Хорошо!

— Казалось бы, захвачен громадный кусок густонаселенной территории, а это значит, что у нас отняты не только кубанский хлеб, промышленность Ростова, Ворошиловограда, Воронежа, поставлены под угрозу кавказская нефть, коммуникации Приволжья, но и что вычтены из нашего людского баланса новые два-три десятка миллионов людей. Если считать десять процентов, двадцать пять — тридцать дивизий, три миллиона резерва...

Дверь быстро и неожиданно открылась, и в комнату вошел низкий, широкоплечий старший лейтенант. Отдав честь, он на ходу доложил Малюгину:

— Встретил. Вывел на магистраль. Дальше с ними Ткачук. Машина и бронетранспортер здесь.

— Садись. Пей. — Малюгин подвинул ему стакан. — Как Архипов? Бутылки едут?

— Едут. — Старший лейтенант налил себе. — Едут, но не четыре, а три тысячи. Архипов разгружает баржу.

Малюгин подошел к кровати Нечаева, присел, держа стакан за самый верх, меняя руки, чтобы не обжечься, и заглянул в карту.

— Просвещаете? — Он взгляделся в линии, которые провел Нечаев. — А что, получился форменный «уйди-уйди». — Он повел ногтем по кисте. — Чем больше надуваешь, тем тоньше. Бросил сюда все, что мог собрать, вытянул только здесь фронт на две тысячи километров и думает удержаться! Барбизонец!

— Причем тут барбизонцы, Николай Николаевич? Но оскорбляйте художников, — возразил, усмехаясь, Нечаев. — Барбизонцы были отличными людьми.

Малюгин небрежно махнул рукой.

— Так как вы там дальше мыслите? Как дальше?

— Наступая между Донцом и Доном и далее между Волгой и Доном, они имели задачу разгромить, истребить наши армии, но выполнили ее лишь частично.

— Котлов не было, котлов не было. Разве что котелочки? — подтвердил Малюгин. — Он нас вытеснял, но не окружил!

Сейчас Ардагов и видел на лице Нечаева, и слышал в его голосе презрение.

— Николай Николаевич совершенно прав. Это очень точное сравнение — «уйди-уйди». К Волге они выходят, от этого не отвернешься. Однако — выходят с чем? В некоторых частях у них половина состава, а в Германии резервы людей не беспредельны. Можно построить новые заводы, боеприпасы, чтобы выпускать их бесчисленно, но кто-то же должен стрелять этими боеприпасами. А если же забрать под ружье всех, кто будет делать эти патроны и остальное? Есть предел, до которого можно увеличивать армию, то есть увеличивать ее боеспособность, но если этот предел перейден, тыл не может ее обеспечить, а это, значит, она теряет боеспособность. Тут заколдованный круг.

Сидя на кровати Нечаева, раскачиваясь под его слова, сжимая и разжимая свободную руку на цанге, Малюгин, прихлебывая из стакана, шевелил пальцами босых ног.

— И еще в Африку полез! Идиот какой-то! — бормотал он. — Вообразил из себя Наполеона. Тьфу!

— Вот именно, — подхватил Нечаев, — Гитлер вообразил, что вермахту все посылно, что вермахт, армия как его инструмент, может выполнить любые задачи политики, что невыполнимых задач для вермахта нет. Если представить себе Берлин, как трубку «уйди-уйди», то Гитлер, то есть в его лице политическое руководство Германии, раздул «уйди-уйди» до чудовищных размеров. Посчитаем-ка.

Он полистал тот же атлас и на разных картах вымерил и подсчитал:

— От севера Норвегии до Эль-Аламейна в Африке — четыре с половиной тысячи километров, от Ла-Манша до Волги — три с половиной тысячи. Разве мыслимо удержать такой пузырь? В Африке Роммель

остановлен, так что правый фланг войны Гитлера — выход через Египет к нефти Ближнего Востока — застрял в песках, и англичане теснят его, а левый фланг — удар на Ближний Восток через Кавказ — завяз перед горами. Что же касается нас, Сталинградского направления, так немцы снимают со второстепенных участков свои части и заменяют их румынами, итальянцами, венграми, только бы усилить головные армии, наступающие к Сталинграду. Но, предположим, мы их остановим у Волги? Что дальше? Где немцам брать новые дивизии? Откуда сдергивать их, чтобы послать сюда? Собрано, видимо, все, что у них было в резервах, не могут же они до ноля ослаблять западный театр, ту же Францию! Хотя что то, но там надо оставить. Ведь не может командир батальона, ради усиления одной роты, взять из двух других девяносто процентов состава. Чем тогда удерживать позиции этих рот?

— Если взять столько — это гибель всего батальона, — согласился Ардатов.

— Итак, они выходят к Волге дивизиями далеко не полного состава. Сколько-нибудь крупных стратегических резервов в Германии нет — все задействовано на разных театрах. На нашем фронте фланги 6-й армии прикрывают румыны, итальянцы, венгры, — продолжал Нечаев, — а над этими его союзниками нависает вся наша страна, а тут еще лето на исходе, а коммуникации растянуты, и в Африке они застряли — туда тоже, как в бездонную бочку, сколько ни бросай, не пополнишь! Мы свою промышленность почти раскачали, вот-вот раскачаются американцы, десантироваться в Англию немцы не могут, что же Гитлеру остается?

— Как можно громче кричать свои политические лозунги, — ответил Малюгин и стал обуваться.

Он обувался, не торопясь и посапывая.

— Нда!... Нда! — радостно протянул Ардатов. — Нда... Если смотреть именно так...

— Только так и надлежит смотреть! — резко, как бы приказывая, прервал его Нечаев. — Что же им остается? — переспросил он и сам же ответил: — Ничего, кроме как маневрировать тем, что у них есть. Латать тришкин кафтан — резать отсюда, чтобы зашивать там. Но ведь долго не наманеврируешь! Когда-то да запоздаешь, и вот тебе и удар в жиденький фланг. Мы ведь тоже насчет Канн обучены. Знаем и обход, и двусторонний охват, и теорию глубоких операций. Придет время...

На улице загудела, завывла сирена воздушной тревоги.

— Нас утро встречает прохладой, веселую песнью гудка! — пропел, слегка фальшивя, полковник Малюгин, надевая китель, поданный адъютантом, и застегивая пуговицы на выпуклой, как сегмент бочонка, груди. — Литературный вечер считаю законченным, — объявил он торжественно. — Ну, братцы! — он подал Нечаеву руку. — Спасибо за кров. И всего одна просьба, Михалыч, всего одна! Передай нач-арту, что если будет досыта давать снарядов, у меня он не пройдет. Сам понимаешь, пехоту мы можем держать штыком, прикладом, руками, от самолетов зароемся, но против танков нужны снаряды. Замолви насчет этого словечко, добро?

Нечаев приподнялся, не выпуская руки Малюгина.

— Добро. Замолвлю. Ну, а если не будет снарядов досыта? — Он строго блестел стеклышками на Малюгина. — Если не будет, если не сможем обеспечить, что тогда? Пропустишь танки? Чтобы они и тут вышли в наши тылы? И заставили опять оттягиваться восточней?

Малюгин крикнул, повел шеей, воротничок явно жал ему, сбывчился, отчего маленькие глаза загорелись свирепо, а на щеках заходили желваки.

— Тогда и их будем держать руками! Ляжем под гусеницы костями! — буркнул он и зашагал, скрипя половицами, к двери.

— Вот именно, — сказал ему в спину Нечаев. — До встречи. Ждем хороших вестей... Подведем итоги. Первое, немцы в прошлом году наступали пять месяцев и дошли до Москвы, в этом наступают пока два. Второе, их фронт наступления в пять раз меньше прошлогоднего, Третье, этим летом они продвинулись на восток в два раза меньше. Вдумайтесь в эти пропорции.

— Да! Да! Да! — радостно задакал Ардатов. — Скипают, извините за это слово, скипают, Варсонофий Михайлович.

Нечаеву все равно не поправился глагол «скипают».

— Не надо так, не надо так, Константин Константинович. Скипают щи, скипает молоко, еще что-то может скипать. А здесь ведь кровь, смерть, горе наших людей, горе страны. Прошу вас, не надо так. Школьникам бы вы так не сказали, — укорил он.

— Простите. — Ардатову стало стыдно. — Как-то вырвалось. Простите. Я вам очень благодарен за этот разговор. Поверьте, я...

Нечаев устало махнул ладонью.

— Это тоже лишнее — не будем тратить времени на благодарности. Лучше закончим. Малюгин прав не только насчет «уйди-уйди», хотя сравнение очень точное. Он прав и в том, что им не удалось уничтожить нашу группировку, они лишь основательно потрепали нас. Но оттесняя нас к Волге, они сжимали нас как пружину, но чем дальше они давят эту пружину, тем их усилие становится слабей, а сопротивление пружины нарастает, и рано или поздно пружина сорвется, ударит.

Опять положив руку ему на плечо, Нечаев теперь не сжимал его, а лишь несильно давил, как будто для того, чтобы контакт между ними был лучше.

— Видите, если вдуматься, то победы немцев меркнут. И у нас, и в Африке, выигрывая сражения, немцы проигрывают войну. Это неизбежно — Гитлер ради политических целей — мирового господства — бросил свою маленькую Германию против мира, и половина мира уже воюет против Германии. Разве не ясно, что разгром немцев неизбежен? Поэтому их прорыв к Волге — для нас трагедия, для них — катастрофа. Их победы здесь — не победа в войне. Понятно? Мы — страна — устояли и устоим, а значит, рано или поздно и победим. А сейчас — спать!

Нечаев зашевелился, нажал кнопку фонарика.

— Не хотите ли еще рюмочку? Что-то не действует, сон как будто приходит, но сразу же и отлетает. И опять мысли, мысли, мысли. Скачут, отталкивают друг друга, торопятся. Если бы можно было выключить их.

Нечаев без пенсне близоруко щурился.

— Налейте, будьте добры.

Ардатов налил.

— Переутомление. Вам бы надо хорошенько отоспаться. Может, все-таки примете снотворное? Половину дозы?

— Пожалуй, голубчик, надо. Дайте водички. — Нечаев откусил половину таблетки. — Какая гадость! Вот так. Минимум отдыха, максимум работы, кофе, кофе, кофе — живем на износ. Иного выхода нет. Нет, голубчик, пока нет.

* * *

— Тормози! Тормози! Стой! — скомандовал Ардатов. — Сейчас он нас!... Прыгать!

Шофер, удерживая правой рукой руль, левой распахнул дверцу, высунулся из кабины, чтобы увидеть, что там — сзади, прохрипел «Господи!», рванул ключ зажигания, ткнул что есть силы педаль тормоза, отчего полуторку занесло, и выпрыгнул на дорогу.

Одновременно с ним, сдернув с сидения вещмешок, спрыгнул и Ардатов. Ему это было сделать легче — он стоял на подножке и, держась за борт и кабину, следил, как «юнкере» снижается из виража на дорогу и как, догоняя их, все увеличивается и увеличивается в размерах, как будто бы растет на глазах.

Видимо, «юнкерс» начал бить в ту же секунду, — падая в ковыль, Ардатов услышал, как зачпокали по полуторке пули. Несколько осколков от бортов пролетело перед ним, а несколько щепок ударило и по нему: по ногам и спине. Но это было мелочью — «юнкерс», накрыв их гулом, мелькнул над ними, а полуторка все катилась к обочине.

«Пронесло! — подумал вслух Ардатов. — Вот дьявол! — Он приподнялся и посмотрел туда, куда улетел "юнкерс". — Нет, не вернется, — решил он. — Это они так, по пути: машина на степной дороге — цель заманчивая, а патроны остались, вот они... Жмут, сволочи, к аэродрому, чтобы перезаправиться и перезарядиться, да переговариваются — "Попали или не попали?"», — подумал он о летчиках, представляя их себе в кабине.

Разыскав мешок и подхватив его под ляжки, он пошел к машине.

— Все! — всплеснул руками шофер, давая ему заглянуть под капот. — Попал в трамблер. Отъездились. Если бы по резине, я бы поставил запаски, а трамблеров... Да еще и в карбюратор! Видите? Не повезло нам, товарищ капитан!

Ардатов, постукивая сапогом по скату, раздумывал — идти ли дальше пешком или заночевать у машины. «Идти, — решил он. — Дотемна еще часа полтора».

С кабины было видно далеко, и, разглядывая в бинокль все, что лежало не только перед ним, но и глубоко назад на флангах, Ардатов видел, что спереди — справа, и очень далеко, идет, затихая, бой — над этим куском земли еще летали самолеты. В бинокль с такого расстояния самолеты казались рыбками-

мальками — их серые, веретенообразные тельца то двигались по небу, то падали с него, пикируя. Так как ветер дул в ту сторону, взрывов не было слышно, но пыль и дым от них поднимались высоко и были заметны и без бинокля.

«По второму эшелону, — подумал Ардатов. — Для сегодняшней атаки поздновато. Готовят рывок на завтра? А может, хотят сделать последний рывок сейчас?»

— Ишь, врезал! — бормотал у него за спиной шофер, осматривая в кузове повреждения. — Не брезент, а сито. Куда он теперь годится? Поглядите, товарищ капитан.

— Я видел, — не оборачиваясь, ответил Ардатов. — Может, можно починить? Да и до дождей еще... еще далеко. — Он мог бы сказать «Да и до дождей надо дожить», но не сказал.

— Что у тебя под ним? Боеприпасы?

— Э, нет! — возразил шофер. — Гранат всего два ящика, остальное — харч. Хлебушко, консервы, сахар и концентрат. Ну-кося, как они?

Шофер зашумел брезентом, отвязывая его от бортов и откидывая с груза.

— Консерву да хлебушко и с дырками съедят, а вот сахарок он, сволочь, мне просыпал. В чего бы его собрать? И чем заторкать дырки?

— Дашь немного? — спросил Ардатов, разглядывая в бинокль небольшие группки людей далеко перед собой. Люди с такого расстояния были просто палочками, едва заметно перемещающимися по дороге. Различить, немцы ли это, наши ли, Ардатов не мог, но, подумав, что немцы не будут ходить такими группками, оторвавшись от своих, а разведку здесь, в степи, днем они послали бы на мотоциклах, Ардатов уверился, что это наши, и, прикинув дорогу по угловым делениям бинокля, сказал себе: «Я их встречу примерно там...»

— Так дашь немного своего харча? — спросил он еще раз, слезая с машины. — Или не можешь?

Запыленное худое лицо этого пожилого шофера было растерянным, он смущенно смотрел вбок, стараясь не встречаться своими выцветшими, почти водянистыми глазами с глазами Ардатова, и разглаживал в руках чистую майку, в которую он собирался собрать просыпавшийся сахар.

— Не могу, товарищ капитан. Вот... Вроде бы и много, так ведь не мое же? Кабы мое! А так... По весу ведь принял! Все записано. Как я потом? Скажут: а по квитанции больше!...

Ветер переменялся, и оба они вдруг услышали, как далеко впереди, справа от них, глухо рвутся бомбы. Они посмотрели туда, послушали, и шофер, перестав, наконец, разглаживать майку, начал завязывать ее подол в узел.

Ардатов вскинул на плечо вещмешок.

— Ясно. Ты в машине не спи. — Он не дал ничего возразить шоферу, который посмотрел на него с удивлением. — Утащат. Немцы утащат. Сплошного фронта здесь нет — они и мы маневрируем. Разрывы между частями — километры: для разведчиков благодать! Ты что, думаешь, у них нет разведчиков? Или их разведчики дураки? А слева наших вообще не видно.

— Да нет! Чего ж так думать? — возразил шофер приглушенно, как если бы эти немецкие разведчики-недураки уже шастали где-то поблизости. — Я...

— Как стемнеет, возьми карабин, побольше патронов, расположись там. — Ардатов показал место сзади — справа от машины метрах в двадцати, в невысоком, но густом ковыле. — Ночью от машины будет вонять за версту, и они могут выйти на нее.

— И сожгут? — открыл рот шофер и не закрывал его долго.

Ардатов покачал головой.

— Вряд ли. Зачем себя демаскировать! Машина им не нужна. Им нужен ты — язык. — На этом месте шофер и закрыл рот, как бы пряча свой, очень нужный немцам, язык. — Но бензин слей в ведро. Залить обратно недолго. Главное, чтобы завтра твой харч не попал немцам: наши отходят. Так что если придется, решение принимай сам. Спички есть? Хорошо. Жги — не жалея. Если не сможешь раздать, — уточнил он. — Нельзя, чтобы немцы набивали кишки нашей едой, а мы... а наш солдат воевал на сухаре да водичке. В общем — действуй.

Ардатов не стал досматривать, как, соображая, мигает шофер, и пошагал, усмехнувшись, вспоминая, как испугался шофер, что его, сонного, утащат из кабины.

Он прошел метров сто, когда услышал, что шофер его зовет: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Шофер бежал, прижимая к груди банки консервов и хлеб.

— Натe! Семь бед — один ответ. В крайности скажу: сам съел. Чего уж тут житье! Правда ведь, товарищ капитан? Правда? — с радостью и отчаянием допытывался шофер.

Видимо, шоферу нужно было его одобрение, и Ардагов, развязывая горловину мешка, кивнул:

— Правда. Правда. Сермяжная, брат, правда. Минутку! — Он достал из вещмешка три пачечки патронов к «ТТ», сунул две в задний карман брюк и одну в правый гимнастерки и командовал: — Сначала консервы. Чтоб не помять хлеб. Спасибо. Спасибо, что и подвез. Ну, — он протянул шоферу руку, — будем живы.

— Будем. Будем, товарищ капитан! — восторженно и приглушенно опять, как при разговоре о немцах-разведчиках, откликнулся шофер.

— Главное — не лезь на рожон, им только это и надо. Но и не трусь.

Махнув еще раз рукой шоферу, Ардагов пошел у края дороги — там было меньше пыли, — пошел сначала медленно, разогреваясь, потом прибавляя ходу, пока не набрал нужный, спокойный и в то же время хороший, ритм.

Вот эта пыльная дорога, одиночество на ней, садящееся солнце, треск кузнечиков в бурой, усохшей, жесткой даже на взгляд траве, и этот его пеший марш составляли последний отрезок пути: госпиталь — часть.

В полку, в батальоне должна была начаться новая жизнь, жизнь комбата на фронте, но пока — еще несколько часов — он принадлежал себе, был свободен.

Он мог идти, но мог и сесть передохнуть — перекусить, он мог даже, отойдя с дороги на сотню-другую метров в ковыль повыше, завалиться и подремать. Кто упрекнул бы его в этом? Разве что солнышко? Но оно, скатываясь к горизонту, уже даже не жгло, а лишь приятно бы грело, если бы он, и правда, завалился на песок.

— Давай, давай! — сказал он солнышку. — Грей. Впереди сентябрь, октябрь, ноябрь и тэдэ! Брр, — представил он себе эту степь в январе — морозище, стылая, как кирпич, земля да ледяные ветры. — Брр! В спину дует, а через грудь выходит. Давай, солнышко, грей!

Он мог петь, свистеть, покуривать. Он мог все — еще несколько часов мог все! В том числе и думать о чем угодно. Необязательно же он был обязан думать только о своем назначении и вообще о войне и обо всем, что с ней связано! Он мог думать о чем угодно! Хоть о папуасах! Или о китах! Или о красивых женщинах! Или о сушеной вобле к пиву! Или о том, что вся эта плоская, несмотря на увалы и высотки — все-таки плоская степь, лишь часть поверхности шара!

Еще когда он был подростком, отец научил его видеть землю не плоскостно, но шаром, так что каждая часть земли была лишь большим или маленьким куском этого шара. Они с отцом бывали в горах и ночевали там, и Ардагов в подзорную трубу рассматривал звезды и луну, и если звезды в трубе не менялись — они смотрелись только чуть крупней, чуть ярче, — то Луна виделась громадным, щербатым от кратеров шаром, висевшим, чуть покачиваясь, в черной бездне. Смотреть на такую луну так, чтобы не замирало сердце, было нельзя: казалось, что на ней тоже кто-то есть, кто, может быть, в свою очередь смотрит и на них, на землю, на землян. Так вот, отец, разговаривая с ним на все эти темы, спрашивал: «Но, предположим, кто-то и правда смотрит на нас. Что он увидит? Тоже шар, на котором в океанах лежат материки: Евразийский, Африка, обе Америки, Австралия»...

Днем они с гор смотрели в степь. Из-под пика Чкалова, — они выходили к нему через Талгарский перевал, — были видны прибалхашские степи. Иногда казалось, что у отодвинутого горизонта и синее Балхаш, который, он знал точно, лежит в этой части степи, и в которой там-то и там-то текут Или, Каратал, Аксу, Лепсы. Дальше, за Балхашом и в стороны от него, лежала его страна, а в стороны от нее, в свою очередь, лежали — на запад — Европа, а на восток — Тихий океан.

Прижимаясь к теплой скале, чувствуя, как нависает над ним громада пика Чкалова, он ощущал спиной этот пик лишь как часть Заилийского Алатау, который суть лишь часть Тянь-Шаня, а Тянь-Шань, в свою очередь — ветвь Памира. Он представлял, как от Памира в четыре стороны — в Тибет, Индию, в Афганистан отходят Гималаи, Гиндукуш, Куэньлунь. Пик Чкалова стал в его жизни той точкой отсчета, от которой, начинаясь здесь, расходилась вся земля, образуя шар. Именно от пика Чкалова он и научился видеть ее шаром.

Потом, в армии, полетав несколько раз на военных У-2 и Р-5 над Украиной и над западной Россией, где не было больших, загораживающих гор, он еще дальше увидел, как под небом расходится на триста

шестьдесят градусов земля, загибаясь вниз у горизонтов. После этих полетов он научился, он мог уже, лежа на траве, в любом месте видеть всю землю как шар, со всем, что, он знал, есть на нем.

Когда Нечаев заговорил о немцах в Африке и Европе и здесь, в сталинградских степях, Ардатов увидел Африку — континент в виде щита, сколотого на юго-востоке, что возле этого скола, как лодка, на якоре, стоит Мадагаскар, как по Африке текут поперек нее Конго, а вдоль Нил, где в Африке леса, а где Килиманджаро, где саванна переходит в пустыню, как там, и там, и там, и там — в разных местах — живут негры — высокие, стройные, и пигмеи, совсем черные и посветлей.

Он увидел все это, как если бы вдруг взлетел над Африкой так высоко, что мог видеть сразу всю ее — от океана до океана — и в то же время любой метр ее площади, будто через тысячекратный телескоп или своим, неимоверно обострившимся зрением. Он как бы провел глазами по Африке, замечая все, и вздрогнул, когда увидел, как вдоль ее северного побережья, от Средиземного моря на какую-то ширину вглубь, от Триполи, через Ливийскую пустыню к Египту вытянулась темная немецкая стрела, широкая у основания, сужающаяся к наконечнику, как рисуют эти стрелы на военных оперативных картах.

То ли спустившись ниже, то ли увидев лучше, он различил под стрелой людей и армейскую технику — танки, машины, пушки, минометы, находящиеся в движении, и что над всем этим летают, как стрекозы — поодиночке и стайками, самолетики. Немцы на светлом песке увиделись ему темными, и вся их техника тоже темной, а англичане светло-зелеными, хотя все там, в Африке — и люди и техника — были, конечно, песчаного, маскировочного цвета.

Он увидел, как англичане удерживают наступающих немцев, и перенесся через Средиземное море, как пролетел над ним, оставив позади сапожок Италии и изрезанные берега Греции, к Франции. Видя их географические контуры, не теряя эти контуры и на мгновение, он вновь различил и во Франции, и в Дании, и в Голландии, и в Польше, и на Скандинавском полуострове жизнь — людей, поезда, машины, города, засеянные поля.

«И всюду немцы! — мелькнуло у него. — И всюду их ненавидят! Да разве они долго удержатся! Конечно, нет! Да нет же! Да нет! Что их победы, что, по сравнению с целым миром?»

Потом Ардатов перенесся через Ла-Манш и увидел занимающую войной сосредоточенную Англию. Дымили заводы, на верфях клепали корабли, дежурили в истребителях летчики, висели, покачиваясь, аэростаты заграждения над городами, все было здесь хотя и как-то хмуро, но спокойно и деловито. Листнув назад всю Атлантику, он мысленно пролетел над Америкой и Канадой, — над этими гигантскими странами, всю работу на войну. «Да где же им, этим немцам!» — подумал радостно Ардатов, мысленно пролетая над Австрией, где тоже, хоть и меньше, но готовились воевать против немцев. Он развернулся к северу, мелькнул над Индией, там тоже формировались части, и для войны с японцами и для отправки на запад, и очень быстро, как по хорошо знакомому маршруту, полетел над своей страной, метнувшись сначала к Дальнему Востоку, а оттуда, пролетая над Сибирью к Уралу и от него еще дальше на запад, сразу вдоль двух железных дорог — через Свердловск на Пермь, Киров и через Свердловск, Казань, Куйбышев — к Москве.

Секунды он покружился над Средней Азией — от Каспия до Усть-Каменогорска, увидел Ташкент, Фрунзе, какие-то другие зелено-желтые, знойные города и, повиснув над Алма-Атой, упал вниз к Весновке, так что различил свой дом — отца во дворе, жену и Леночку: они что-то делали возле дома — не то складывали дрова, не то еще что-то делали по хозяйству.

Он различил даже щеколду на калитке, и у него дрогнуло и сжалось сердце, и защемило в глазах, и стал ком в горле, но он метнулся опять вверх, а потом через степь — к Уралу и Волге, и по ней к Сталинграду, думая о немцах: «Скоро их просто задавят!»

— Тоже мне!... Тоже мне! Барбизонцы! — повторил Ардатов ругательство Малюгина, хотя оно, конечно, не было, как заверил их Нечаев, ни на грамм ругательством. — И этот Гитлер! Рождает же земля ублюдков! Фюрер! Вождь! Полководец! Новый Наполеон!

Он сплюнул и, наклонив голову, шел так, не глядя вперед, а глядя под ноги, не замечал, конечно, ни пыли на сапогах, ни самой дороги, он шел, моргая, как бы просматривая внутренним зрением комнату, где он был с Нечаевым, Малюгиным, капитаном, вестовым, прослушивая вновь, что в ней говорилось.

Когда Малюгин ушел, они остались одни и некоторое время прислушивались к бомбежке — немцы бомбили далеко от них, взрывы слышались глухо.

— По переправам, — пояснил Нечаев, доставая из тумбочки бутылку коньяка. — Выьем по рюмочке — затормозим мысли, иначе не уснем. Хорошо бы снотворного, но нельзя — до обеда будешь сонный, а включаться надо через два часа. Хорошо бы бокал сухого вина, но его нет, так что прибегнем к коньяку. Благословенны ветвь и лоза виноградные...

Зашел вестовой с листком, записал, что подъем Нечаеву в 23.45, а Ардатову в 6.00, погасил лампочку и, отвернув одеяло, открыл окно. Взрывы стали явственней, слышались зенитки, пахло настурциями, табаками, пересохшей пылью.

Две рюмки коньяку, и правда, начали тормозить мысли, и Ардатов вытянулся под простыню, упираясь ступнями в холодные прутья и закинув за голову руки.

— Кстати, о Наполеоне, — вдруг изменил тему Нечаев. — Не лишне вспомнить о нем. Так вот... Так вот, французы тридцать четыре дня были в Москве. Но ведь ни на Поклонной горе, ни в Кремле Наполеон ключей от Москвы не дождался! Не принесли ему ключей, не поклонились! — Нечаев посмотрел на них, на всех так, как будто это он не принес Наполеону ключи от Москвы, это он не поклонился или, по крайней мере, не разрешил сделать этого другим. Глаза, лоб, сжатый рот — все лицо Нечаева, наверное, светилось гордостью за Россию 1812 года, за то, что он тоже был сын этой России.

Нечаев сел, загоровшись от того, что сам говорил. Голос его взволнованно дрожал, но это была дрожь радости, а не горя.

— Французы ели дохлую конину. Когда Кутузов повернул их с Калужской на Смоленскую дорогу, великая армия Наполеона была обречена. Вот увидите, немцы не только будут есть дохлятину, они будут радоваться ей. Вот увидите! — повторял он с жаром, вглядываясь в Ардатову.

— Да, да, голубчик. Да-да! Наполеон прошел Египет, но под Сен-Жан д'Акром, под жалкой крепостцой, которую когда-то брали крестоносцы, понял, что ему не удастся пройти дорогой Македонского — от Дамаска к Евфрату, потом к Багдаду, потом — в Индию. А ведь с ним были его лучшие генералы — Клебер, Жюно, Ланн, Мюрат. Шестьдесят два дня осады Сен-Жан д'Акра — впустую. Что из того, что за спиной, кроме Тулона, были победы у Газы, Яффы, Хайфы. Что из того? Нельсон сжег в Абукирском заливе весь его флот, и Наполеон с горсткой оставшихся двадцать пять дней пешком добирался к Каиру, оставляя грифам раненых, которые умирали в дороге. А потом?

— А потом? — как эхо, подхватил Ардатов. — А потом?

— А потом, — вторым эхом откликнулся Нечаев. — А потом на «Мюироне», на маленьком корвете, который английские патрульные суда принимали за рыбацкую фелюгу, он полтора месяца плыл ночами вдоль африканского берега, плыл, пробирался во Францию. А под утро забивался в первую попавшуюся бухточку, таился там, как преступник... И резался... — Ардатов удивился, что Нечаеву подвернулся такой точный, хотя и вульгарный глагол, но ведь и игра была куда как не вульгарной, вульгарней и не бывает. — И резался в очко!

— Не может быть! — вырвалось у Ардатову. — В очко? Четыре сбоку ваших нет? Ведь Наполеон же!...

— Вот именно — и ваших нет! — подтвердил Нечаев. — От великого до смешного один шаг. А до преступного и того меньше!

Они оба замолчали как два человека, обдумывающих одно, что-то новое для одного, странное, не очень-то сразу поддающееся пониманию и вере, старое, для другого, обычное, но все-таки столь глубокое и большое, что каждый раз, когда оно опять приходило на память, оно требовало повторного осмысливания и рождало все те же яркие чувства.

— Но потом... Потом же столько побед! — Ардатов взмахнул рукой. — Италия! Иена! Аустерлиц!...

— Сорок. Сорок побед, — подтвердил Нечаев. — Аркольский мост, Прейсш Эйлау, Шенграбен... И — поход в Россию. Из которой он потом бежал! Бежал! — почти выкрикнул Нечаев. — Как из Египта. В Египте он бросил армию на Клебера, в Смоленске на Мюрата! — Нечаев даже покачался, как какой-нибудь Будда, мудрый, всезнающий. — На острове Святой Елены, диктуя воспоминания, пересматривая всю жизнь, пересматривая тогда, когда рядом не было ни жены, ни сына, ни друзей, когда и впереди была

только могила, Наполеон не раз возвращался к фразе: «Главной моей ошибкой был поход на Россию». После России он носил с собой яд...

— Вот как! — опять поразился Ардатов. — Яд?

Нечаев стряхнул пепел в пепельницу.

— Да. Тот яд, который он принял на острове Эльба, еще до ста дней, но яд выдохся, и Наполеон только помучился ночь, но не умер. Дело не в Ватерлоо, не в том, что Груши потерял главные силы Блюхера. Предположим даже, что Наполеон выиграл бы Ватерлоо, но вся Европа и Россия были уже против него, и рано или поздно он, — а это значит, его армия, его империя, — были бы разгромлены. Тираны всегда обречены. И этот нынешний тиран — Гитлер, он тоже обречен. Мир против него. Человек, человечество против него, потому что человек, человечество против тирании. Начало конца Наполеона — 1812 год, начало конца гитлеризма — 1941-й.

* * *

Еще с машины Ардатов видел две далекие фигуры, эти люди шли к фронту, попутно ему. Скорее всего, они были военнослужащими, и Ардатов, стараясь их догнать, шел ходко, поправляя, подкидывая мешок, чтобы он висел на плече удобней. Он догнал их, красноармейца и сержанта, у мостика через узкий овраг, в котором тек ручей. Став у перил у входа на мостик, сержант и красноармеец отдали ему честь, он ответил им и, переведя дыхание, повесил вещмешок на конец перила.

— Перекур?

— Так точно, — кивнул сержант и взял в правую руку сигарку, которую он держал до этого в левой, пряча в горсти за бедром. — Да вот напарник не курит, так что, может, вы... Ежели желаете... — Он вынул кисет. — Прошу! Все хорошие дела начинаются с перекура.

Сержант был плотный, коротконогий, и чувствовалось, что он очень силен, силой так и веяло от его плеч и рук. Он, чуть опустив веки, смотрел на Ардатова выжидающе, неторопливо потягивая самокрутку, выпуская дым изо рта струей вниз, как бы отдувая его, чтобы не мешал видеть. У сержанта было по-своему приятное лицо — с чуть тяжеловатым подбородком, чуть выдающимися скулами и небольшим полногубым ртом. Пилотка, сбитая слегка назад, открывала широкий лоб и часть бритой загорелой головы. Ладный был этот сержант, только портили впечатление спрятанные глубоко в подбровье глаза. Уж очень они казались холодными, фарфоровыми.

А вот красноармеец был нескладный — худой, пропыленный, какой-то весь развинченный, заполошный. Он и несколько секунд не мог устоять на месте — отходил то вбок, то назад, то на месте переставлял ноги, дергал длинными изломанными руками, хватал пальцами воздух. В те редкие мгновенья, когда он затихал, у него по-куриному, толчками, двигалась голова. На его сморщенном, с грязным ртом лице играла хитрая и в то же время жалкая улыбка, а огромные карие глаза смотрели почти безумно.

Оба они были одеты и снаряжены добротнo — в крепкое, хотя и измазанное не то нефтью, не то мазутом обмундирование и яловые сапоги, их кожаные ремни оттягивали подсумки и, что удивило Ардатова, — у каждого в гранатных сумках было по паре РГД-33. Обычно гранаты выдавались красноармейцам уже в боевой обстановке, когда вот-вот можно было столкнуться с противником, и, хотя здесь до фронта оставались считанные километры, арсенал этих двоих казался необычным: шли-то они с ним из тыла. Судя по тому, как оттягивали лямки полупустые вещмешки этих двоих, в вещмешках, видимо, было тоже порядочно боеприпасов.

— Спасибо. У меня есть. — Ардатов прислонился к перилам, заглядывая в овраг. Там, возле ручья, было десятка два красноармейцев, которые на костерках кипятили себе чай. — В часть?

— Так точно! — ответил сержант.

— Не на гулянку же! Какая там, — красноармеец махнул в сторону фронта, — гулянка? Смертоубийство одно. Сатана там правит... этот, как его... По радио до войны все пел, как дьяк на клиресе, артист Михайлов. Сатана там правит... праздник, что ли, правит?... — Красноармеец задергал головой, стараясь вспомнить, переступал, притопывал, удерживая карабин у бедра как какую-то палку. — Праздник, что ли, правит, сатана-то?

— Бал, — должен был ответить Ардатов, чтобы закончить этот никчемный сейчас разговор насчет Михайлова, Фауста и прочем. — В какую часть?

— Военная тайна! — вдруг без перехода сердито ответил красноармеец. — Ходят всякие! Военная тайна.

— И где были, тоже тайна? Сержант! — Ардатов повернулся к нему.

— И где... — хотел было ответить красноармеец, но тут же умолк, как подавился, потому что сержант не сказал, а как прорычал на него:

— Прохор!

— Да я... — цапнул воздух свободной рукой Прохор, но сержант повторил:

— Пр-р-рохор-р!!!

Сержант достал из кармана гимнастерки бумажник, а из него красноармейскую книжку, продаттестат и командировочное предписание.

В командировочном предписании говорилось, что сержант Жихарев и красноармеец Просвирин выполняют спецзадание отдела контрразведки 82-й дивизии, для чего направляются в Сталинград, и что должны вернуться в часть не позднее 25 августа 1942 года. На бумажке было все — печать дивизии, подпись начконтрразведки, отметка комендатуры Сталинграда. Бумажка уже слегка потерлась, на углах, где ее держали, были следы пальцев.

— Нда, — все, что мог сказать Ардатов и возвратил бумажку Жихареву, думая, что черт их знает, этих контрразведчиков, черт их знает, за каким бесом они посылают в тыл младший комсостав и красноармейцев, вооруженных до зубов. Хотя, решил Ардатов, такой Жихарев стоит кучи молодых лейтенантов.

— Конвоировали кого-то? — предположил он.

— Нет. — Жихарев убрал документы. — Искали одну сволочь. Дезертира. Бежал из дивизии. Предатель Родины...

— Вот как!

— Хи-хи-хи! — засмеялся Просвирин. — По составам искали. Еще место там у него было — Садовая, 26. Да только и ждал он нас на Садовой. Только и выглядывал из-под ручки — не идут ли, родимья?! Не торопятся ли, сердешные?

— Прохор! Угомонись, — оборвал его Жихарев. — Беда мне с ним, с таким напарником, товарищ капитан, — пожаловался Жихарев. — Как только доберемся до... до места...

— Вот именно, до места! — затанцевал, держа карабин как палку, Просвирин, дергаясь развинченно, словно все у него — голова, руки, ноги, куски туловища были наживлены на хлипкие шарниры. — Вот доберемся до места... Тут уж теперь недалеко! Тут уж всего ничего! Даст бог!

— Свободны! — сказал им обоим Ардатов и прошел через мост к тропке, которая наискось склона оврага вела к родничку, где ужинали три красноармейца.

Различив его звание, они встали. Все трое были разутые, но их винтовки не лежали кое-как, а стояли в козлах, и ремни с подсумками висели на стволах.

— Какой части? — спросил Ардатов, скользнув взглядом по лицам всех. — Отстали?

— Отстали, товарищ командир, — ответил короткошейей, круглолицый ефрейтор, прижимая ладони к бедрам.

«Из запаса, — подумал Ардатов. — Второй тоже». Он обернулся к самому младшему из них с комсомольским значком на гимнастерке.

— Что ж так плохо догоняем?

— Так и они же тоже идут, товарищ капитан, — ответил комсомолец. — Вот я и говорю: в ночь надо идти. Передохнули, поели — чего же еще?

Ардатов смотрел на второго запасника, на низкорослого, но жилистого пожилого человека, тот осторожно снял с углей чай и лопаткой стал забрасывать костер.

— Как фамилия? — спросил его Ардатов.

— Тягилев, Кузьма, — ответил запасник.

— Хотите чаю, товарищ капитан, — предложил комсомолец. — Это моя заварка. Хотите? — Он протянул кружку. — Пейте. Хватит всем.

— Спасибо. — Ардатов взял кружку. — Как твоя фамилия?

— Чесноков, — ответил комсомолец. — Неважная какая-то, стыдная фамилия. Я все отцу говорил: не мог выбрать получше?

— Ну почему же, — возразил Ардатов. — Фамилия как фамилия. Обувайся. Скоро пойдем. Вы тоже, — сказал он запасникам. — Чай пока остынет, его и хватить нельзя.

— Так на огоньке же варился, — разулыбался Тягилев, скатывая обмотку. — На огоньке! На ём! Это мы в миг — обуемся.

Когда они вышли на мост, к нему подходила группа человек в двадцать.

— Чесноков, стань рядом. Вы тут и тут, — приказал Ардатов Тягилеву и Стадничуку — так назвался второй запасник. — Жихарев, Просвирин — там, — он показал где.

— Никого не пропускать без моего разрешения.

— Какой части? Куда следуете? Сержант, — он показал пальцем на сержанта, — ко мне! Быстрей! — резко прибавил он. — Докладывайте!

— Чего докладывать, товарищ командир? — сказал сержант с оскорбленными нотками в голосе. — Ищим своих. Тут такая была кутерьма!

— Какой части? Куда следуете? — строже повторил Ардатов.

— Да куда все — туда, — кивнул на ту сторону моста сержант уже без оскорбленных, но с оправдательными нотками. — А что, туда нельзя?

— Нельзя! — сказал, как отрезал Ардатов и приказал:

— Перепишите людей. Карандаш, бумага есть? Натя бумагу.

Он достал из полевой сумки командирский блокнот.

— Вот карандаш. Фамилия, имя, отчество, год рождения, дивизия, полк. Выполняйте! Себя первым.

Сержант ошалело взял блокнот и карандаш и, положив блокнот на перила мостика, стал записывать себя, ворча:

— Начинается! Как попадешь в роту, так «Равняйся! Смирно!» Пехота, будь она...

— А ты что, не пехота? — спросил Ардатов. — Морфлот? Авиация?

— Ну не морфлот, не авиация, — сбавил тон сержант. — Но разведчик, а это большая разница.

— Очень мило! Но эту разницу здесь — забудь! И поменьше разговорчиков. Ясно?! — Ардатов сказал это насмешливо и холодно, зная, что разведчики, которым принадлежит первый орден, первый трофей, но и первая же пуля, публика часто трудная и что эту публику надо время от времени ставить на место.

Пока Ардатов говорил с сержантом, несколько задних красноармейцев, незаметно отступая, стали забирать левее — туда где у оврага был пологий край.

— Назад! — крикнул Ардатов. — Назад!!!

Все, помявшись, повернули назад к мосту, но трое, которые были у самого оврага, прибавили шаг.

— Назад! Стой! Чесноков, оружие к бою!

— А ну, стой! Стой, говорят! — крикнул страшно за спиной Ардатова Жихарев и тоже, как до этого сделал Чесноков, клацнул затвором, загоняя патрон в ствол. — Стой! Стреляю!

Трое у оврага круто повернули и, сбавив шаг, выигрывая время, чтобы попозже встретиться со взглядами всех, пошли к мосту.

Людей оказалось девятнадцать человек, из них двое были связисты без катушек и телефонов, восемь автоматчиков, ружейный мастер и четверо пеших разведчиков, включая сержанта. Ардатов, глянув в блокнот, прочел его фамилию «Белоконь», приказал ему построить людей, назначил его перед строем старшим и приказал, выдвинувшись цепью перед балкой по обе стороны моста задерживать всех, кто будет идти в тыл и направлять их к нему.

К сумеркам у Ардатова накопилось девяносто четыре человека, из которых два десятка были фронтовики.

Фронтовиков он мог бы отделить от тех, кто еще не воевал, даже если бы фронтовики были без медалей, и вряд ли бы намного ошибся. В людях, которые побывали на фронте, он подметил особую неторопливость, замедленность в движениях, в делах, в поступках, когда не было непосредственной угрозы. При угрозе, при непосредственной опасности фронтовики делали все быстрей, стремительней, легче, но как только опасность отходила, фронтовик как-то весь замедлялся. Его движения — копал ли он, строил ли шалаш, разгружал ли где-нибудь снаряды или что-то еще, шел ли в походе, — его движения становились экономными, как будто он отмерял на дело лишь крайний минимум энергии и ни капли больше.

Вообще он подметил, что участие в боях меняло человека. Он становился добрей, что ли, и стоило фронтовику выбраться из района опасности, отъесться, отмыться, отоспаться, и фронтовик становился приветливейшим человеком, поплеывающим на всякие житейские мелочи радующимся самой жизни — тому, что она давала ему, — небу, женщине, куску хлеба, покойному сну, глотку водки, локтю товарища. Фронтовики не мельтешили, не заискивали перед начальством, но были у них некоторые жестокие заповеди, которых они, зная или не зная, придерживались твердо. Заповеди вроде: «Никогда не теряй присутствия духа и добрососедских отношений с поваром!», или вроде такой: «Не стой, когда есть возможность сесть. Не сиди, если можешь лечь», или вроде такой: «Не делай сегодня то, что можешь сделать завтра».

Что ж, это было понятно: главным в подсознании фронтовика звучал приказ: «Не спешить!» А к чему ведь было спешить? К неизвестности! Но любое положение до перемены содержало главнейшее известное — «жизнь», в то время как любая перемена несла неизвестное — «жизнь или смерть?» И так как шансов на смерть на войне содержалось удивительно много, куда же и зачем же следовало спешить?

В собранной им группе было и два командира — лейтенант Тырнов и старший лейтенант Щеголев. Тырнов объяснил, что ему, помначальнику химслужбы, дали в штабе полка шестьдесят человек — из пополнения, из комендантского взвода, а также пекарей, сапожников, портных и приказали отвести их во второй батальон.

— Значит, мои люди! — почти обрадовался Ардатов. — Я назначен командиром этого батальона. Но почему вы здесь?

Наверное, Тырнов покраснел — хорошо, что в сумерках это было не очень заметно. Смущаясь и стыдясь, он объяснил:

— Потеряли направление, товарищ капитан. Степь — все дороги одинаковы, пошли не по той и четыре раза попадали под бомбежку. Пошли не по той дороге потому, что раненые направили не туда. Знаете ведь как: один говорит одно, другой — другое. А из этого, из вашего батальона, раненых не попало...

— Бывает, — согласился Ардатов. — Значит, батальон потрепан? («Основательно потрепан, если пополняют сапожниками, — мелькнуло у него в голове. — И в полку ни человека в резерве!»).

— Видимо, да, — согласился Тырнов. — А разве вам, когда вы получили назначение, ничего не сказали?

— В штабе армии данные были на утро двадцать первого. Сегодня — двадцать третье. За два дня боев батальоны тают, как снег...

Тырнов, тронув Ардатова за рукав, отвел его в сторону и, понизив голос, сообщил:

— Дивизия понесла большие потери еще на марше. Когда мы выдвигались, они обнаружили нас и, представляете, что было с полком в степи, когда он бомбил их? ПВО в полках жиденькая — пулеметы да ПТР, а нашей авиации нет, выдвигались без прикрытия... День... Степь!...

— Понятно. Это они умеют — бить на подходе, — подтвердил Ардатов. — Выбить артиллерию, сжечь транспорт, горючку, боеприпасы еще до того, как части займут рубеж. Потом прижать к земле, расцечь танками на куски, а потом по очереди... Что вы должны были сделать, сдав людей? — спросил он без паузы.

— Возвратиться в штаб. Никакого другого приказа мне не было.

— Временно останетесь со мной, — как решенное сказал Ардатов. — Химслужба подождет. Да пока вряд ли она понадобится — у него успех, необходимости применять ОВ нет. На мой взгляд, химслужба — подождет. Остаетесь. Ясно, Тырнов?

— Ясно, — не очень уверенно ответил Тырнов.

— Напайте людей. Там, под мостом, родник, пусть нальют все фляги, отдохнут, переобуются. Выполняйте.

«Нда, — подумал Ардатов. — Получаю третий батальон и опять потрепанный». Он мечтал о полнокровном батальоне — с полными ротами, с командным составом, с минротой и с пульротой, со взводиком автоматчиков, батареей сорокопятак, которые таскают хорошие лошади, с толковым начальником штаба, понимающем все с полуслова, и чтобы старшины были из кадровых, а на взводах чтобы были лейтенанты, мальчишки с командирскими кубиками, еще не привыкшие к власти над людьми, но уже хлебнувшие войны, и все-таки всегда готовые не пожалеть себя и думающие поэтому, что и их подчиненные тоже готовы на это. И чтобы были ПТР, и чтобы ротные были из взводных, как

Щеголев, потерявших уже не один взвод и побывавших в госпиталях, и чтобы в ротах были снайпера — по парочке хотя бы, из Бийской, например, школы снайперов, которая выпускает отличных снайперов из сибирских деревенских ребят, узнающих охоту с первых своих штанов, и чтобы...

«Хватит! — сказал он себе. — Сейчас надо... Сейчас надо...»

Он стал прикидывать: Чесноков и эти двое отдохнули. Минут сорок пройдут до машины, минут десять, нет — двадцать: перекурят, будут доказывать шоферу, потом загрузятся — килограмм по пятнадцати консервов и хлеба — значит, минут двадцать...

Внизу под ним у родника топтались и переговаривались красноармейцы.

— Не мути, не мути! — сдержанно-глухо укорят кто-то кого-то. — После тебя не скотина, люди будут пить.

— А я и не мучу. Со дна она холоднее, — объяснял тот, кого упрекали.

— Ты не мутишь, зато мычишь! — засмеялся Чесноков.

Ардатов узнал его голос.

— Поглядим, как мы завтра замычим, — сказал Просвирин. — Как он повиснет опять над тобой...

— И впрямь повиснет, — перебил его Чесноков, но Просвирин как бы не заметил этой перебивки:

— А меж его бомбой и тобой единая гимнастерка да собственная шкура...

— Кожа! — поправил Чесноков. — Ты шерстью от страха оброс?

— Куда! Назад! Назад, говорят! — резко окликнул кого-то Тырнов. — Отдыхать на этой стороне.

— «Значит — час, — продолжал прикидывать Ардатов. — Если мы выйдем тоже через час... Нет, даже через полтора, можно и через полтора, успеем до света — и если оставить тут тоже четверых, потому что с Чесноковым и этими двумя надо еще послать и сержанта, и они возьмут у них мешки, чтобы те шли налегке, а потом будут меняться, то у нас, если они не заблудятся, будет килограммов сорок на семьдесят человек»...

Было тихо. Наступающая ночь остановила войну. Немцы, наверное, поужинав, укладывались спать на тех рубежах, куда они вышли к исходу дня, а наши, как это бывает при отступлении, опоминались: тоже что-то ели, отправляли в тыл раненых, перетаскивали на слабые участки обороны то, что можно было перетаскать, зарывались поглубже в землю, готовясь к завтрашним атакам.

Над фронтом, даже в той стороне, где до самого вечера немцы бомбили, была тишина, так что Ардатов через приглушенный разговор у родника хорошо слышал, как торопливо-призывно стрекочут кузнечики и как ухаёт где-то недалеко не то сова, не то филин, не то еще какая ночная птица.

Его мысли прервал какой-то нелепый разговор.

— Так все-таки, так все-таки, ваша светлость, где это вы были намерены? — спрашивал под мостом тонкий и ехидный голос. — Ах, князь, не бережете вы себя! В ваши-то лета, при нездоровье, увлекаться хористочками окончательно пагубно.

— Это с чего же! — возразил ехидному бас. — Это с чего же вы взяли, что я нездоров? Я, если угодно, пятаки гну! И аппетит у меня отменный — вчера такую пулярку ели, что, знаете ли, закачаешься. Не угодно ли глентвейну? При этой сырости от ревматизма ничего нет лучше глентвейна. Не угодно ли? Я прикажу принести.

— Кончайте там самодеятельность! — крикнул кто-то.

— Дайте людям поспать! Балаболки. Сами не спят, и людям не дают!

— Вот-с вам, ваша светлость, и глентвейн! — съехидничал тонкий голос. — Нет уж, давайте-ка лучше посидим часочек-другой на спине...

Бас промолчал, и в тишине тихо, и грустно прозвучал сигнал отбоя: «Спать пора! Спать пора! Спать пора!»

«Фагот или гобой, — решил Ардатов. — Значит, у меня и музыканты? Лихо!... Соориентирую тех, кого оставляю, а через километр буду расставлять по человеку. Не должны заблудиться! — решил Ардатов. — Только бы не проспали те, кого расставляю».

Он хотел уже звать Чеснокова и остальных, кто должен был идти с ним, но в стороне машины ударили частые винтовочные выстрелы, за ними сразу же затрещали автоматные очереди, и по редкому стуку автоматов он определил, что это стреляют из «шмайссеров».

«Или он сам не удержался, или они наткнулись прямо на него, и он должен был, — решил Ардатов. — Одиннадцать, тринадцать! Еще два, — считал он винтовочные выстрелы. — Все? Нет, шестнадцать — он перезаряжал. Еще один. Теперь — все! Отошел? Отошел, наверное, и вряд ли за ним

погонятся. Им надо смываться. Ну, конечно, — вот стервецы! — выругался он, услышав взрыв. — Раз демаскировались, так хоть машину!...»

Ардатов залез на перила моста и, балансируя на них, смотрел в ту сторону, откуда пришел.

Машина горела сначала ярко: бензиновое пламя вытянулось золотым осенним листом ивы высоко и четко, затем оно опало, расширилось, покраснело и стало похоже на багряный лист клена с трепещущими концами. Потом в машине бухнули, сдетонировав от запалов, гранаты, кленовый лист разорвался, пламя сникло, и небо в той стороне опять потемнело, наконец темнота залила, совсем загасила свет. Ардатов спрыгнул на мост.

Отмеривая всем последние минуты сна, Ардатов присел у родника, чтобы ополоснуть в стоке ноги, проветрить сапоги и тоже подремать, хоть немного подремать: родничок булькал и журчал нежно, усыпляюще.

Хотелось, постелив удобней шинель, примостив под голову вещмешок и полевую сумку, расстегнув ремень и сдвинув на бедро пистолет, завалиться рядом с Тырновым, рядом со Щеголевым, рядом с Чесноковым, рядом с другими. Ардатов зевнул.

«То-то в госпиталях спится! То-то спишь и спишь там, — вспомнил он. — Всю ночь и после обеда. А иногда и после завтрака часок. Там, наверное, и спится так, словно бы кто-то в тебе знает, что впереди бессонные ночи. А Нечаев сейчас спит? Или дежурит? Да, это было интересно!...»

* * *

Было в тот поздний вечер бессовестно и дальше лишать Нечаева сна, но Ардатов все-таки спросил:

— На что-то же Гитлер рассчитывал? Не идиот же он круглый.

— Не идиот, — подтвердил Нечаев. — Не идиот, конечно, не кукрыниксовский персонаж, хотя и тип шизоида, параноик — мания величия. Гитлер — тип политика-авантюриста, который, используя несогласованные действия противников, старался еще больше их разобщить, рассчитывая получить то-то, то-то! И очень многое ему удалось. Пока Англия и Франция раздумывали, он захватил рейнскую демилитаризованную зону. Потом — объявил о выходе из Лиги наций. Потом аншлюс Австрии. Потом захват Чехословакии. И все это ему сходило. Сходило потому, что англичане и французы видели в нем инструмент борьбы против нас. Но когда он пошел на Польшу, то есть когда Германия усилилась уже в опасных размерах, тут и англичанам и французам волей-неволей надо было действовать. Они объявили Германии войну — Польша не сошла Гитлеру с рук. И хотя немцы разбили и Польшу, и Францию, захватили Бельгию, Данию, Голландию, кусок Норвегии, войну они проиграли уже тогда — 1-го сентября.

За окном шуршали, приближаясь, чьи-то шаги и кто-то просительно говорил:

— Ну, Галя, ну, Галина, почему ты мне не веришь? Как будто я какой-то жулик. Как будто я...

Галя засмеялась, у нее был тонкий, совсем девчоночий голос.

— Никакой ты не жулик, какой ты жулик, когда у тебя такое лицо, что хочется позвать «Сюда! Рядом!» Хочешь я тебя поцелую? Ну-ка!...

Ардатов и Нечаев услышали звук поцелуя, но ответ Гали для них остался недосказанным.

— Просто я беспокоюсь, чтобы...

— Вот видите, — улыбнулся в темноте Нечаев. — Да, батенька мой, ничто не в силах остановить жизнь. Так о чем это мы, бишь?

— Вы остановились на том, что они проиграли войну 1-го сентября 1939 года.

— Вот именно, — подхватил сонно Нечаев, снотворное начало свое дело, — Гитлер никак не хотел мировой войны против Германии. Помните, после разгрома Польши, он не раз обращался к англичанам с предложением мира — его выступление в рейхстаге, ряд других высказываний. Он даже льстил англичанам, говоря об их здравом смысле. Более того, у Дюнкерка в сороковом он остановил свои танки и дал английскому экспедиционному корпусу убраться в Англию, а ведь он мог просто расправиться с ними, истребить практически до нуля. Помните?

— Что-то помню, но, честно говоря, плохо. Как-то не обращал тогда на все это внимания, — признался Ардатов.

— Это не было главным, жизнь шла по-другому.

— Естественно, — согласился Нечаев. — Молодость, уверенность в себе, в будущем, это и было у вас главное, а политика — политика дело старших, ведь политика не очень приятная вещь, не так ли?

— Да, пожалуй, — задумчиво сказал Ардатов. — И еще дело не в том, что малоприятная, но и не очень понятная.

Нечаев, посмеявшись необидно, вернулся к прежней теме, вздохнув.

— А вам бы надо думать об этом. Кому, если не таким, как вы? Думать, чтобы знать. Ходящий в темноте не ведает куда идет. Но ладно.

— Итак, Гитлер, — продолжал Нечаев, — играя на антибольшевизме, планировал, что Англия и США или будут на его стороне и дальше, или останутся хотя бы нейтральными. Но англо-саксы не могли видеть у себя под боком — за Ла-Маншем — все увеличивающуюся фашистскую империю, которая, рано или поздно, должна была броситься и через пролив. Поэтому-то они и объявили войну Германии, и с того дня гитлеризм ничто не могло спасти. Даже договор немцев с нами. Этим договором немцы лишь обеспечили себе спокойный тыл, но десантироваться в Англию они были не в силах. У них не было господства в воздухе, у них не было господства на море. И битву над Англией они проиграли. Что оставалось Гитлеру делать? Захватить Балканы? Он захватил их, но это не решало войны, а лишь увеличивало ее театр. И тогда он бросился на нас и завяз сначала под Москвой, а теперь увязает здесь. И никуда им, немцам, голубчик, от расплаты не уйти — какой мерой они меряют, такой и им будет отмерено. Вермахт, а с ним и гитлеризм, стоят перед катастрофой.

Коньяк и снотворное, видимо, действовали уже вовсю — Нечаев говорил тише, трудней, но все с той же четкой логикой. Лишь раз мысль его сбилась — он пробормотал:

— Два часа, это тоже целых сто двадцать минут сна. Притолкнула ночь святая... — Но тут же поправился: — Как сказал Малюгин — литературный вечер будем считать законченным. — И добавил: — Я вас не увижу завтра. Поэтому до свидания. Вы уйдете в шесть, у нас это самый разгар — обработка ночных сводок, карта обстановки, доклад командующему. До свидания, голубчик.

Дальше разговор их шел уже медленней и теплей.

— До свидания, Варсонофий Михайлович.

— Вы берегитесь.

— Постараюсь.

— Но держаться надо за каждый клочок.

— Понимаю.

— Не исчезайте, по возможности давайте о себе знать.

— Спасибо, Варсонофий Михайлович.

— Все ли ясно? — переспросил Нечаев. — Все ли, голубчик?

— Все, все! — с готовностью ответил Ардатов. — Поражает только одно — как Гитлеру удалось оболванить свой народ. Ведь какой-то ефрейторишка — даже в плену! кричит, ерепенится, верит в геббельсовское вранье. Вот что меня поражает! Как все эти гитлеровские семена дали всходы?

Нечаев из-за тумбочки протянул к нему руку и постучал по кровати:

— До свидания, жестокий вы человек.

Ардатов пожал его сухую, горячую и вялую уже ладонь.

— Простите. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Варсонофий Михайлович.

— Спокойной ночи. Да... Спокойной ночи... Видимо, семена оказались подходящими для почвы, видимо, поливали их как следует. У них там индустрия пропаганды. Мало ли чего внушали человеку — иудаизм, христианство, буддизм, мусульманство — все это возникло на человеческом материале. Гитлеризм — та же религия, из гитлеризма им удалось сделать религию и обратить громадную часть немцев в эту веру. Это, голубчик, долгий разговор — разговор о том, что есть человек. Ведь пока человек не осознает, что он человек, с ним можно делать что угодно... Как-нибудь потом, — совсем сонно пробормотал Нечаев. — В другой раз... Мы еще свидимся... Да... Главное — держитесь там за каждый клочок...

— Да, конечно! Что вы, что вы, Варсонофий Михайлович, — с жаром сказал Ардатов.

— Любой ценой, голубчик, Любой ценой их надо тут удержать! За каждую позицию цепляйтесь, как за последний рубеж... Ни в коем случае за Волгу — там для нас земли нет.

— Понимаю, — вздохнул Ардатов.

— Никто за вас, за меня, за нас воевать с гитлеризмом здесь не будет. Надежда наша — на нас самих. Мы с вами — армия, дивизия, полк, — бормотал Нечаев, — ваш батальон — и свет мира, и соль земли...

Посему за каждый клочок, за каждый рубеж, за каждую траншею, милый... Славно, славно, славно, что встретились. Не пропадите... Сто десять минут сна...

— Я тоже очень рад, — искренне сказал Ардатов.

Уже совсем засыпая, Нечаев жестко приказал:

— Проверить вестового, чтобы не проспал. Не имеет права... Я не имею права проспать... Семнадцатую передвинуть южнее, к Алексеевке, а сто сорок третий ИПТАП... Держаться! Позиции!... Чего-то я озяб, голубчик...

Ардатов осторожно закрыл Нечаева одеялом.

* * *

«Итак, что мы имеем на сегодняшний день? — спросил Ардатов себя уже сонно. — Четверть часа сна — раз, потрепанный батальон, который еще надо найти, — два, и три — под командой сотню без малого человек с бору по сосенке. Нет, не так уж плохо. Нечего судьбу искушать, нечего жаловаться, — сказал он себе. — Если же учесть, что у меня еще и два командира, то вроде все складывается нормально, и один из двух командиров — Щеголев!»

Со Щеголевым ему повезло — Щеголев, как он сказал, — тоже шел после госпиталя в ту же дивизию, только в другой полк. У Щеголева за спиной были бои под Белостоком, отступление через Минск к Смоленску, где он получил пулю в бедро, а весной бои под Волховом, ранение в кисть и предплечье, после которых он лежал в Башкирии. Оттуда он попал сюда на должность ротного.

Со Щеголевым должно было быть легко — они могли понимать друг друга с полуслова: фронтовой опыт у них был одинаков. Приглядевшись совсем немного, какие-то десяток минут к Щеголеву, Ардатов спокойно решил, что на Щеголева можно положиться, почти как на самого себя. К тому же Щеголев оказался еще спокойным человеком, и это тоже было приятно — в его присутствии Ардатов не нервничал.

В общем, день складывался, прикинул Ардатов, неплохо, — он удачно проскочил переправу, удачно же выбрался из набитого частями и беженцами Сталинграда, удачно подъехал хороший отрезок пути на полуторке, удачно и выскочил из нее из-под «юнкерса». Больше того, шофер одарил его продуктами. Но главным, конечно, была рота, которую он собрал тут, у ручья.

«Человек пятнадцать! — заверил он сам себя, вспоминая лица фронтовиков, их медали и нашивки за ранения. — Никак не меньше. А, может быть, больше — двадцать!» Двадцать фронтовиков на роту — это было немало, очень немало — один на четверых-пятерых необстрелянных. Оставалось лишь за ночь привести роту в батальон. «Черт не выдаст, свинья не съест! — подумал Ардатов, имея в виду, конечно, немцев. — Доберемся. Целая ночь впереди. Если километров по пять в час, можно отмахать, учитывая привалы, все двадцать пять. Вряд ли и нужно столько. Лишь бы не сбиться, выйти к тылам дивизии, а там, до полка — чепуха...»

— В эту ночь неважно — найдем полк или нет. Задача — соединиться с любой частью. К кому-то примкнуть. Сплошного фронта нет. Если немцы выйдут на нас, они нас раздавят. У нас и по три десятка патронов не наберется на человека, — объяснил Ардатов Тырнову и Щеголеву.

Они стояли на мосту, над родником, над спящими, и было слышно, как кто-то тяжело дышит во сне и как во сне разговаривает.

— Нюша! Ню-ю-ша! — звал кто-то. — Где маргарин?

— Синус острого угла равен косинусу, помноженному... Я — знаю, я знаю, я учил, Владимир Владимирович, — жарко уговаривал во сне Чесноков своего учителя, и Ардатов представил себе, что этот Владимир Владимирович сейчас влепит «неуд» Чеснокову, который, наверное, стоит у доски, и подумал, что, наверное, Нюше хорошо жилось с мужем, если так ласково он звал ее сейчас.

— Где вы видели наших? — спросил Тырнова Ардатов. — Где ближе всего их видели? Надо примкнуть до рассвета. Может, придется закапываться.

Тырнов, вытянув руку, показал:

— Там. Надо на эту звезду. Мы видели и пушки.

— Пушки? Это хорошо! — Ардатов зашел за спину Тырнова и через плечо посмотрел вдоль его руки на звезды. — Второй величины, так? Справа вверх над ней очень яркая, а сразу под яркой две маленьких. Эта?

— Эта, — подтвердил Тырнов.

Под мостом кто-то сонно кому-то разъяснял:

— Да как же без корму-то на зиму? А коровенка? А овцы? Затмение на тебя нашло, аль что? Да...

— Поднимай. Поднимай и строй! — приказал Ардатов Щеголеву. — Пойдем так ходко, как позволит охранение. Длинный переход — длинный отдых. Частые привалы только сбивают дыхание. Кстати, как ты? Ноги в порядке? Хорошо. Я иду с главной группой, ты — замыкающим, Тырнов — в середине. И чтоб ни одного отставшего.

Щеголев скомандовал, люди в овраге начали тяжело подниматься и медленно выходить к мосту.

Ардатов позвал:

— Разведчики! Сержант Белоконь! Ко мне!

Когда разведчики сгрудились около него плотной кучкой, он приказал:

— Идете в охранение. Двигаться парами. В правой паре старший Белоконь, во вторую, Белоконь, назначишь. Направление движения — на эту звезду. — Он убедился, что все они сориентировались, и закончил: — Дистанция — чтобы не терять нас. Интервал — чтобы не терять другую пару. Вопросы есть? Нет? Оружие к бою! Вперед!

— Группа построена, — доложил Щеголев.

Ардатов пошел к ней.

— Товарищи! — так громко, чтобы слышали все, начал он. — Огонек папиросы виден на километр, горящая спичка — еще дальше. Поэтому пока движемся — никакого курения! Впереди нас — наше боевое охранение, оно уже ушло. Справа и слева пойдут еще две пары. Проверить снаряжение! Чтобы ничего не звякало. Разговор вполголоса. Не растягиваться! Не отставать! По команде «К бою» — разворачиваться в цепь. Патроны у всех есть? У всех?

— У меня нет! — крикнул кто-то виновато.

— У меня тоже! — выкрикнул еще кто-то.

— У меня мало!

— Стоящие рядом — поделиться! — приказал Ардатов. — Быстро! Не из подсумков — из вещмешков. — Он заметил, что у кого-то в глубине группы светится в рукаве шинели сигарка. — Докуривай!

— Больше половины, черт! — услышал он, как жалеют курево и как советуют, что сделать: — «Ты приплюнь, да за пилотку. Она там и подсохнет. Чего ж кидать добро-то!»

— Беречь воду! Больные есть?

— Есть! — выкрикнул Тягилев. Ардатов узнал его по козлиному голосу. — Есть!

— Вы, Тягилев?

— Нет. Тут трое, товарищ капитан. С этой, с куриной слепотой. Землячки мои, оказалось, однако.

В строю захихикали и засмеялись:

— Ай да болячка!

— А кори у них нет?

— Тихо! — оборвал Ардатов. — Что вы хотите, Тягилев?

— Разрешите, товарищ капитан, им идти особо. То есть, чтоб в сторонке. И людям мешаться не будут, и самим удобней. Я их поведу. Ведь она, товарищ капитан, слепота эта, как солнышко сядет, начисто глаза отнимает. А пилюльки не помогают, — объяснил Тягилев.

— Больные, выйти из строя. Тягилев, отвечаешь за них.

Ардатов знал, что такое куриная слепота. Под Вязьмой, скитаясь там по лесам, пробиваясь из окружения, они голодали, и на нескольких человек напала эта слепота. С наступлением сумерек они становились беспомощными. Он посмотрел, как Тягилев выводит из строя своих подопечных, и как они изготавливаются идти за ним, встав на ощупь в затылок друг другу, держа переднего за хлястик шинели. Все трое были крупными, тяжелыми мужиками, на голову выше Тягилева, который между тем радостно суетился возле них, приговаривая:

— Кабы это весна была, так щавелем покислились бы, оно бы все и прошло. Али пучкой, али еще чем. А тут сухость одна, полынь. Это разве земля! Однако, может, терен тут растет?

— Еще больные есть? — спросил Ардатов. — Нет? Все ясно?

— Ясно!

— Не первый раз!

— Ясно!

Ардатов не мог различить всех тех, кто отвечал, тех, кто глухо и без особых восторгов говорил «ясно», «не первый раз». Привычным движением вскинув вещмешок за плечо, сказав себе: «Ну, лиха беда — начало!» — он дал команду:

— Нале-во! Направляющие, за мной! — Он вышел вперед. — Шагом марш!

Как это положено по уставу для оркестра, с первым же шагом музыкант лихо заиграл суворовский «Походный марш». Ардатов даже вздрогнул, потому что гобой взял высоко и тонко, отчего на душе словно скребнули кошки, и Ардатов, обернувшись, крикнул:

— Отставить! Отставить! Музыкант, ко мне!

— Бросьте вы эти штучки! — строго выговорил музыканту Ардатов, когда музыкант догнал его и пошел рядом. — Из муззвода?

— Из ансамбля. — Музыкант был коротенький, толстый и, судя по хриплому голосу, пожилой. — Отчислили в строй.

— Водочка? — догадался Ардатов.

— Она тоже, — признался музыкант, — но главное — отсутствие должного почитания начальства. Как оказалось, это в армии вредит крайне.

— Давно в армии?

— Уже три месяца, — помедлив, чтобы вздохнуть, ответил музыкант. — Три месяца шесть дней. — Он опять вздохнул.

— Считаете? — недобро усмехнулся Ардатов. — Зря. Счет будет длинным: рано начали. Не об этом сейчас надо думать. Или никак не отвыкнете? Там покойничек, там свадьба, так?

— Так, — признался музыкант.

Ардатов в свете звезд разглядел у музыканта под рукой длинную узкую коробку с гобоем.

— Пора отвыкать.

— Не так-то легко отвыкнуть. Думаете, это просто? Сорок лет человеческой жизни против трех месяцев другой. «Налево! Направо! Кругом!» — сердито и горько скомандовал сам себе музыкант.

— Не просто, — согласился Ардатов. — Жизнь ничего была? Как ваша фамилия?

— Ничего, ничего, ничего, — быстро подтвердил музыкант. — Васильев. Николай Сергеевич Васильев. Бывший работник Саратовской филармонии, — представился он. — Ничего была жизнь. Много ли холостяку надо? Как никак, а каждый вечер, после концерта, конечно, хороший ужин, ну, и вообще — свой народ — музыканты, актеры. Искусство... Это, знаете... Хотя обыватели и называют нас «богема». Все-таки...

— С водочкой ужин? С ней? — спросил, не дослушав, Ардатов, заранее зная ответ. Он понимал этого Васильева, представлял его жизнь, знал, что Васильев к ней привык, что иной для него не существует, но сейчас обстоятельства были такими, что Васильев обязан был жить другой жизнью. — Стрелять умеете?

— Стрелял, — ответил Васильев. — В ансамбле дали попробовать. Все мимо. Нужны, знаете, репетиции, то есть, я хотел сказать, тренировки.

«Репетиции будут, — мог ответить ему Ардатов. — Репетиции начнутся завтра. Даже, может, еще и сегодня. Этих репетиций будет вам, Васильев, за глаза, коль вы не ужились в армейском ансамбле. И если вы хотите, чтобы побыстрее вернулась та жизнь, с ужинами после концертов, с не очень сложными отношениями между мужчинами и женщинами, с искусством, в общем, со всем тем, что, правда, обыватели осуждающе зло называют "богемой", если вы хотите, чтобы все это вернулось побыстрее, вам, Васильев, придется теперь добросовестно исполнять соло на винтовке. Соло в ансамбле, который называется пехотная рота. Или?..» — мелькнуло у него в голове.

— Говорят, на захваченной территории немцы открыли театры. Кафе, рестораны, где играет и музыка, — сказал Ардатов. — Не слышали?

— Да? Интересно. Не слышал. Вот как?

— Играют наши музыканты, — уточнил Ардатов.

— Вот как! — по-иному, протяжно удивился Васильев и повторил так, что в его голосе одновременно слышалось и возмущение, и презрение к нему, к Ардатову.

— Вот как! Я, товарищ капитан, мог бы эти слова понять как намек, как оскорбительный намек. Но я их так не пойму. Интересно другое — а что, на заводах, которые немцы пустили, там же, на захваченной территории, на этих заводах работают только немцы? На железных дорогах? В шахтах? Скажем, даже на трамвае? Или в бане? Или все, кто остался там, должны не работать, а значит умереть с голоду? Но

сначала отравить детей, чтоб не мучились, перебить стариков, старух. Даже если уйти в партизаны, то как же быть со всеми, кто не может туда уйти? Хотя бы с грудными? Со старушками? Куда их деть-то? Всех, кто не годен в партизаны? Утопить предварительно? Загодя перестрелять? Вы молчите, товарищ капитан? Что же вы молчите?

Васильев, забежав на шаг, старался в темноте заглянуть ему в лицо.

— Так как же, товарищ капитан? Как же насчет этих музыкантов, которые, чтобы не сдохнуть с голоду, идут играть фрицам? Или им приятнее играть фрицам, чем играть нам? Предположим, в какой-то Одессе? Или Киеве? Или Минске? Или Риге? Зачем же вы ушли из этих городов? Почему уступили немцам кресла в театрах и столики в кафе, ресторанах?

— Ладно, — сказал примирительно Ардатов. — Я не хотел вас оскорбить. Извините. А этот, второй, ну, ваш приятель... Глинтвейн и прочее... Он тоже музыкант?

— Талич? — переспросил Васильев. — Он студент театрального училища. — Васильев засмеялся. — Веселый парень. Я с ним знаком неделю, а как будто знаком год. — Если бы не было темно, Ардатов бы увидел, что Васильев тепло улыбается, но он слышал это тепло в его голосе, тепло и нежность.

— Талич — будущий гениальный актер! — с жаром заявил Васильев, как будто кто-то собирался ему возражать. — Да, да — будущий гениальный актер. Поверьте, я не преувеличиваю — я сорок лет, считайте с пеленок, — я родился в семье циркового артиста — я сорок лет рядом с искусством. Встречал всяких — знаменитостей действительно талантливых, знаменитостей бездарных — бывают и такие, — таланты, которые умерли в нищете, от чахотки или от запоев, я встречал всяких. Но этот Талич так входит в образ! И такой диапазон! Он как будто видел того, кого играет, как будто был знаком с ним и просто копирует его.

— Вот как! — удивился Ардатов. — А это важно — видеть?

— Очень. Определяюще важно, — подтвердил Васильев. — Для актера-профессионала повторить что-то — семечки. Сначала надо увидеть! Талич видит образ мгновенно. Нет, это — талант! Если судьба будет милостива к нему, если он останется жив и цел и если после войны не сопьется, не разменяется на провинциальную знаменитость — знаете, слава кружит голову: деньги, доступность женщин — все это портит творческого человека, — если сия чаша минет его, он будет гордостью, да, да, гордостью русской сцены.

— Да... да... — говорил тише Васильев, как бы прислушиваясь к тому, что он говорил, или как будто заглядывая в далекую блистательную жизнь Талича.

«Так, так. Можно устраивать самодеятельность, — усмехнулся про себя Ардатов. — Будущий гениальный актер! Музыкант! Чесноков прочтет стихи Маяковского про молоткастый-серпастый, а Белоконь, наверно, умеет делать фокусы с картами. Но гвоздь программы — Талич и Васильев, профессионалы... Что ж, это тоже ничего. Во всяком случае, они, если надо, поддержат настроение. Нельзя же, чтобы все были мрачными вроде меня; получится похоронная команда. Надо только за ними приглядывать».

Они прошли немного молча, но вдруг Васильев попросил:

— Товарищ капитан! А, товарищ капитан! — Он подошел совсем вплотную, плечо к плечу и, понизив голос, сказал:

— Поберегите Талича! Я прошу вас. Нельзя, чтобы такой талант погиб. Так, знаете, как... Я понимаю, каждая жизнь — целая вселенная, каждый человек — мир, но все-таки... Такие, как Талич, рождаются один на миллион! Что я? Что многие? — Он в темноте махнул рукой — Ардатов видел ее тень. — Так, посредственности!... Человеческая икра! А мы, быть может, говорим сейчас о гении... О гении! Поэтому-то я и прошу вас, поберегите Талича. Явите божескую милость...

Ардатов тронул Васильева за плечо.

— Ладно. Постараюсь. Но вот что — до утра на вашей трубе ни звука. Песня, конечно, строить и жить помогает, но... но всему свое время. Договорились? Хорошо. Свободны...

«Поберегите! — подумал Ардатов. — Поберегите Талича! Как будто тут можно кого-то побереечь!»

Их, конечно, было слышно далеко: они сошли с дороги и шли степью — под сотней пар ног хрустела полынь, и топот сапог и ботинок о сухую землю, хотя все старались идти потише, сливался в гул.

Новолунная ночь была в самом разгаре, дымка с неба исчезла, вызвездило так, что проступили очень маленькие звезды, и в неверном, холодном свете звезд иногда угадывались впереди тени разведчиков, которые шли, чуть пригнувшись, держа оружие наготове. Пахло полынной пылью, еще

какими-то травами. Пересвистывались суслики. Несколько раз перед ними испуганно взлетала разбуженная птица, она черным стремительным комком пересекала звезды и исчезала в темноте.

Мерно шагая, мерно дыша, мерно махая в такт одной рукой — другой он придерживал лямку, чтобы вещмешок не съезжал, — Ардатов думал:

«Если найду батальон, возьму всех в него. Потрепанные роты солью, а из этих сделаю роту. Будет очень неплохо. Хорошо бы, что в тех ротах остались пулеметы, можно было бы разделить. Или нет, наоборот, слить их всех в кулак, в пулроту. Что-то от пулроты должно остаться... Но там посмотрим. Пулеметчиков надо проверить — если есть случайные — заменить. Из этой сотни сколько-то найдется. Тырнова на взвод, кого-то из взводных — на эту роту. Щеголева... Но посмотрим, что Щеголев стоит в деле... Или сделать наоборот — всех этих поделить по ротам? Посмотрим. А Чеснокова — отделенным или помкомвзвода? Нет, помкомвзвода рано, а отделенным в самый раз. А если его по комсомольской линии?.. Да! — сказал он себе. — Утром узнать, сколько членов партии. Но лишь бы найти батальон. А до утра прибиться к кому угодно! Обстановка покажет. Главное — успеть до света найти своих и хорошо бы хоть немного закопаться — он, мерзавец, с зари начнет бомбежку, и если не закопаться!... Зароемся», — подбодрил он себя.

По вспышкам ракет он приблизительно определял расстояние до немцев. По этим же вспышкам он убедился, что был прав, считая, что строго на запад и южнее слева — не то открытый фланг какой-то нашей части и немцев, не то широкий стык, неприкрытый никем, в который немцы или не успели воткнуться или о котором еще не узнали.

«А если наши просто должны были загнать этот фланг? — предположил он, вспоминая карту Нечаева. — Или втянуть его, потому что фланг жидкий и, чтобы уплотнить, надо сократить его? — На карте Нечаева не было четкой линии фронта, а были лишь овалы, красные овалы, которыми означали расположение ведущих бой наших разорванных группировок и частей, перед которыми, а также и между которыми, в синих овалах были немецкие группировки и части. — Сам леший не разберет! Но посмотрим...»

Они шли уже часа полтора, и сзади несколько раз говорили как бы между собой, но так, чтобы он слышал:

— Перекур бы!

— Привал!

— Передохнуть бы надо!

Ардатов тоже хотел курить, но он только зажал травинку в зубах, пожевывая ее горький стебель.

— Отставить! Отставить припал! — оборвал он эти разговоры и, пропуская всех, поторапливал: — Не растягиваться! Догнать! Не отставать!

Но минут через двадцать, послав сообщить охранению, он скомандовал:

— Стой! Привал! Курить под шинелью! — и, дождавшись Тырнова и Щеголева, отошел в сторону, на ветерок. — Полчаса, — сказал он им. — Потом еще один — покороче — и до рассвета. В шесть уже видно. Отставшие есть? Как Тягилев со своим воинством?

— Один только Лунько. Пекарь. Тянется. Ноги стер. Тягилев молодец, они у него, как ягнята, — объяснил Щеголев.

— Что у вас, Лунько? — спросил он, когда Щеголев привел отставшего. — А зачем брали на размер больше? Поэтому и потертости.

— Взял, думал... Тут, значит, меняли обувку, ну, я, значит, думал, возьму на размер больше, лето кончается... Чтоб зимой на шерстяной носок, да на байковую или суконную портянку, — оправдывался Лунько. — А оно, значит, получилось так... Косина получилась, товарищ капитан...

— Байковые портянки есть? — перебил его Ардатов. — Есть? Идите и переобуйтесь так, чтобы ноги не болтались. Ничего, ничего, не спарятся. Промойте сначала. Идите. И не отставайте.

— Запасливый дяденька! — усмехнулся Щеголев, укладываясь рядом. — И на байковую, и на шерстяной носок...

— На вещмешок не обратил внимания? — спросил Ардатов, залезая под шинель и прикуривая там. — Там у него продсклад.

Спичка осветила кусок подкладки, где была заштопана в госпитальной портновской дырочка от пули, которая попала ему в правую ключицу. Из-за этой пули он и пролежал два месяца в Кезе. Это была автоматная пуля, немец попал в него, когда они в апреле отбивали на Северо-западном наступлении из

Демьянского котла. Он тогда чуть не утонул в каком-то притоке Ловати, хорошо, что Коля Зубов, его ординарец, вовремя подхватил его, вытянул из ледяной воды, похожей на снеговую кашу, столько в ней плавало снега.

Кусочек пространства под шинелью, освещенный на миг спичкой, показался ему домом, он и пахнул домом, его теплом, его потом, его кровью. Собственно, он сейчас и был его домом, потому что никакого другого дома у Ардатова ближе, чем за две тысячи верст от Алма-Аты, не имелось, если не считать, что, конечно же, каждый клочок земли, на которой он лежал, сидел, ходил, всегда был тоже его домом.

— Да, вещмешок у него... — ответил Тырнов. — Больше чем у любого. Больше, чем оба наших с вами. Хотя у вас тоже приличный.

— Пригодится! — буркнул про свой мешок Ардаатов, снова пряча голову под шинелью к руке, в которой у него была папироса. «Пригодится, — подумал он и о мешке пекаря. — Не будет же он таким жмотом, что... Хотя?!!»

— Никакой он не пекарь, а плотник. Косина слово плотницкое. Пристроился в пекарне — тепло, сыт, но, главное, безопасно, — сказал он Тырнову. — Ничего, теперь он повоюет.

Докурив, Ардаатов повернулся на спину и потряс ноги, подняв их, чтобы кровь оттекла. «Это вам не госпитальные прогулочки, — подумал он о ногах. — Давайте, работайте!»

Все угомонились — никто уже не толкался в поисках закурки, не отходил в темную степь, в ту сторону, откуда они пришли, по нужде, разговоры смолкли, лишь Чесноков приглушенно внулшал Просвирина:

— Ты это брось, дядя! Брось эти штучки! Ишь, вздумал: предательство, предательство. И впрямь тебе предательство! Все в вашей конторе только и думаете о предателях! А ты читал про этих предателей? Где было напечатано? Читал? То-то!

— Люди говорили... — пытался возразить ему Просвирин, но Чесноков оборвал его, презрительно заявив:

— Люди говорили! Говорили, говорили — мед варили, кинулись — брага! И не сей панику! Мало ли что отступаем? А может, не отступаем, а заманиваем? А если именно заманиваем? Если заманиваем?

— У тайгу, что ли? У тайгу заманиваем, за Урал? — зло сомневался Просвирин.

— Впрямь — за Урал! Дурак ты! И вообще — иди ты... Иди ты в пим дырявый!

— На море, на Охотское море заманиваем, — включился против Чеснокова еще кто-то, ехидный и желчный. — Аж на Камчатку! Попредавали народ, сами попрятались, а теперича...

— Да я тебе!... — взвинтился Чесноков. — Да я тебе за эти слова...

— Чесноков, отставить! — скомандовал Ардаатов.

Все затихли, спор погас, но Ардаатов слышал, как пекарь Лунько пробормотал вроде никому и в тоже время всем:

— И тут — отставить! У каждого жизни, может, с обмылок осталось, может, завтра из нас лопухи пойдут, ан все равно — «Отставить!» Эх-ма!...

Ардатов хотел было оборвать и эти причитания, но его опередил Тягилев.

— Да, ладно, ладно, тебе. Кабы говорили для души, а то — злоязычничаете. Не об этом думать-то надо! — сказал он так значительно, что никто ему ничего не возразил.

Разговор прекратился, но только на этот раз.

Ардатов знал, что теперь Чесноков и те оба, которые ехидно прошли насчет тайги, Урала и Камчатки, будут вечными с ним спорщиками: отступление столкнуло эти души, и так как одна из них — Чеснокова — было полна верой, а две других — наполнены сомнением, примириться они не могли, они исключали друг друга.

— Я, товарищ капитан, хотел только... — начал было взволнованно Чесноков.

— Отставить! — повторил Ардаатов. — Не мешать отдыхать людям!

Когда они уже поднимались, Тырнов, негромко, чтоб не слышали другие, спросил:

— Товарищ капитан, а что... А правда, было предательство и поэтому мы отступили в прошлом году и сейчас отступаем?

Ардатов мог ничего не ответить Тырнову; он и сам не знал почти ничего о предателях, как правильно сказал Чесноков, эта пылкая душа, насчет предателей ни в газетах, ни по радио не сообщалось.

Быть может, и существовали какие-то секретные приказы для старшего командования, но сам Ардатов их не читал, не видел, и все, что он знал, было только разговорами, чьими-то утверждениями и рассказами, да еще заявлениями немцев, которые они передавали по радио со своего переднего края или писали в листовках. Листовки Ардатов иногда читал из любопытства: «А что пишут эти сволочи?» Читал, стараясь сделать это незаметно: — чтение немецких листовок запрещалось; что же касалось радио, то немцы передавали по нему, что хотели, пока наши минометы или артиллерия не начинали садить по месту, где они развертывали свою радиостановку.

Всякие слухи, сведения, доверительные рассказы были, конечно, предметом разговоров в палатах госпиталей, в землянках, в казармах командирских резервов. То, что об этом говорили, было естественно — нельзя же бесконечно говорить только о своей части, товарищах, семьях, женщинах, нельзя и никакими силами невозможно лишить человеческий ум любопытства, стремления знать разное — всякое: плохое, хорошее, сомнительное.

Поэтому-то, несмотря на неписанные запреты, несмотря на то, что разговоры о всяких предателях были по-своему, на первый взгляд, непатриотичны, люди время от времени вели их; он вели их не потому, что сами хотели предать, перебежать к немцам и служить им, а потому что просто хотели знать все, как что-то новое, еще не узnanное, хотели понять и это явление войны, как часть жизни. Война ведь была только частью человеческой жизни. К тому же, эти темы были по-своему запретные, и, как все запретное, интересными, притягательными, а так как никаких официальных сообщений нигде не опубликовалось, противопоставить разговорам было нечего.

С другой стороны, конечно же, разговоры о предателях были тоже вражеским оружием — они могли плохо подействовать на малограмотных красноармейцев; они хоть на капельку, но все-таки подрывали уверенность в наших силах; мысль «вот ведь — против нас воюют уже и наши» — была коварной, ядовитой. Эту мысль и все, что вело к ней, следовало пресекать сразу же, пресекать беспощадно. Это Ардатов тоже понимал.

Но Ардатов понимал также, что Тырнов хочет знать причины неудач Красной Армии и в прошлом, и в этом году, что Тырнову больно от сознания, что немцы били и пока бьют наших, что эта его боль — часть общей боли миллионов советских людей и что, если ему не ответить, это будет означать, что Ардатов и не доверяет ему, и одновременно плюет на то, что он думает, и на то, что у него, Тырнова, в душе. Конечно же, Ардатов не мог плюнуть Тырнову в душу — тоже еще в мальчишескую, не очень-то защищенную разумом мальчишескую душу. Тырнов тоже был человеком, старающимся понять, что к чему, думающим. Ему — другое дело — можно было запретить что-то спрашивать, о чем-то говорить, но думать запретить ему было нельзя: во-первых, потому что он был человек, а не скот, и, отняв у него право на мысль, право думать, означало превратить его из человека в скота, во-вторых, запретить думать физически было невозможно — мысль человека неподвластна никому, кроме смерти.

— Ничего определенного ответить не могу, — сказал Ардатов, расстилая шинель, чтобы закатать ее в скатку. — Помогите-ка.

Оба они стали на колени у ворота шинели и, сжимая, начали ее скатывать к полам.

— Мало ли ходит всяких разговоров. Но ведь это... Разве они достоверны?

На шинель прилипли веточки, всякий другой мусор, они наощупь стряхивали все это, водя ладонями от середины к своему краю.

— Да, чего только не говорят, — подтвердил Тырнов. — А зачем вы ее в скатку?

— Будет удобней... — Ардатов тренчиком стянул концы скатки. — И вешается не через плечо, а на вещмешок — за горловину, на ляжки. Спине тепло, но в случае чего — одно движение и вещмешок с шинелью сброшены. Знаете, если в бою ты малоподвижен, если тебя связывают эти штуки, в бою... Кстате, вы-то уже бывали в боях?

— Нет, только под бомбежкой.

— Это другое дело. В бою, повторяю, главное, — конечно, кроме судьбы, — насколько ты подвижен. И попасть в тебя трудней, и ткнуть штыком труднее, и перебежку ты делаешь быстрее, и оружием лучше — легче, точнее владеешь. А это — стелите вашу, так, пошире, — а от этого зависит не что-то, а твоя жизнь. — Они снова стали на колени, теперь перед шинелью Тырнова. — Посмотрите — многие катают.

— Может, приказать всем? — спросил Тырнов.

— Нет, — не согласился Ардатов. — Тут кому как удобней. Зачем же приказывать ненужное? Но подсказать... Хотя все видят, что катают.

Тырнов, приподняв голову, всмотрелся — почти все, разбившись на кучки по два, по три человека, занимались скатками, коротко разговаривая:

— Ту же надо. Так! Тренчик готовь! Бинт? Нет, не пойдет, больно белый, заметно. Да еще согдится на это самое... Упаси бог, но кто знает... Надо веревку.

— Братцы, есть у кого веревочки клоч?

— На, коль ты такой бедный, что ремешка у тебя нету.

— Бывает. С кем не бывает? От сумы да от тюрьмы не отрекайся.

— Теперича эту? Аль мою?

— Какая разница?

— Оно, конечно, разницы нету...

На фоне темного неба и слегка уже тускнеющих звезд сторбленные над расстеленными шинелями, плохо различимые красноармейцы казались странными людьми, занятыми странным же делом — казалось, они не то что-то тайно закапывают руками, не то откапывают, не то приносят молитвы какому-то богу, стоя на коленях и касаясь ладонями пыльной, почти остывшей уже степной земли. Те, кто не катал скатки или уже закончил это делать и просто стоял, возвышаясь над катавшими, только подчеркивали необычность этой сцены, будто охраняя тех, кто стоял на коленях.

— А что же потом? Если все бросить — и шинель, и вещмешок. Ведь...

— Потом, — Ардатов пропустил условное предложение «если останешься жив», — потом найдется.

— Вообще, да, — сказал Тырнов, застеснявшись, наверное, заботы об этих вещах, когда речь шла о бое.

— А если не найдется твоя, то найдется другая шинель. — «Мало ли их после боя валяется лишних, уже ненужных». Ардатов это тоже не сказал. — Или у вас в вещмешке особое богатство, что жалко бросить?

— Да нет, что вы! — возразил торопливо Тырнов. — Как у всех. Спасибо. Сейчас я завяжу. Тут поддержите. Спасибо.

— Так вот, о предателях, — вернулся к этой теме Ардатов. — Они, конечно, есть. Были, есть и будут. Будут, наверное, долго. — Он пояснил. — Нас двести миллионов. В таком числе есть всякие люди, это неизбежно. Во всяком случае, на ближайшие лет сто, что ли. Миллионы хороших, и на каждый миллион сколько-то плохих, сколько-то очень плохих, сколько-то негодяев. Сколько — не знаю. Видимо, никто не знает, видимо, это не поддается исчислению.

— Видимо, — согласился Тырнов. — Сами категории «плохих» и «хороших» очень расплывчатые.

— Наверное, и поэтому. Но, конечно, все-таки есть. Ну как скатка? Удобно?

— Очень. Правда, тепло и легко — руки свободны.

Ардатов поправил ему лямки, вскинул свой вещмешок и подал Тырнову свою скатку:

— Наденьте мне также... Хорошо. Еще чуть дерните вниз — чтоб не соскочила. Ага. Все готовы? Нет? Ну пусть, не торопите, теперь пойдем без привала. Лишь перекурим часа через два минут пять. Так вот... Но поьем сначала.

Они попили из фляг — вода уже потеряла родниковую свежесть — переболталась на ходу, согрелась, а у Ардатова отдавала еще и алюминием трофейной фляжки. Но все-таки после табака пить ее было приятно — пить по глотку, ополаскивая рот.

— Перед войной были и уголовники, были и тюрьмы — ведь было такое, — развивал свою мысль Ардатов. — Война все усилила, обострила, подтолкнула, на поверхность и всплыла всякая гадость — в том числе и предатели. Но не в них дело, Тырнов, не в них.

Часа через два Ардатову вместе с Тырновым предстояло встретить новый день войны, новый день на фронте, быть может, последний день в жизни Тырнова или в его, Ардатова, жизни, и он хотел, чтобы Тырнов в свой первый бой вошел человеком, который смотрит и на себя самого лишь как на часть целого, чтобы Тырнов оторвался от эгоизма, свойственного любому человеку, и посмотрел на свое участие в войне, как на молекулу огромной силы, которая неизбежно победит немцев.

— Не в них, не в предателях, главное. Даже не в поражениях этих двух лет главное. Главное в том, что страна осталась, народ остался, экономика осталась, руководство всеми нами, всей жизнью страны, осталось. То есть — это как кости, а мясо нарастет. Ведь вы же выполнили мой приказ — повернуть к фронту? — спросил в упор Ардатов. — А я был один! Теперь мы ведем роту — по фронтовому девяносто человек — рота, и люди идут. На смерть, а идут. Вот что главное, Тырнов. Главное — наши люди и то, что

у них за спиной. Там — наша страна. Завтра мы будем останавливать немцев, как это делали другие, как делают другие, вместе с другими, и, случись с нами что — придут другие нам на смену, и так, пока не остановим немцев, пока не погоним их, пока не разобьем, пока последний из них или не будет уничтожен, или не поднимет руки. Это главное — что мы победим, несмотря ни на что!

Они стояли друг против друга, в темноте только угадывая лица, не видя глаз, не видя выражения в них. Ардатов прикоснулся к плечу Тырнова, поворачиваясь вместе с ним к красноармейцам.

— Выбросьте из головы всю эту чушь о предателях. Надо просто хорошо воевать — вот в чем ваша и моя задача. И если были ошибки, все равно их исправлять надо. Кто их исправит, если не мы сами? Сначала надо кончить войну!

Ардатов подошел к красноармейцам.

— Приготовиться к движению! Становись! — Он подождал, пока все построится. — Порядок движения — прежний. До рассвета, товарищи, без привала! Будет лишь короткий перекур. По команде «К бою!» — в цепь. Если ракета — ложись немедленно? Ясно? Направляющие — шагом марш! Не растягиваться!

Он повернулся к Тырнову.

— Если «В цепь!» — разворачиваетесь от центра вправо к флангу. Щеголев — к левому флангу. Если что — сжиматься к центру, только к центру — без команды ни в коем случае назад! Ясно? Товарищи командиры — по местам! Чесноков! — позвал Ардатов. — Красноармеец Чесноков!

— Я! — откликнулся из темноты Чесноков и подбежал.

— Отстань к Тягилеву. Он один, слепцов трое. Будь с ними рядом. В случае чего — поможешь. Возьми у кого-нибудь из них автомат, все патроны. Принеси мне.

Ардатов сам представлял смутно, чем можно, если они наткнутся на немцев, помочь слепым, что можно сделать тогда для слепого? Разке схватить за руку и тянуть за собой? Или кричать что то, надеясь, что за выстрелами слепец расслышит? Но Ардатов хотел, чтобы возле этих слепых был еще человек.

— Есть, товарищ капитан. В случае чего — Тягилев с одного боку, я с другого. Чтоб не побежали куда не надо, — понял Чесноков.

Чесноков еще шагал рядом и на шаг сзади. Ардатов, конечно, не видел его лица, но по голосу догадался, что Чесноков улыбается.

— Скоро рассвет, так что осталось недолго, Чесноков. Когда найдем батальон, я отправлю их в хоззвод.

«А есть ли в батальоне он? Этот хоззвод? — подумал Ардатов. — Хотя... Должен быть. Хоззводы отходят первыми, так что шансов уцелеть у них больше, чем у кого угодно в батальоне. Но здесь степь, здесь днем летчикам хоззвод виден так же, как и все остальное».

— В общем, действуй по обстановке, решай... Сам. Я на тебя надеюсь. Выполняй! Неси автомат!

Через полчаса стали попадаться воронки от бомб, помельче — от снарядов и совсем мелкие — от мин. Ардатов, наклонившись на ходу, зачерпнул из одной земли и понюхал — земля еще остро пахла сгоревшей взрывчаткой.

«Теперь близко! — сказал себе Ардатов. — Или наши, или уже немцы».

— В цепь! — скомандовал он негромко и развернул автомат стволом вперед.

— В цепь! В цепь! В цепь! — повторило за ним так же глухо несколько голосов.

Они минули артиллерийские позиции, там не было ни убитых, ни брошенного второпях имущества, лишь тускло светились гильзы, да белели исструганные доски снарядных ящиков.

«Отошли, — уверился Ардатов. — К северу. Если бы на восток, мы бы слышали».

Небо из черного стало просто темным, звезд на нем поубавилось, а те, что еще не погасли, горели тусклей, когда Белоконь громким шепотом позвал его, разыскивая.

— Немцы! Немцы, товарищ капитан! — сообщил он взволнованно и даже как бы радостно, как если бы они всю эту ночь искали немцев, а не своих. — Идут чуть правее, нам напересек. Напарники наблюдают.

— Стой! Ложись! К бою! — скомандовал Ардатов. — Много? Цепь? Группа? А если это наши отходят? Не перепутал? Точно — немцы?

— Какие там наши! Шпрехают, сам слышал. Форвейтс! Шнеллер! Шухры-мухры! — подтвердил Белоконь, лежа рядом с ним. — Идут тесной цепью, а много ли — не разглядишь. Но вроде бы — по

звуку — не очень много. Чу! Слышите! Вроде собака рычит! Там! — вытянул вперед — влево руку Белоконь. — Там, где траншея. Там есть траншея, товарищ капитан, я прыгнул через нее. Может, в нее?

— Успеем? — Ардагов вскочил. — Успеем в нее?

— Успеем! Успеем! — быстро ответил Белоконь. — Если враз — тут один бросок! Метров...

— До траншеи! — громко, чтоб было слышно подальше, — до траншеи!... Броском, вперед! — скомандовал Ардагов и, дернув затвор автомата на себя, побежал по весь дух, втянув, насколько это было возможно, голову в плечи.

Почти сейчас же не стало тишины — всего какие-то секунды Ардагов слышал, как топали по земле сапоги и ботинки его людей, а после этих секунд хлопнул первый винтовочный выстрел, как бы сигнала «Огонь!», и немцы, выполняя этот сигнал, засадили очередями из автоматов.

«Промажут! — крикнул себе Ардагов и надал, насколько у него оставалось сил, вдруг и сам, как и Белоконь, вновь ощущая тот восторженный холодок опасности, который он уже было забыл, скитаясь по санлечкам, госпиталям, резервам. — Не проскочить бы траншеею!»

«Фить! Фить! Фить!» — свистнули над ним пули, но он снова, как заклинание, закричал себе мысленно: «Промажут! Ни хрена же не видят! Промажут! Промажут! Промажут, сволочи!» — и, чуть не пробежав ее, свалился в траншею.

Рядом с ним и дальше в обе стороны по траншее, крикая, что-то выговаривая, ругаясь, хрипло дыша, прыгали в нее красноармейцы.

— Батальон! — крикнул, едва переводя дыхание, Ардагов. — Батальон! Огонь! — и, нащупав спуск и поводя стволом на вспышки немцев, начал стрелять короткими очередями. Он забыл, вгорячах, что никакого батальона у него нет, а есть группа в девяносто человек, с бору по сосенке, но, употребив слово «батальон», он мысленно махнул рукой на ошибку, оправдавшись перед самим собой, что и по девяносто человек бывают и еще долго будут бывать батальоны на войне.

Когда стрельба утихла, Ардагов, опасаясь, как бы немцы не попробовали подползти на бросок гранаты и потом атаковать их, выдвинул парные секреты, один секрет он выдвинул и в тыл, прошел до крайних красноармейцев по траншее, осматривая ее и приказывая:

— Дозарядить оружие! Не спать! Ждать их атак! — Потом он выбрал себе место в центре цепи и присел на корточки на дне, чтобы удобнее было набивать в магазин патроны.

Траншея оказалась неважнецкой — где в полроста, где еще мельче — по колено, ходы сообщения были лишь намечены. По всей длине, что Ардагов прошел, не попалось ни блиндажа, ни земляночки, но все равно это была удача — утро заставало их не на голой степи.

— Не получилось! — сказал он Щеголеву и Тырнову, когда они пришли к нему. — Не примкнули ни к кому. Эти фрицы явно заходили нашим во фланг или изучали этот фланг. — Он, зажав магазин между колен, левой рукой крутил улитку, а правой, наощупь, ставил один за другим перед ней патроны. — Знаете, что значит просачиваться? Да? Так вот, ночью они любят просачиваться или за открытый фланг или в стыки. Мы им помешали, и то хорошо! Но утром они постараются от нас избавиться. Поэтому главное для нас — к рассвету закопаться. Пусть углубляют ячейки, хотя бы по грудь, и — круговая оборона! Тырнов, вам ясно это? В землю и — круговая оборона! Утром осмотримся, решим, что делать дальше. А теперь — к людям. Я направо. Пусть роют. Хоть руками — но в землю. Как можно глубже в землю! Выполняйте!

— Найти наших! Найти и доложить! Командиру любой части, любого полка, любого батальона!

Ардагов вглядывался в лицо этого красноармейца, как будто заранее ища в нем ответ — найдет Стадничук своих или не найдет. Если не найдет, тогда они здесь, в этой траншее, останутся вновь до ночи одни — горстка разведчиков, чуть большая горстка автоматчиков, стрелки, портные, сапожники, пекаря, артист, музыкант, старший лейтенант Щеголев, химик-лейтенант Тырнов и он, капитан Ардагов, командир батальона без батальона. Останутся на целый длинный день, а кто-то, конечно, останется навсегда.

— Доложить, что связи нет ни с кем. Обстановка неясна — знаем только то, что видим. Нет воды, продовольствия. Почти нет боеприпасов. Вооружение только стрелковое, — ни одного пулемета.

Стоя в положении «смирно» напротив Ардагова, Стадничук смотрел ему в глаза и повторял с готовностью:

— Связи нет... Обстановка неясна... Боеприпасов почти нет...

Когда на вопрос: «Нужен связной к своим. Добровольцы есть?» — пришло человек десять, в том числе все разведчики, Ардатов выбрал Стадничука, потому что решительность Стадничука на мосту ему запомнилась, а разведчиков он посылать не хотел, сберегая их для себя. Впереди был длинный день с неизвестными делами, каждый человек, на кого он бы мог положиться, был на счету, и четверо разведчиков-фронтовиков в его разношерстной группе представляли, конечно, большую ценность.

В дни прежних боев, в их кровавой сутолоке, когда все перемешивалось так, что, казалось, ничего нельзя и запомнить и понять, Ардатов все-таки многое запоминал, а понял главное — война, в которой побед было куда меньше, чем поражений, стала тем фоном, на котором смерть, придвигаясь к каждому тем ближе, чем ближе к нему был фронт, а на фронте, повиснув над каждым, — смерть беспощадно высветляла главное в человеке, его душу — стержень, скрытый намеренно или ненамеренно раньше. Под этой, над всеми висевшей, всюду витающей чудовищно могущественной смертью душа человека на фронте проступала четко, как на рентгене просыпает его позвоночник, и Ардатов не раз думал, что фронт и есть рентген человеческой души.

В дни прежних боев, в их кровавой сутолоке — под бомбежками, во время поспешных отходов (все восточней! восточней! восточней! — сначала к Киеву, потом к Смоленску, потом к Вязме, потом к Москве), в минуты торопливых похорон (для одного — могилка глубиной в метр, для многих — кусок противотанкового рва), при атаках немцев (идуших на них так дьявольски спокойно — деловито, будто они — командиры и красноармейцы Красной Армии — совершенно не умеют стрелять, ни в кого из этих немцев никогда не попадут, а значит, не убьют), во время наших отчаянных контратак (подпустив на два броска гранаты, надо по крику командира выскочить из окопа, для легкости оставив в нем и полевую сумку, и бинокль, и шинель, и вещмешок, и, обгоняя друг друга, подбадривая себя и соседей хриплым «ура», надо бежать навстречу немцам, чтобы сшибиться с ними, видя сначала, как они все ближе и ближе, как ярче вспыхивают ножевые штыки на их винтовках, как желтее становится пламя от выстрелов из этих винтовок, слыша все громче не только очереди их автоматов, но и топот сапог, и сшибившись с ними, надо стрелять в них в упор, судорожно перезаряжая винтовку, отпрыгивая от их выстрелов, от их штыков, ловча ткнуть своим штыком кого-то из них, когда уже нет времени сунуть в винтовку новую обойму, и так то ли секунды, то ли минуты надо метаться в рукопашной, замечая все-таки, как падают немцы и как падают свои, слыша хриплую ругань по-русски и по-немецки, и так метаться, метаться в рукопашной, чтобы потом, когда не остается уже сил, даже чтобы схватить сухим горлом воздуха, вдруг радостно увидеть, как дрогнет ломанная линия, на которой сшиблись наши и немцы, увидеть, как вдруг немцы начинают отрываться от нее, поворачивают к тебе спиной, как бегут к своим окопам, как пытаются отойти, отползти с ними их раненые, и, увидев все это, надо, упав на колени, судорожно и радостно дыша, надо тебе и тем, кто с тобой остался жив и цел, торопливо стрелять по убегающим, целясь для верности не в головы, а в эти спины, во все уменьшающиеся спины, замечая, как после твоего выстрела эти спины вдруггибаются, как от удара ломом, тебе надо беспощадно и торопливо стрелять, стрелять и стрелять, пока не стукнет в мозг, что последнюю обойму следует оставить на всякий случай), так вот, в эти дни, часы, минуты боев его люди — его подчиненные — Ардатову раскрывались (то мельком, как в оторванных кинокадрах, то подолгу, как в чьем-то неторопливом пересказе) и в неожиданных качествах: скромники, тихони оказывались отчаянными смельчаками, забубенными головушками, а всякие там говоруны, исполнительные, передовые, скисали тем более, чем острее становилась опасность.

Посылая с донесением Стадничука, он помнил и его решительность на мосту, и молчаливость у костерка в овраге, и то, что винтовки всех их стояли в козлах, а не лежали кое-как на земле. Конечно, из числа всех, кто был в его подчинении, Ардатов, если бы послужил-повоевал с ними подольше, мог бы найти и человека более сообразительного, более спокойного, но сейчас он пока мог полагаться на Стадничука, на его надежность.

— Оба наши фланга открыты, тыл не обеспечен, — продолжал Ардатов. — Но тактически позиция выгодная, она позволяет иметь круговую оборону, так как мы на доминирующей высоте.

— Фланги открыты... Тыл не обеспечен... Круговую оборону, — повторял Стадничук, все так же сосредоточенно глядя Ардатову в глаза.

— Ясно все? — закончив, спросил Ардатов. — Когда доберетесь до своих, скажите, что я приказал вам немедленно вернуться. Ясно? Повторите название этого населенного пункта.

Ардатов показал в тыл, на небольшой поселок, который находился как раз у них за спиной.

— Ясно, товарищ капитан.

Стадничук поглубже натянул пилотку, поправил скатку и приподнял от земли винтовку.

— Населенный пункт Малая Россоска. Мы западнее его один километр.

Ардатов отдал ему честь и протянул руку.

— Выполняйте.

Та тишина и то внимание, которые соблюдали все, когда Ардатов отдавал приказ, сейчас сломались — Тырнов из-за спины Ардатового тоже протянул Стадничуку руку, говоря:

— Ждем! Все время помните — ждем! Так что...

— Будет помнить! — ответил за Стадничука Белоконь и легко стукнул его кулаком по плечу, как бы для одобрения.

— Да он одна нога здесь, другая — там, — сказал Тягилев. — Это он может, раз вся надежда на него! Раз на тебе смотрит столько люду — тут уж в лепешку распластайся, а сделай. Так аль не так? Так аль не так?

— Так! Так! Так, — подтвердил Стадничук, пожимая тянувшиеся к нему руки. — Вы тут сами-то, не того... В общем... Я постараюсь...

Торопливо, как если бы он опаздывал куда-то, Стадничук пошел по траншее к ходу сообщения, прорытому в сторону Малой Россоски, пробежал по этому ходу и, согнувшись, выскочил из него, держа в правой руке винтовку и раскачивая ее в ритм бегу.

«Правильно бежит», — отметил Ардатов, бежать именно так он и учил до войны красноармейцев.

— Ишь как несется, ишь как! — одобряюще говорил и Тягилев. — Глядишь, и проскочит. А чего ему тут не проскочить? Осталось всего ничего. И проскочит себе, и наших найдет, а то мы как сиротинки! Чего мы тут можем без людей-то, без мира-то? Ишь как надал! Ишь как сигает. Как этот, хвостатый, — как генкуру какой! Ишь как он!... Ну, помогай ему...

Немцы не видели Стадничука пока он спускался за высотой, но как только Стадничук выбежал из мертвого пространства, немцы начали стрелять. Они стреляли не очень дружно, от них до Стадничука было уже метров пятьсот, и Ардатов, наблюдая в бинокль, как Стадничук бежит, пригнувшись и петляя, мысленно подбадривая его: «Давай! Давай! Давай! Давай! Ну еще! Ну еще! Давай! Давай! Давай!», думая, что хорошо, что он отобрал именно Стадничука, уже готов был вздохнуть облегченно, когда откуда-то слева ударил одиночный выстрел, и Стадничук упал.

— Хитрит! Это он хитрит! — возбужденно, с надеждой для всех и для себя крикнул Чесноков и подбежал к Ардатову и стал так близко, как если бы он тоже хотел вместе с ним посмотреть в бинокль.

— Жив? Жив? Он жив? — возбуждение спрашивал он. — Товарищ капитан, он жив? Стадничук жив? Разрешите посмотреть! Разрешите.

— Не надо.

Ардатов и Щеголев переглянулись.

Если бы Стадничук упал не так — не на спину, если бы он потом перевернулся или хоть пошевелился, можно было бы надеяться, что он упал нарочно, заметив, что к нему пристрелялись, упал, чтобы обмануть немцев, но он упал на спину, вяло вскинув руки, и даже с такого расстояния Ардатову в бинокль было видно, что он лежит неподвижно. И он лежал лицом вверх, в положении, из которого потом неудобно вскочить и побежать дальше.

Несколько минут все молча следили за Стадничуком, ожидая, что вот он сейчас резко вскочит и побежит, побежит, побежит, но Стадничук не вскакивал, не шевелился, и все как-то вдруг (но каждый внутри себя, как если бы каждый линией зрения ощупал Стадничука) почувствовали, что он убит, а потом и поняли это.

— И вся недолга! — сказал кто-то. — Есть — нет. Есть — нет! И вся недолга.

— Не повезло, — уронил Белоконь. — Не повезло мужику.

— Пухом земля ему будет, — прошептал сокрушенно Тягилев. — Эх-ма!...

Ардатов посмотрел на часы. С той минуты, когда он их собрал, когда объяснял, что требуется, и спросил: «Добровольцы есть?» — и Стадничук тоже вызвался добровольцем, и он отобрал его, с той минуты прошло всего лишь четверть часа. Последние четверть часа жизни Стадничука.

«Мы похороним тебя ночью, когда они ничего не будут видеть. Так что до ночи там лежи. Тебе ведь, друг, теперь все равно», — сказал он про себя Стадничуку. Он еще раз поглядел в бинокль и опустил его.

— Передать по цепи — беречься снайпера! Больше посылать никого не будем, — сказал он Щеголеву.

— Да, — кивнул Щеголев. — Нет смысла.

Это было очень плохо, что против них где-то устроился снайпер. Ардатов и Щеголев хорошо знали, как одиночка-снайпер терроризирует — ни поднять головы, ни перебежать, целый день не высовывать носа над окопом, потому что в любое мгновение снайпер может послать точную пулю. Никто ведь не знает, кроме самого этого снайпера, когда он дремлет, устав следить через прицел, не появится ли цель, когда ест, когда готов нажать на спуск.

«Так! — подумал Ардатов. — Дела! — Он стал смотреть вперед и прикидывая, как лучше расположить свое воинство. — Вот и начинается этот день! Ну-ну...»

После смерти Стадничука, которая, конечно, подействовала плохо на всех, все копали торопливо и ожесточенно, углубляя траншею, но Ардатов не слышал ни громкого разговора, ни шуток, за которыми многие люди, попав на передний край, прячут взволнованность, и поэтому радостный голос Чеснокова зазвенел над их позицией неожиданно громко и чуждо, ломая установившуюся тишину, отдаляя их всех от Стадничука, как отсекая их, живых, от него — мертвого.

— Фрица! Фрица поймали! — сообщая всем, бежал к Ардатову Чесноков. Он еще издали доложил: — Товарищ капитан, захвачен пленный! Фриц! Настоящий! Вон его ведут! Вот это да! — Чесноков был рад, почти по-щенячьи ему рад. Он так и сиял улыбкой и глазами. Можно было подумать, что кончилась война. — Вот это да! А, товарищ капитан?..

И правда, по траншее в цепочке красноармейцев, которые были и впереди и позади него, выделяясь своей серо-зеленой шинелью, шел, держа чуть растопыренные, поднятые на уровне плеч руки, немолодой — лет сорока — немец, которого чуть не подталкивал в зад штыком Тягилев. Он вместе со своими слепыми и захватил его.

— Мне, значит, слепыри говорят: «Шумит чего-то в полыни». Вот, значит, Авдеев, он первый услышал, а потом Никонов, он тож услышал...

Тягилев, объясняя, как оно было, показал на Авдеева и Никонова, и оба они закивали, подтверждая, что было именно так, что Тягилев говорит по справедливости.

— А я не чую, малость глуховат, кузнецы, они все, товарищ капитан, глуховаты...

Тягилев говорил торжественно, потому что, полагал он, захватить пленного дело не простое, не каждому дается, тут нужна и сообразительность и отвага и все остальное, что, звучало в тоне Тягилева, у него, не в пример другим, имелось.

Конечно, возле пленного сгрудились все, кто мог. Вытягивая шеи, красноармейцы старались рассмотреть его получше, теснились так, что пленный через минуту оказался плотно прижатым к Тягилеву и, нависая у него над головой, слушал, чуть улыбаясь, Тягилева.

Что ж, для Тягилева это были дорогие мгновения.

Маленькому ростом, щуплому, хотя и по-рабочему жилистому, пожилому, ему, конечно, уже не раз, за недолгую его службу запасника, не раз пришлось слышать насмешечки молодых и здоровых, и хотя все эти насмешечки, все это традиционное в армии подшучивание было беззлобным и делалось лишь ради того, чтобы как-то скрасить однообразие военной службы, чтобы потешить честной народ, все таки роль предмета насмешек была обидной. И теперь Тягилев брал реванш за все те смешки и шуточки.

— Потом глядя — полынь то заколыхалась, глядя, а там голова! Эна! Я было навскидку, а он как заорет: «Нет! Сдаюсь! Гитлер капут!»

Тягилев переживал вновь это событие.

— Ну, думаю, вот те на! Тут слепыри подоспели, я ему: «Иди! Иди!» И чего-то вроде как бы пса какого-то звал, прилудного, — признался он, что именно так почему-то позвал перебежчика. — А ведь вроде тоже человек хотя и немец, а? Все как надо: руки, ноги, глаза человечьи... Ну, значит, он поднялся, пошел... Ишь, — Тягилев обернулся к немцу, — смеется, смеется, фрицка! Надо же!...

— Молодец! — сказал ему Ардатов, соображая, что перебежчик — это, конечно, и хорошо, и плохо — хорошо, потому что от него можно кое-что узнать, а плохо, потому что возле него теперь придется постоянно держать часового, да не какую-нибудь тютю-матюхтю, а толкового, чтобы, вздумай немец удрать — черт его знает, что у него может быть в башке! — чтобы, вздумай немец удрать назад, к своим, часовой мог бы с ним справиться. Пристрелить или заколоть.

Он отдал честь Тягилеву.

— Объявляю благодарность!

— Служу... Служу Советскому Союзу! — поперхнувшись от радости, ответил Тягилев и принял бравый вид.

— Вам, красноармейцы Авдеев и Никонов, также объявляется благодарность!

Он им тоже отдал честь, и они вразнобой, пряча смущение, стараясь выполнить получше в этой толкотне стойку «Смирно», тоже ответили, что служат Советскому Союзу, а потом, опустив глаза, некоторое время рассматривали свои обмотки и ботинки.

«Ах, старики! Ах, вы мои старики! Что-то будет со всеми нами? — подумал тепло Ардатов. — Если бы мы вышли к своим!...»

Что ж, они имели право на это тепло. Ардатов давно убедился, что солдаты из пожилых — отличные солдаты. Они, конечно, не могут ни быстро, ни долго бекать, перебежки делают тяжело, слабы в рукопашной, в рукопашной их много погибает, но уж кто-кто, а они, скомандуй только, всегда поднимаются для этих перебежек, всегда готовы идти в рукопашную. Они уважают начальство, делают, что приказывается, в трудные дни ропщут тихонько и робко, тянут, покряхтывая, солдатскую лямку и верят, что делают нужное дело. За спиной у них семьи, родные гнезда, в которые они вложили нелегкий свой труд, и та жизнь — их семьи, их работа, что у них были до мобилизации — для них единственная, последняя, и, так как ее надлежит беречь, они, во избежание осложнений, слушаются начальство, считая, коль уж пришлось попасть на службу, так надо служить добросовестно.

— Какой части? — спросил Ардатов перебежчика, вспоминая фразы из разговорника. Немец, опустив руки, свел каблук вместе, прижал руки к бедрам и слегка оттопырил локти.

— 23-й танковой дивизии. Обер-ефрейтор, ружмастер разведбатальона Густав Ширмер. Дивизия передана из группы «А» с кавказского направления в 6-ю армию генерала Паулюса.

С готовностью отвечая, перебежчик смотрел на Ардатова без страха, больше того, с какой-то затаенной радостью.

И дальше он отвечал подробно и медленно, четко выговаривая каждое слово, как бы давая возможность лучше понять его. Тех не очень богатых знанием школьного и университетского немецкого плюс вызубренный военный разговорник было достаточно, чтобы Ардатов понимал его ответы.

— Задача дивизии?

— Мне неизвестна, — Ширмер наклонил голову вбок, как бы сожалея, что задача дивизии ему неизвестна. — Задача разведбатальона — двигаться в авангарде полка в направлении Малые и Большие Россошки с последующим выходом к Гумраку и далее к западной окраине Сталинграда.

При этих русских названиях Тягилев, который стоял с открытым от удивления ртом с той самой секунды, как пленный заговорил, словно это было так же удивительно, как если бы заговорила корова, при этих русских словах Тягилев вмешался:

— Эва, как чешет! Россошка, Гумрак! Сталинград!... — Удивление на его лице сменилось сердитым выражением. Он осмотрел немца сверху вниз и снизу вверх и ловчее поставил у ноги винтовку. — Ишь, Россошка!... Гумрак тебе!... Ишь он какой! А кабы я пальнул тебе в физию? Кабы пальнул? Раз — и квас! Кабы так? Был бы тебе Гумрак!...

— Отставить! — приказал ему Ардатов. — Есть ли в разведбатальоне танки? Сколько? Какого типа?

«Нда!» — подумал он, когда Ширмер сказал, что разведбатальону придан батальон танков, что вообще 23-я дивизия, хотя и понесла потери на кавказском направлении, перед переброской к Сталинграду была пополнена и техникой и людьми, так что представляет из себя весьма боеспособное соединение. Далее Ширмер сообщил, хотя Ардатов его и не спрашивал об этом, приблизительный состав дивизии — ее полки и приданные средства усиления, фамилии командиров, которых он знал, где, когда, с каким полком разгрузался разведбатальон, предположительные пункты разгрузки остальных частей дивизии и другие сведения. Эти сведения были очень важны для Нечаева и бесполезны для Ардатова.

Он узнал главное для себя: против них за высотками — разведбатальон и батальон танков. Этот разведбатальон, видимо, острое немецкой стрелы, в которую был построен авангардный полк 23-й дивизии, вот-вот должен был начать движение и вот-вот должны были завести моторы танки. И хотя он, Ардатов, со своими людьми удачно отбил от пешей разведки, щупавшей ночью предполье батальона, он знал, что днем ему и его плохо вооруженным людям будет кисло, так кисло, что кислее и не придумаешь.

«А Нечаев прав, они действительно перебрасывают части с Кавказского направления, — все же хотя и не к месту, подумал Ардатов. — Не хватает на все задачи. Но сегодня они дадут нам прикурить. Раздавят, сволочи!...»

Его интерес к пленному упал, все, что надо, он получил от него, он уже прикидывал, где его держать, кого поставить охранять, причем, вспомнил о контрразведчиках, считая, что это их хлеб, но и сразу же отодвинул эту мысль соображением, что контрразведчиков, особенно Жихарева, надо оставить в цепи, что один Жихарев будет стоять в ней пяти, а, пожалуй, и больше необстрелянных красноармейцев, сапожников или пекарей. Он вспомнил Васильева, Талича, и стал искать их глазами, переводя взгляд с лица на лицо Тягилева, Чеснокова, Жихарева и Просвирина, других красноармейцев, когда немец вдруг сказал:

— Прошу доставить меня к старшему начальнику. Прошу, как можно быстрее, — Ардатов понял это — «как можно быстрее». Немец сказал это твердо, глядя прямо на Ардатову, и в интонации просьбы Ардатов услышал и ноту требовательности.

— Чего это он? Чего? А, товарищ капитан? — уловил перемену в разговоре Тягилев. — Чего ему надо?

— Я старший начальник, — отрезал Ардатов.

Еще когда немца вели к нему, Ардатов заметил, что немец не то тревожно, не то озабоченно оглядывает попадавшихся ему навстречу красноармейцев, их оружие, снаряжение, вертит головой по сторонам, рассматривая окопы и ходы сообщения, что он несколько раз, вытягивая шею, посмотрел в тыл. Можно было предположить, что пленный делает все это, просто нервничая, опасаясь, не пристрелят ли его, не начнут ли мучить. Но сейчас Ширмер, вновь вытянув шею, посмотрел в тыл.

— Чего он говорил? Чего говорил-то? А, товарищ капитан, — не отставал Тягилев.

— Давал сведения.

— Сведения? Это хорошо! Это знатно! — обрадовался Тягилев, поворачиваясь ко всем. — Значит, толк есть. Есть ведь, землячки? Оно, конечно, не генерал попался, но...

— А если врет? Так тебе он и раскололся, держи карман шире! — бросил презрительно ему Жихарев. — А ты хлебало раскрыл и...

— Да брешет он, брешет, собака! Шкуру спасает. Трясется, как бы не шлепнули тут! — врезался в разговор Просвирина. Он выбросил вперед руку наподобие семафора. — Гад! Травит свою легенду! Да такого надо!...

Отталкивая других, он было рванулся к Ширмеру, ко Жихарев с силой дернул его за ворот, а Ардатов как хлестнул по лицу командой:

— Назад!!!

— А может, и врет, правда, товарищ капитан, — вмешался Авдеев. — Вы ему не больно-то верьте. Вдруг подослан?

— Ну и что же? — крикнул звонко Чесноков. — Ну и что же? Мы же не дураки! Мы ему и верим и не верим!...

Ширмер с полуулыбкой смотрел на все это, но потом снова твердо не сказал, а как потребовал у Ардатову:

— Если вы старший, прошу выслушать меня наедине. Имею сведения особой важности.

«Что за черт! Какие там особые сведения», — подумал Ардатов.

— Чего ему надо, капитан? — спросил Щеголев. — Хоть что то дельное сообщил? Или так — обычное: «Арбайтер, мобилизован... Прощай, Москва! Гитлер капут?» Песенки, которые они поют, пока их не уведут с переднего края. Это?

— Да нет, не только это. Есть и дельное. — «Разведбат и батальон танков! — повторил он про себя. — Куда уж как дельней!» — Пошли. — Ардатов расстегнул кобуру. — Пошли, — повторил он Щеголеву, который, не понимая, посмотрел на него и на кобуру. — Пошли, пошли!

Щеголев взял автомат за шейку приклада так, что его ствол был направлен вперед и вниз.

— Ну, что ж, но, может...

— Комм! — приказал Ардатов Ширмеру, но тут Чесноков, золотая мальчишеская душа, отчаянно закричал:

— Этого нельзя! Товарищ капитан, нельзя! Он же пленный! Он сам перешел! Товарищи!...

— Отставить! — бросил через плечо Ардатов. — Отставить! По местам! Лейтенант Тырнов — разведите людей.

— Правильно, — выкрикнул, перебивая Чеснокова, Просвирин. — На распыл его!

— Дурак! Дурак ты! И сам — гад! — Чесноков крикнул это, задыхаясь, отчего его голос сорвался на громкий шепот. Вдруг, изловчившись, он увернулся от Тырнова и подбежал к Ардатову. — Товарищ капитан... Это же не эсэсовец... Он же...

Чеснокову показалось, что сейчас будет совершенно гнуснейшее дело — два командира Красной Армии заведут в тупичок траншей безоружного пленного и расстреляют, пустят, как предложил Просвирин, «на распыл». При мысли об этом, еще не ожесточившееся, не заматеревшее сердце Чеснокова переполнилось таким возмущением, что он забыл, что он — на войне, забыл, что он подчиненный и не имеет права ни возражать, ни протестовать против действий командира, тем более в боевых условиях.

— Назад! — Щеголев стал между Ардатовым и Чесноковым, но Ардатов отвел Щеголева.

— К ноге! Автомат к ноге! Спокойно! Никто не собирается стрелять его. Стой здесь. Никого к нам не пускать. Ясно? Выполняй. Комм! — повторил он немцу.

Немец улыбнулся Чеснокову и кивнул: «Данке! Данке, камерад!»

Шагов через десять, как бы оправдываясь, Ардатов бросил Щеголеву:

— Видал? Этот Чесноков... Все еще...

— Привыкнет. — хмуро ответил Щеголев. — Так чего он хочет, капитан? Или — чего ты хочешь?

Они и правда завернули в тупичок и здесь, в пулеметном окопе для отсечного огня, остановились.

— Слушаю! — Ардатов в упор смотрел на немца. — Быстрей.

Немец кивнул и вдруг сказал по-русски:

— Прошу доставить к офицеру разведки. Имею особое сообщение. Это все, что я могу сказать. Не имею права добавить ничего. Товарищ капитан, — Ширмер так и сказал — «Товарищ капитан», — прошу отправить меня в штаб.

Щеголев от удивления свистнул:

— Фюи-и-ить! Вот так сюрприз! Вот так подарочек! И говоришь, ничего не имеешь права добавить? Так-таки и ничего? А где эти сведения? Где они? Ну?!

Ширмер показал пальцем на лоб и постучал по нему.

— Там, там. Только там!

— Да? Да? Там? — усомнился Щеголев, но сразу же и смирился: — Вообще логично. Не таскать же через фронт засургученные пакеты. — Он посмотрел на Ардатова. — Что будем делать? Держать его, конечно, нельзя, надо побыстрей отправить, но, с другой стороны, только они высунутся, а послать с ним надо минимум пару человек...

«Не этих, — подумал Ардатов о контрразведчиках, уж больно ненадежным показался ему Просвирин. — Не доведут!»

— ...Только они высунутся, и их всех перестреляют. Или вы рискнете? Хотя... Если он действительно такая важная птица, рисковать нельзя, нельзя, капитан. Надо ждать... Хотя что там будет впереди?

«Впереди будет, — мысленно ответил ему Ардатов, — разведбат и батальон танков».

Пока они обговаривали, что делать дальше с Ширмером, Ширмер стоял слушая, и на его лице не было ни тени страха, ни заискивания, он держался как равный и как свой, как будто разность их армейской одежды то ли была так, мелкая деталь, то ли вообще ее не существовало.

— Нет, рисковать нельзя, — согласился Ардатов. — Но пост к нему выставим. Посменный пост. Не помешает.

— Ты ему веришь вообще-то? — Сам Щеголев судя по его тону, не очень верил. — Веришь?

Ардатов пожал плечами.

— И да, и нет.

Они не отошли, они говорили, как если бы Ширмер не понимал их.

Расспрашивать Ширмера дальше, задавать вопросы вроде: «Почему раньше не перешел фронт? Почему именно тут решил перейти?» — расспрашивать об этом Ардатов считал бессмысленным. Ширмер мог ответить, как угодно, и поди проверь его! Определяющим являлось, однако, то, что Ширмер действительно сам сблизился с ними, сам незаметно подполз, сам обнаружил себя, сам сдался, то есть был перебежчиком чистой воды, а не пленным в бою, подобранным раненым или взятым в других

обстоятельствах. Ширмер был натуральным перебежчиком, и это было неоспоримо. И, второе, Ширмер сделал такое заявление, которое или надо было принимать как достоверное, или следовало отвергать начисто, во всяком случае, перепроверить хоть крошку его Ардатову было не по силам. Поэтому все дополнительные вопросы оказывались ненужными, а так как Ардатова ждали дела, куча дел, он, кивнув, объяснил Ширмеру, что при первой же возможности он отправит его в ближайший штаб, и что, пока такой возможности нет. Он только заметил:

— Вы хорошо говорите... Откуда такой русский язык?

— Я говорю по-русски, потому что родился в России. В Саратовской области. Там жило много немцев, — с готовностью ответил Ширмер. — Я уехал с родителями в Германию в двадцать втором году. Отец получил маленькое наследство — домик и слесарную мастерскую. Я русский язык помню — половина нашей деревни была русской. Это где-то там, — Ширмер показал на северо-восток. — Близко. Я прошу вас, товарищи, верьте мне.

Ему очень хотелось, чтобы ему верили. Он прижал руки к груди, как бы подчеркивая этим жестом свою искренность.

— Здесь моя родина. Здесь. Близко!

— Да-а-а, сейчас близко, — хмуро подтвердил Щеголев, и Ширмер сразу поправился:

— Я хотел, я мечтал увидеть мою родину, по не так! — Он с чувством покачал головой. — Не так! — Он с силой дернул за борт мундира, как будто срывая мундир. — Не так! Как гость. По... — он вспомнил: — по-людски. По-людски! — с грустью и обидой повторил он. — Приехать, ходить по домам, разговаривать, смотреть, что есть как, кушать, немножко водка, петь песни. Говорить про жизнь!

Ардатов и Щеголев молчали — все-таки проклятый фрицевский мундир как будто затыкал им рот, не позволяя говорить с этим Ширмером так, как он хотел бы, и так, как они, может, и должны бы были говорить с ним — «по-людски». Но на мундире Ширмера, над правым карманом, всего в каком-то метре от них — протяни руку и потрогай! — был все тот же ненавистный им фашистский знак — орел с распластанными крыльями, державший в когтях круг со свастикой. На погоны, на петлицы можно было бы наплевать, сами по себе они их не очень-то трогали, не очень-то задевали, но этот фашистский значок как будто все время звонил, что ли, как будто кричал, что ли, про фашизм, все время напоминая о лете, осени, зиме прошлого года, о трудностях этого. Тщательно сотканный из шелковых нитей в два цвета — серо-черный и светлый, этот фашистский орел ставил между ними и Ширмером невидимую стену отчуждения и заставлял верить холодно, даже если они и верили. Сдерни Ширмер мундир, останься в человеческой майке или там рубашке, и разговор бы, наверное, пошел лучше.

Когда Ширмер сказал «говорить про жизнь, петь песню», Щеголев снова недобро усмехнулся, глядя на этот значок.

— О, это ужас! Это грех! Это плохо! Это фашизм! — Зацепляя за край крыла, Ширмер старался его отковырять. — Это только маскировка, для меня — маскировка. Я — коммунист! Я коммунист с тридцатого года! — Он вздернул к плечу сжатый кулак:

— Рот фронт! Рот фронт, камерады! Но пассаран! Фашизм не пройдет!

— А потом? Вы уехали с родителями, а потом? Что потом? — спросил Ардатов.

Ширмер вздохнул, улыбнулся, как бы извиняясь, что не сдержал своих чувств.

— Мастерская была маленькая. Плохая. — Он свел выцветшие, соломенные брови к переносице, вспоминая:

— Инфляция, марка падала. Голод. Разруха. У нас это тоже было. Конtribusiа победителям. Отец разорился. Капиталист не получился. — Ширмер опять извинительно улыбнулся, улыбнулся вспоминая несбывшиеся мечты отца: если не разбогатеть в Германии, то хотя бы иметь пусть маленькое, но свое дело. — Голод, — повторил он. — Классовые бои. Тельман. Спартаковцы. — Он похлопал себя по карманам, достал сигареты.

Ардатов успел прочесть на пачке «Болгария».

«И там они!» — отметил он.

Ширмер, стукнув пачку о ладонь так, что несколько сигарет выдвинулось, товарищеским жестом протянул пачку им.

Они закурили.

— Потом? — Ардатов выпустил дым. Табак был хотя и слаб, но хорош, ароматен, и здесь, в сожженной солнцем степи, его запах казался странным, неуместным. — Потом?

— Я работал на заводе. «Симонсверке». Рур. Токарь. Там стал функционером.

— Потом? С тридцать третьего?

Лицо Ширмера потемнело, он насупился, его небольшой тонкогубый рот сжался. Он посмотрел между ними, на запад, где за две тысячи верст от них была Германия.

— С тридцать четвертого на конспирации. Партия потеряла много функционеров. Ушла в подполье. Гестапо умело работать — много, очень много провалов! После Испании на свободе осталось мало. Считанные, наверное, сотни. Я только функционер. Я знаю мало. Несколько человек. Но я знаю, что такое фашизм.

— Мы тоже, — процедил Щеголев. — Познакомились. На своей шкуре.

Ширмеру, видимо, очень хотелось сломать отчужденность. Он, наверное, считал, что для этого должен им объяснить свое понимание фашизма.

— Фашизм — это когда нет человека. Есть Рейх. Фюрер. Фатерланд. Фольк. Народ — фольк — вообще. Человека, одного человека — нет. Он есть лишь как часть фолька. И нужен как эта часть. Только. Сам по себе — нет. Его сердце, голова, мысли — нет. Они не нужны фюреру, рейху, фольку. Вредные. Их следует коренить. М... М... м... — Ширмер сделал жест, показывая, как что-то надо отрубить в самом низу.

— Искоренять, — помог Ардатов.

— Да! Да! Искоренять! — подхватит Ширмер и показал опять как будто что-то рубит, а потом, что как будто что-то выдергивает из земли. — Поэтому все, что не есть из фюрера, рейха — плохо. Вредно. Хорошо — немец над всеми другими, — он поднял высоко руку, — а среди немцев — немец над немцем. Хорошо — рейх — дисциплина. Думай, говори, делай, как приказано. Не рассуждать. Не обсуждать. Выполнять! За всех думает фюрер. Он знает, что хорошо, что плохо. Ты — не знаешь. Хорошо то, что хорошо рейху, а что тебе нехорошо — мелочь. Глупость. Рейхдисциплина, — повторил он. — Дисциплина рейха. Выполнять! Тебе приказывают — ты выполнять! Ты приказываешь — он выполнять.

Щеголев понял все это по-своему. Он хмыкнул:

— Ты начальник — я дурак. Я начальник — ты дурак! И не тот прав, кто прав, а тот прав, у кого больше прав.

— Не совсем так! — возразил было Ширмер, но, подумав, согласился: — Но, может, есть и так.

— Так! — подтвердил Щеголев. — Гражданская жизнь — не армия, и если на гражданке заводят военную дисциплину, — он махнул рукой, — тогда жизнь пропала!...

Ардатов посмотрел на часы. Казалось, этот разговор должен был бы занять много времени, и Ардатов хотел бы, чтобы он занял много времени, осталось бы меньше до вечера, до ночи — меньше для разведбата и батальона танков — но прошло лишь пятнадцать минут.

— Ну и что? — механически спросил он, думая, что же ему надо сейчас будет делать, но, затягивая разговор, как будто это могло затянуть и действия разведбатальона и батальона танков. — Чем все это кончится? Этот рейх... Этот фатерланд... Фольк?

Ширмер отрицательно покачал головой.

— Не знаю. Но страшным.

Ширмер уже не пытался убедить их верить ему. Он заговорил торопясь, как бы освобождаясь от всех тех мыслей, которые приходили к нему не раз и не раз мучили, потому что он все не находил главного ответа на главный вопрос: «Чем все это кончится для Германии?» Видимо, он понимал, что так, как началось в тридцать третьем году, вечно в Германии продолжаться не может, что все эти штучки насчет тысячелетнего рейха, господства все эти тысячи лет над другими народами — лишь абсурд, гигантский пропагандистский обман. А раз так, значит, весь этот фашизм должен кончиться. Но вот когда? И как?

— Тоталитарный ражим! Руководят страной несколько человек — Гитлер, Геринг, Борман, Гиммлер, Шахт, Риббентроп, еще каких-то несколько — кучка. Во главе целой нации кучка...

— Да? — перебил его Щеголев. — Кучка? А как же эта самая, национал социалистическая рабочая партия? Она что, не руководит? Не ведет немецкий народ за собой? Все вперед и вперед к национал-социализму?

Ширмер рассерженно отмахнулся.

— Какая там рабочая! Только название...

— Да? А что в ней, одни капиталисты? Несколько миллионов капиталистов?

Ирония Ширмер понял, но сдержался. В его положении он должен был сдерживаться.

— Масса, число партии — не капиталисты. Но рабочие только так... Они не делают политику. Не решают ничего ни внутри, ни иностранные вопросы. Все решает эта кучка. А немецкий народ ей не нужен. Нужна слава, богатство, всякие лозунги. Но конец придет...

К ним подбежал Чесноков.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! Гляньте. — Он показал туда, откуда они ушли — там возле Белоконя были какие-то штатские. — Еще гости!

— Вижу. На место, — приказал ему Ардатов. «Этого еще не хватало!» — с досадой подумал он.

Что штатские попадают в оборону, было делом обычным — Ардатов сто раз сталкивался с ними во время отступления. Люди, уходя от немцев, должны были проходить через боевое расположение войск, и от этих штатских — женщин, детворы, стариков — следовало, пропуская их в тыл, лишь побыстрее избавляться. Усталых, растрепанных, часто голодных женщин, стариков, детвору и живыми-то было видеть тяжело, а убитыми вообще невыносимо.

— Как это вы пустили такую кучку к власти? — спросил Щеголев Ширмера в спину, когда Чесноков убежал и они пошли. — И ты слишком хорошо помнишь русский язык. Прошло двадцать лет, а говоришь так... Очень хорошо говоришь. Как по писаному.

На первый вопрос его Ширмер не ответил, а второй явно смял:

— До тридцать третьего была возможность практиковаться. В Германии работало много русских инженеров. На заводах. И после... было... было... — Он не договорил. Наверное, подумал Ардатов, не имел права и на это.

Они вошли в траншею, Ардатов, не доходя до своего места, остановился, думая, где оставить этого Ширмера, и Ширмер, а за ним и Щеголев тоже остановились.

— Практиковаться с пленными? — все ни к чему любопытствовал Щеголев.

— Нет. Мало. — Ширмер покачал головой. — Но они теперь работают в цехах. Токари, фрезеровщики, другие специалисты. Привозят из лагеря. Но нельзя. Запрещается. И — конспирация. Ширмер не родился в России! Ширмер родился в Баварии, — пояснил он. — Моя настоящая фамилия другая...

«Пусть будет на глазах! — решил Ардатов. — Раз, черт, заявляет такое, надо, чтоб уцелел. Надо, чтобы его сведения попали командованию. Хорошо бы его отправить прямо к Нечаеву! Именно так! К Нечаеву! Нечаев распорядится, что к чему!»

Они пошли дальше.

Ардатов все-таки поверил Ширмеру, почти твердо поверил и не потому, что сухощавое усталое лицо Ширмера внушило ему эту веру, не потому, что Ширмер говорил так, что в его словах звучали искренность, не потому, что Ширмер не юлил, а серьезно смотрел им в глаза, давно внутренне подготовившись, что ему не сразу будут верить. Все эти детали, конечно, складываясь, весили немало, но немало значило и другое.

Немцы слишком редко переходили сами. Взятые в плен в бою, они, лишь почувствовав, что их не пристрелят, сразу же начинали ерепениться — смотрели свысока, если даже и не говорили презрительных или высокомерных слов. А многие их говорили. Дескать, ваши армии разгромлены, дескать, они, немцы, наступают по полста километров в день, дескать, мы воевать не умеем, дескать, сопротивление бесполезно и лучше всего побыстрее сдаваться им в плен, дескать, превосходство ума немца над умом русского лишний раз показали победы немцев — меньшим числом солдат и техники они побеждают несметные азиатские орды, которые, сколько ни давай им хороших танков и самолетов, все равно не сумеют ими воспользоваться, так как тупы, чувствительны, живут не разумом, а рефлексами и инстинктами. Словом, низшая раса, для которой будет тем лучше, чем быстрее она покорится. Эти пленные были так уверены в близкой и окончательной победе Германии над Россией, что порой и спорить об этом не хотели, а когда заходил разговор, что и их брали в плен, а значит, где-то побеждали и наши, они это рассматривали, как частный случай, который естественен даже в их победной войне.

Глядя на таких пленных, слушая, что они говорят, Ардатов сначала поражался их какой-то немислимой ограниченности, нежеланию или неспособности посмотреть и подумать шире — не с позиции сорок первого или сорок второго годов, а со времен Святослава, чтобы понять, что военные победы врагов не в состоянии уничтожить ни Россию, ни тем более русский народ, который теперь перевалил в своем числе за сотню миллионов.

Возможно, он ошибался, требуя от пленных немцев, от людей конкретной, повседневной жизни такого вот, исторического, что ли, подхода к событиям. Например, он не мог, наверное, требовать от них простого знания, что в каждом народе, великом ли, малом ли, живет вместе с его кровью чувство определенной национальной принадлежности, самосознания этого народа, что уничтожить это самосознание можно лишь физически — или растворив этот народ в каком-то другом или истребив всех до единого человека, что пока жив хоть один из этого народа, народ существует и ему органично присуще стремление к свободе, к своей жизни — своему укладу, своей вере, своим критериям добра и зла, ощущению своей истории в прошлом и в будущем тоже. Что же касается той страны, в которую полезли теперь немцы, того народа, который они теперь хотели победить, и страна и народ эти были огромны, и немцы должны были, неизбежно должны были потеряться в них, утонуть. Чувствуя, как всякий русский, за собой, спиной эту огромность, Ардатов, после того, как прошло удивление от ограниченности пленных немцев, стал смотреть на гитлеровцев как на часть зла, которая не поддавалась никаким другим действиям — разговорам, объяснениям, а подлежала либо строжайшей изоляции, либо истреблению.

Так вот, немцы слишком редко переходили сами. Их, конечно, агитировали, — по радио и листовками, но они пока наступали, значит, побеждали. А победителям зачем же сдаваться? Конечно, одиночки переходили, Ардатов слышал о них, но это были, как правило, немецкие коммунисты или какой-нибудь немец, которому за что-то — подрался с офицером, например, — грозил полевой суд и для него сдача в плен была в этом случае единственным выходом спасти жизнь. Наоборот, в ответ на наши листовки сдаваться, они бросали свои, в которых издевались, говоря, что рады бы сдаться, да вот никак не могут догнать нас, что все гонятся от самой границы — через Украину, Белоруссию, Западную Россию, подходят, бегут к Москве, да все равно не могут застать Красную Армию, чтобы сдаться. Ардатов сам читал такие листовки, последние уже где-то около Москвы, в каком-то дачном поселке.

И то, что Ширмер пришел сам, когда немцы опять наступали с Украины и подходили к Волге, было очень серьезным фактором. Но за уголовника его нельзя было принять. Его руки в заживших ссадинах, со многими шрамами, темные от въевшейся металлической пыли, жилистые, с деформированными суставами, подтверждали, что он рабочий металлист и подкрепляли его слова, что он в армии служил ружьем мастером. Было в Ширмере и то достоинство, которое Ардатов до войны не раз видел у мастеровых людей. Ежедневно, своими руками, создавая из ничего-бы, кажется, из сырья — болванок ли, досок ли, глины ли, нужную людям вещь, которая долго и верно будет служить им, мастеровой человек знает себе цену. И с уважением, с высокой тоже ценой, он относится к другому человеку, если только этот человек не был лентяем, пьяницей, дармоедом. Таким вот мастеровым и выглядел Ширмер.

Нет, Ширмер не походил на уголовника, которому надо было спастись в плену у отступающего, терпящего поражения противника.

Правда, у Ардатова было мелькнула мысль: а вдруг этот Ширмер всего лишь хитрая сволочь, шпион, которого таким вот образом забрасывают к ним в тыл, но Ардатов сразу же отмахнулся от нее — и сдавшийся в плен будет сидеть в лагере, а если шпион и выдает себя за коммуниста-перебежчика, который принес какие-то важнейшие сведения, то ведь и его будут проверять. Версия насчет шпионства сразу же показалась Ардатову делом глупейшим.

— Разрешите? — Ширмер показал на винтовку на бруствере, как раз там, где под ней лежал убитый красноармеец. — Разрешите? — повторил он.

Во время перестрелки пуля попала этому красноармейцу куда-то в лицо, и он умер, опустившись сначала на колени, а потом лег на бок, свернувшись калачиком и закрыв простреленное лицо грязными руками. Винтовка, как он стрелял, так и осталась на бруствере. Около нее, на солдатском застиранном полотенце, была еще большая горка патронов.

— Разрешите, геноссе капитан? Я хорошо стреляю. Я... пристреливал оружие.

— Да? — переспросит Щеголев. — Пристреливали оружие? — Он накрыл красноармейца его шинелью. — Хорошо пристреливали? Чтоб било точно и кучно? — Щеголев выплюнул окурки сигареты. — Это очень мило с вашей стороны, Ширмер. Что вы его пристреливали. «Шмайссеры?» Карабины? МГ-34? Тем более мило, что вы от души делитесь этими заслугами с нами. А что, у вас, в вермахте, станки для пристрелки? Чтобы оружие не прыгало? Тоже есть мишени с электропоказателями? Как у нас, в РККА? Да? Их бин!... Ду бист!... Анна унд Марта фарен нах Анапа!² — закончил он, и Ардатов услышал в «Их бин!... Ду бист!... Нах Анапа!...» и бога, и трех святителей, и вообще все, что есть в этом пласте русского языка.

[² — Спряжение немецкого глагола «бить» - «Анна и Марта едут в Анапу» - фраза из школьного учебника]

«На кой черт он говорил про пристрелку?! — подумал он. — Ружмастер есть, конечно, ружмастер. Сбил кто-то мушку или еще что-то случилось с оружием — ружмастер поправит, починит, заменит негодную деталь и сам же пристреляет оружие. Наверное, так во всех армиях мира. Все это ясно. Как дважды два. Но на кой об этом говорить? Помалкивал бы...»

— Нет! — резко сказал он. — Никакого оружия! Тихо! — приказал он Щеголеву. — Ширмер, вы не знаете русского! Понятно? Понятно? Ни слова ни с кем по-русски! Это приказ! Ни слова! Щеголев!

Щеголев смотрел на него непонимающе, но он не стал ему объяснять. «Потом!», — решил он, — он не стал ему объяснять, что если их раздавит разведбат, да еще батальон танков, то, попади кто-нибудь из уцелевших в плен и проговорись про Ширмера, Ширмеру — конец. И пропали тогда его сведения. Ардатов не мог позволить, чтобы эти сведения пропали, сообразив, что они, видимо, крайне важные, иначе бы Ширмер не пошел через фронт. Поэтому Ширмера следовало беречь. «Если они нас раздавят, он, может, отговорится, что попал, мол, в плен случайно, заблудился или еще как, пусть сам думает, что говорить, а потом, быть может, попытается еще раз перейти. Может, на этот раз удачней» — решил он.

— Ни слова Ширмеру по-русски! — приказал он Щеголеву. — Ширмер просто пленный. Фриц и только! Понятно?

Щеголев кивнул.

— Ладно. Если ты так считаешь...

— Пошли, — не дал ему досказать Ардатов. — Потом... Ни слова по-русски! — еще раз приказал он и Ширмеру. — Никаких винтовок и прочего. Вы — только пленный. Ясно? Пошли.

— Пошли... — усмехнулся Щеголев. — Яволь, капитан. Яволь! Форверте, дойтчише швайн! — гаркнул он на Ширмера и ткнул автоматом ему в бок.

«Нет, Ширмера вы не получите, — подумал Ардатов о немцах из разведбата и батальона танков. — Мы его сбережем, а вам, сволочи, не раскопать такого конспиратора. Я позабочусь, позабочусь, чтобы его сведения не умерли с ним. Даже если вы всех нас тут передавите!...»

Белоконь был явно доволен — довольством светилась каждая черточка его веснушчатого лица; больше того, он по-клоунски сломил свои рыжие брови, как бы говоря: «Ну как? Как представление?» — пряча под рыжими же, таракаными усишками ухмылку.

Что ж, он и правда мог посмеиваться — за его спиной, теснясь друг к другу, стояла живописнейшая группа — девушка в серой куртке, лыжных брюках и растоптанных босоножках, здоровенная собака и старик. На голове девушки, схваченная под подбородком в узел, который прикрывал высокую шею, была зеленая косынка. Девушка выглядела никак не старше семнадцати лет — с ее смуглого, обветренного лица на Ардатова смотрели глаза старшеклассницы, хотя на куртке девушки, слева, над приподнимавшей куртку грудью, были приколоты под комсомольским три в ряд значка — «Готов к ПВО», «Готов к труду и обороне» и «Ворошиловский стрелок».

Намотав на руку поводок, девушка удерживала у ноги кудлатого, всего в репьях, колючках, пыльного, хоть выбивай палкой, пса. Пес отжимал уши назад, приподнимал губы и показывал всем какие у него страшные клыки. Клыки — белые на фоне черной пасти и розового языка, величиной с чесночины — и правда были страшные.

— Рядом! Рядом, Кубик! Свои! Спокойно! Свои, Кубик! — говорила девушка псу, пока все, на кого пес начинал смотреть, суетливо отодвигались.

За этой парой, возвышаясь над ней как колокольня, высовываясь из траншеи почти по пояс, важно стоял белобрысый, белобородый сухой старик в кепочке и черной косоворотке с двумя, наверное, десятками белых пуговиц на ней. Поверх этой косоворотки на старике было распахнутое сейчас, хорошее, но очень тоже пыльное, в пятнах осеннее пальто с мехом по воротнику и бортам. Брюки на старике были летние, из чертовой кожи, и обут старик был тоже по-летнему — в разбитые донельзя сандалии, казавшиеся из-за этого просто чудовищных, не менее 46, размеров.

— Разрешите должить? — Белоконь с разведческим шиком приложил ладонь к виску и щелкнул каблуками: — Найдены в левом крайнем фесе. Говорят, ночевали там. Говорят, не собираются уходить. Говорят, были беженцы, а теперь считают себя партизанами.

Тон Белоконя псу не понравился, он глухо, предупреждающе зарычал, и Белоконь сразу же сделал два шага вперед.

— С таким зверем только на тигра ходить, а жрет сколько! — сказал кто-то за Ардатовым. На этот раз Ардатов узнал голос пекаря.

— А вот и нет, а вот и нет, — запальчиво возразила девушка. — Кубик добрый, да, добрый! И не жрет, а ест! Как вам не стыдно!

Голос у девушки был высоким, чистым, прекрасным, но в нем звенели нотки дерзости.

— Да! И не смейтесь! Мы — партизаны! Мы так решили! Дедушка и я. Мы имеем право быть партизанами, каждый имеет право быть партизаном! И если кто-то не признает нас...

— Кто вы? Откуда? Почему оказались здесь? — хмуро спросил Ардатов старика, который, как если бы он и не заметил этой хмурости, ответил с неторопливым достоинством:

— Старобельский. Глеб Васильевич Старобельский. Бывший инженер-путеец... Гм... — назвался он приятным, совсем не старческим баритоном.

В Старобельском, несмотря на седину и бороду лопатой, было еще очень много жизненной силы, эта сила угадывалась в сухом длинном теле, в жилистой шее, в голубых открытых глазах, которыми старик смотрел на него прямо — доброжелательно.

«Ай да дед! — подумал Ардатов. — Только все это, дед, не ко времени».

— А это, — Старобельский положил на плечо девушки сухую ладонь, — моя внучка, Надежда Старобельская. — И она права: угодно ли это признать или неудобно — мы считаем себя партизанами!

— Да! — подхватила Надя, отважно глядя на Ардатова и как бы призывая его присоединиться к этой отваге. — Мы — советские люди. Да! Советские!

Она порывисто обернулась к деду:

— Им надо показать документы. Вдруг они нас считают диверсантами? Конечно же!

Удерживая Кубика коленом, прижимая его к стенке, она лихорадочно расстегнула куртку, лихорадочно же вырвала из внутреннего кармана пачечку бумажек и лихорадочно же протянула их Ардатову.

— Здесь все — комсомольский билет, билет учащегося, что я учусь, то есть училась в техникуме, удостоверение на значки. Здесь все-все!

Старобельский тоже протянул: Ардатову свои бумаги, сказав:

— Извольте. Пенсионная книжка, паспорт, профсоюзный билет. Паспорт прописан в Старобельске — мы искони из Старобельска, еще от прадедов. Прописан по улице Приречной, дом 36. Что еще? Ах да! Вероисповедания православного, беспартийный, состоял в масонах, вдов, за границей родственников имею, но связь с ними не поддерживаю. Не судим. В белой армии не служил. В оппозициях не участвовал. Прошу записать в вашу часть.

Ардатов механически взял документы, но не стал их ни смотреть, ни открывать.

— Минутку.

Солнце поднялось над горизонтом, косо освещая землю, еще не грея ее, и тени от кустов полыни и от островков ковыля лежали на земле длинными темными пятнами, на которых чуть поблескивали редкие капли росы.

Еще когда бежал Стадничук, еще когда он упал, в том молчании, наступившем после его смерти, и когда Ардатов разговаривал с Ширмером, Ардатов, то и дело поглядывал на Малую Россошку и в стороны от нее, надеясь увидеть какое-то движение людей, запоздавшие уйти в тылы машины или повозки, хоть что-нибудь, что сказало бы ему, что у Малой Россошки есть какая-то часть, есть свои... Но он ничего этого не заметил — Малая Россошка казалась безлюдной, хотя над несколькими дворами и над несколькими домами в бинокль можно было различить дымки — оставшиеся жители что-то стряпали в печках или на таганках.

От этих дымков на душе становилось грустно.

— Белоконь! Продолжать разведку: на фланги и насколько возможно вперед, — приказал Ардатов. — Собрать все боеприпасы — до патрона. Все, что найдете — несите сюда. Ясно? Выполняйте. Лейтенант Тырнов, ваша задача — следить, чтобы у каждого была хорошая ячейка, в полный рост. Объясните людям, что от танка спасает только глубина окопа. Ясно? Выполняйте! Всем остальным — по местам!

Так и не полистав документов, он вернул их Старобельскому.

— А с вами я не знаю что и делать. Ах ты, Кубик, Кубик! Да какой же ты Кубик? Ты не кубик, ты целый куб!... Так что же делать с вами? — повторил он Наде. — Почему не ушли дальше в тыл? Пока было

можно? Теперь отсюда до ночи не выбраться, а до ночи... («До ночи разведбатальон и батальон танков!» — напомнил он себе). Слышите?

Все прислушались, обернувшись в сторону немцев, в сторону низкого, все усиливающегося гула, и так и стояли молча, пока самолеты немцев не стали различимы и пока Надя не начала их считать.

— Три, семь, двенадцать, двадцать четыре, тридцать, еще семь, еще девять, так... И там... Сколько же? Одиннадцать, еще четыре... Так... Еще... Семьдесят шесть! И откуда у них их столько? Все дни, что мы шли, мы их только и считали. Наши попадались редко. Я злилась ужасно... Эти летят на Сталинград? Прямо на Сталинград?

— Да. Видимо, на Сталинград, — ответил хмуро Ардатов.

Самолеты летели в тройках, тройки составляли девятки, и хотя самолетов не было и сотни, казалось, они занимали всю ту часть неба, которая была северней их траншеи. Ардатов знал, что никто сейчас не копает, вообще никто ничего не делает, все только зло смотрят на эти самолеты да озираются, ища в небе свои. Но своих не было.

«Может, встретят поближе. У города? — подумал Ардатов. — Есть же там ПВО?»

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!

Надя порывисто подошла к Ардатову вплотную и тронула его руку, которой он держал бинокль у глаз.

— Разрешите мне! Разрешите мне пробраться в тыл! Я видела — он не прошел! Мы все видели! Но я пройду! Я маленькая, они в меня и не попадут... — пылко говорила она. — Может, они и стрелять не будут в штатского. Они же увидят, что я не военный, что я... что я не красноармеец. Ведь может же так быть? А? А если может то... то... Разрешите мне, вы только расскажите, куда идти. Куда и зачем!...

— Отставить! — приказал ей Ардатов.

Он приказал так, потому что вовремя не пришли гражданские слова, он просто растерялся от этого нелепого предложения. «Не будут стрелять в штатского! Глузости какие-то! Еще как будут. Откуда им видно с такого расстояния, штатский ты или нет? Ты только цель, ты вообще для них не человек, ни штатский, ни военный, ты только цель! Не попадут! Дурочка, еще как попадут. И будешь ты лежать, как Стадничук, недвижимо, как страшная кукла, с неловко подвернутой ногой. Нет, нет, нет, Надя!»

— Отставить! — повторил он сердито.

— Но почему, почему, почему! — не соглашалась Надя. «Отставить» на нее не подействовало. — Я пройду! Я же пройду. Я пройду. Честное слово, пройду!

Она уговаривала Ардатова все так же пылко, блестя глазами, душа ее загорелась желанием помочь им и, может быть, совершить подвиг. Ее ведь в школе, в кинотеатрах, по радио готовили к подвигам.

— Прекратить! — как красноармейцу, жестко оборвал ее Ардатов.

— Ах так! — Надя отвернулась от него и сделала два шага назад. — Тогда я пойду сама. С Кубиком. Я вам не подчиняюсь, я не военный. Я пойду. Я имею право пойти куда хочу и когда хочу! Вы же не приняли нас в свой... в свою роту, — нашла она нужное слово.

Это было совсем глупо, но и совсем по-детски, и Ардатов не мог сердиться.

— Ты — комсомолка. Значит, не имеешь права мне не подчиняться. Ясно? Все мои приказания для тебя — закон. Поэтому делай то, что тебе говорят. И не мешай. Старайся не мешать, — объяснил он добрее, а когда она было открыла опять рот, он не дал ей ничего сказать:

— Все! Ясно? Все!

Он снова подумал: «Только до ночи! А там мы тебя вытолкаем в тыл, а если будешь ерепениться, получишь ремнем!» — Это было, конечно, фантастика — «получишь ремнем», но Ардатов считал, что было бы неплохо разик-другой ощутимо перетянуть Надю ремнем пониже спины. «Чтобы быстрее бежала! До Волги! До переправы!» — усмехнулся он.

Ардатов привычным движением отстегнул клапан на левом кармане гимнастерки, почти вынул серебряный, с отцовской монограммой портсигар, но вспомнил, что папиросы кончились, уронил портсигар в карман и застегнул клапан.

— Все! — еще раз, уже для себя сказал он, собираясь с мыслями. Старобельский и Надя как-то сбили его, выбили из колеи, одним своим видом напомнив ненужное; не общая — защитно-зеленая для всех одежда, а кто что хочет, руки без оружия — усталые руки стариков, нежные руки девушек, беспомощные детские руки, книги, музыка, тепло близкой тебе, родной, совсем родной, совсем, совсем, совсем твоей — до последней клеточки ее тела — женщины, гул школьной перемены, реки, в которых можно купаться и

которые не нужно форсировать или защищать, небо с птицами, а не с самолетами, земля, на которой можно просто лежать или сидеть и в которую совсем не к чему зарываться. Но он знал, чтобы это все было, сейчас нужно было от всего этого отказаться из-за проклятых гитлеровцев. Между той, прошлой человеческой жизнью, и той, которой он жил сейчас, стояли они, гитлеровцы, в человеческую жизнь можно было вернуться только через их смерти.

Но Старобельского он спросил мягко:

— Так как же, Глеб Васильевич?.. Так чем могу быть полезным?

Заботы давили Ардатова — он чувствовал их плечами, спиной, сердцем, но эта милая, живописная троица так напряженно-ожидающе смотрела на него, как будто он мог дать им что-то большое, что-то великое, что-нибудь вроде пропуска в вечный мир красоты и тишины.

До возможного боя, то есть до времени, когда немцы отзавтракают, получают приказ, в котором есть, как во всех военных приказах, «задача дня», изготовятся к движению, начнут движение, то есть до того времени, когда их остановившаяся на ночь машина наступления заработает, осталось мало времени. Это время Ардатову надо было употребить с максимальным толком — сделать хоть примитивную рекогносцировку — осмотреться, прикинуть, чем они располагают, и получше использовать все. Ему следовало попытаться хоть чем-то накормить людей, поесть самому, прикинуть, где и как лучше встретить немцев, попробовать разгадать, где у них боевое охранение, с тем, чтобы и попытаться угадать, как они пойдут, потолковать с людьми, подбодрить их — да мало ли еще что надо было сделать, и Ардатов должен был как-то закончить разговор с этими милейшими, но сейчас совершенно ненужными ему людьми, ставшими для него обузой.

— Примите к сведению, Сталинград и прилегающий к нему участок Волги — прифронтовой район. Вы были под бомбежкой? — сказал он.

— Сто раз! — запальчиво от обиды заявила Надя, не дав ответить деду. — Сто раз! Дедушка может подтвердить, хотя вы ничему и не верите. Даже Кубик, даже Кубик теперь знает, что под бомбежкой надо лежать, а не бегать, потому что в лежащего человека — и в собаку тоже — осколки не попадают.

— Ну не сто, а раз восемь были, — уточнил Старобельский. — Но дело не в этом. Странно то, что... Простите, как ваше имя-отчество?

Ардатов назвал, и Старобельский продолжал:

— Странно то, Константин Константинович, странно, что вы отказываетесь от наших услуг. Вот что я никак не приму в ум. Мы готовы воевать, мы это решили твердо, говорим вам об этом, а вы, с позволения сказать... Потрудитесь объяснить, Константин Константинович. Осветите, так сказать, ситуацию...

— Минутку! — Ардатов посмотрел, что приволокли на плащ-палатке разведчики — десятка два противотанковых гранат, чуть поменьше противопехотных, штук триста патронов в обоймах и россыпью к винтовкам, но автоматных патронов было мало, магазина на два.

— В ходе сообщения, метров сто отсюда, два ящика с КС³, — доложил Белоконь. — И штук сорок противотанковых мин.

[³ — КС — самовоспламеняющаяся жидкость]

— КС? — обрадовался Ардатов. — Мины? Очень хорошо! КС не раздавать. Только тем, кто был в боях. Только тем! Чтoб ни одна бутылка мимо! Ясно, Белоконь? Обойдите всех и расспросите. Три бутылки мне. Три — старшему лейтенанту Щеголеву. Тырнову... Нет, Тырнову не надо. Передайте Тырнову — пусть обойдет всех, узнает, у кого нет продуктов. Вообще нет. Если есть хоть что-то, хоть на раз поесть, не считать. Пусть узнает, нет ли саперов. А взрыватели есть? Отлично! Если саперов нет, мины и взрыватели сюда. И чтобы все твои люди с тобой. Выполний! Бегом!

— Так вот... — Ардатов посмотрел на Старобельского.

Старобельский, Надя и Кубик, прижавшись к стенке траншеи, теснясь так, чтобы занимать как можно меньше места и не мешать красноармейцам, молча и скромно следили, как все торопятся, подхлестнутые жестким голосом Ардатова.

— Так вот, я объясняю, что вы хотели...

Ардатов поднял бинокль, взглянув в сторону немцев, полагая, что ему удастся хоть разбросать эти мины перед траншеей. Он знал, что не может быть и речи о том, чтобы их зарыть — невозможно было работать на виду у немцев, но даже растащить их метров на сорок — пятьдесят от траншеи, спрятав в полын, хоть чуть-чуть замаскировав, и то было великим делом. Из двигающегося танка четко различить

через смотровую щель серый деревянный ящик под полыню практически невозможно, и эти сорок мин, не то оставленных, потому что их нельзя было увезти, не то забытых теми, кто вчера занимал здесь оборону, эти сорок мин, установленных «в наброс», хоть как-то, хоть жиденько, могли прикрыть их позицию. Вообще-то он хотел сам побежать с Белоконом к минам, но надо было ответить этому деду.

— До вечера я разрешаю вам — всем вам — пробить здесь. Но как только стемнеет, прошу, приказываю, — поправился Ардатов, — приказываю отходить в тыл. — Кубик зарычал на него, но он не обратил на это внимания. — Не могу, не считаю ни нужным, ни возможным зачислить вас в свою группу. Ясно, Глеб Васильевич? Найдите лопату, заройтесь поглубже и — до вечера...

«Постарайтесь дожить — все вы трое — вы, Надя, Кубик, постарайтесь дожить до вечера. Это не шуточка, разведбат и батальон танков! Не игрушки!» — подумал он, но не сказал.

По мере того, как он говорил, подбородок Нади поднимался все выше и выше, пока она, стоя спиной к деду, не коснулась его груди. Старобельский же, положив руку на плечо Нади — сохранял невозмутимое достоинство.

Свободной рукой Старобельский провел по пуговицам косоворотки, как бы проверяя — все ли они на месте, все ли застегнуты, и лишь чуть-чуть озабоченней сказал:

— Позвольте спросить вас, Константин Константинович, почему вы не находите ни возможным, ни нужным принять нас в свои ряды? Я утруждаю вас, но...

— Потому что не вы и не Надя должны воевать! — вырвалось у Ардатова.

— Совершенно верно, Константин Константинович. Это — занятие армии, так сказать, специалистов, — неожиданно согласился Старобельский. — Мы же...

— В чем же дело? — Ардатов собрался пойти к минам, ему казалось, что Белоконов медлит. — Все ведь ясно, а коль ясно, то...

— Да, ясно. Но ясно и то, что армия, к превеликому нашему сожалению, не может пока остановить нашествия немцев, — возразил Старобельский и поднял тонкий, как карандаш, палец. — Смею вас заверить, Константин Константинович, я и в мыслях не имею бросить тень на вас лично или на всех, здесь присутствующих. Глубоко убежден, что каждый из вас, и вы тоже, не щадили себя. Но однако же, как это и ни прискорбно, немцы почти на Волге.

— Восемнадцать человек. Восемнадцать без продуктов, — доложил подошедший Тырнов. — Говорят, последнее съели вчера.

Старобельский вежливо прервался, ожидая продолжения разговора Ардатова и Тырнова, но так как этого продолжения не последовало, закончил:

— И постольку, поскольку армия не выполнила этой своей святой обязанности, во всяком случае — по сей день — не сумела уберечь ни землю, ни народ от тевтонского нашествия, объявлена война всенародная. Я и Надя — мы тоже народ. Потрудитесь, Константин Константинович, принять это во внимание...

— Как, как вы сказали? — возмутился Тырнов. — Как? Не сумела, не выполнила своей задачи? Вы, отец, говорить говорите, но не заговаривайтесь!

— Мы вам поверили, а вы... А вы... А... — вмешался было из-за спины Ардатова Чесноков, но Надя перебила его:

— Вот вам и «а». Вот вам и «а»! И будет еще б, в, г, д, е, и, ж, з!... — и Ардатов даже подумал, что она сейчас покажет Чеснокову язык.

— Надежда! — Старобельский укоризненно остановил Надю. — Неприлично! Изволь, пожалуйста...

— Хорошо! — быстро согласилась Надя. — Но зачем они нас пугают? Угрожают зачем?..

— И, к, л, м, н, о, п, ре... — подхватил за Надей, не обидевшись, Чесноков, но Ардатов повел в его сторону головой, и он умолк, как выключился.

Ардатов хмурился и молчал. Что ж, по-своему Старобельский был прав. Но ведь прав был и Тырнов — армия делала все, что было в ее силах, чтобы остановить немцев — красноармейцы и командиры своим телом, костями, кровью старались удержать немцев и у границы летом, и зимой в Подмосковье, и этой весной на Дону, и сейчас в сожженных беспощадным солнцем приволжских степях. И если им пока не удавалось остановить немцев, так вина в этом была не их, не Щеголева, не Чеснокова, не его, Ардатова.

«Но деду от этого не легче, — подумал Ардатов. — И что ты ему ответишь, здесь, у Волги?»

— Нас, — Старобельский положил теперь обе руки на плечи Нади, и она, опять вздернув подбородок, прижалась затылком к его груди, — нас, — Старобельский посмотрел сурово всем в глаза, — не устраивает, как все получается. Посему, после того, как немцы взяли Старобельск и... А до этого... А до этого...

Старобельский проглотил комок и начал прокашливаться, и обе руки задрожали на Надиных плечах...

— А до этого...

— А до этого они убили мою маму! И Кирилла! Они убили их бомбой! Прямо в дом! — крикнула Надя и закусила губы, но слезы все равно потекли у нее по щекам. Она еще сильнее прижалась к груди деда. — Мы были на окопах, и если бы мы не были на окопах, то... то... А вы еще не позволяете нам!... Не принимаете к себе! Как будто мы... Как вам не стыдно!...

Она заплакала и спрятала лицо в ладонях.

— Так вот, посему мы решили, как это пишут в газетах, взяться за оружие, — закончил Старобельский. — Примите вы нас или нет, решать, конечно, вам, Константин Константинович, но своего права защищать нашу землю и себя — отнимать у нас никто не волен.

— Хорошо! — согласился Ардатов. — Хорошо! Не плачь, Надя. Не плачь, девочка. Здесь не до слез.

«Разведбат и батальон танков», — еще раз вспомнил он.

Все равно этот день они должны были быть вместе. Все равно, хотел этого или не хотел Ардатов, но бой неизбежно захватил бы их всех, и если Старобельскому и Наде надо было получить еще какое-то устное подтверждение права воевать, было нелепо его отнимать у них.

— Зачисляю вас. Ваше место — слева от меня. Ясно? Все приказы — обязательны. Идите и оборудуйте ячейки. Выполняйте. лейтенант Тырнов — проследить и помочь.

— Так что же вы? — Надя медлила, и Ардатов должен был спросить это. — Вам все ясно? Слева от меня. Повторяю, все приказы выполнять беспрекословно.

Так как Надя была шагах в трех от него, Ардатов слышал все, что она говорила и почти все, что ей отвечал или что ее спрашивал Щеголев. Конечно же, было видно, что оба они с первых же секунд потянулись друг к другу, даже исключительность обстановки оказалась слабее их стремления быть рядом, и Ардатов пожалел, что их встреча произошла в этой проклятой траншее, и понадеялся, что им повезет, что они до ночи останутся живы и целы. Что будет дальше с ними, Ардатов не загадывал, важно было, чтобы и они дотянули до темноты, до этого рубежа.

— Я сама о себе позаботилась. Винтовочка попалась новая, не винтовочка, а мечта! Сейчас мы ее почистим, смажем, попробуем, — говорила Надя. — Главное, чтобы у нее не сбили мушку. — Она с беспокойством осмотрела эту мушку. — Нет, кажется, все на месте — черточки совпадают. Это очень, очень хорошо!

Надя вывинтила шомпол и потребовала:

— Мне надо ветошь, щелочь и масло. И паклю.

Щеголев принес ей двухгорловую масленку и небольшую тряпочку.

— Прошу. К сожалению, пакли нет.

— Эх вы! — сказала обидно Надя. — Эх вы! Даже пакли у них нет!

Загородив собой рюкзак, она стала что-то вынимать из него, какие-то вещи из одежды, потом, затолкав все обратно, с треском порвала что-то белое на тряпки, а кружева спрятала в карман рюкзака.

Она чистила винтовку быстро и умело, что-то мурлыкая себе под нос, и Ардатов подумал, что так вот она чистила винтовку после тренировочных стрельб в техникуме, тоже мурлыкая. Она, наверное, привыкла мурлыкать, когда чистила винтовку, и поэтому мурлыкала и сейчас. Но здесь-то ожидалось не тренировочные стрельбы...

— Готово, — сказала Надя, отставляя винтовку и занимаясь патронами. Она вытерла их и обоймы насухо, а пули покачала. Три пули шатались в гильзах, и эти патроны Надя сначала хотела выбросить, она даже замахнулась, но в последнюю секунду, видимо, передумав, не бросила, а отложила их в сторону, на обрывок тряпочки.

Потом в передней крутости траншеи она вырыла полукруглую нишу со ступенькой для ног. Она становилась на эту ступеньку и примерялась, удобно ли ей будет стрелять.

— Готово, — еще раз сказала она, когда все было сделано. — Очень хорошо!

Она подошла к Щеголеву, как будто так просто, без особой цели.

— Все хорошо, но мне здесь не очень нравится, — заявила она, и Ардатов улыбнулся, чувствуя, что она задирается к Щеголеву, и подумав, как быстро просохли ее глаза.

Хоть и пробыл Ардатов со Щеголевым всего-ничего — считанные часы какие-то, хоть и слышал он от Щеголева считанные слова, но и этого было достаточно, чтобы заметить, что у Щеголева был явно иронический склад ума. Это подтверждалось тем, как Щеголев смотрел ему в глаза — одновременно почтительно к его шпале в петлицах, к орденам и в то же время испытующе, как бы говоря: «Ну, что прикажешь дальше? Это не на развод, не на занятия выводить батальон...»

Что ж, и правда, он, Ардатов, здесь должен был не на развод выводить батальон.

Но ироничность Щеголева, видимо, относилась и ко всему, потому что даже на задиристость Нади он ответил все в том же ироническом тоне.

— Как же это — и хорошо и не нравится?

— Хорошо, потому что просторно. Ну, свободно, — она обвела рукой горизонт. — Все отлично видно, и вообще — как-то свободно. И жаворонки опять будут петь. Они каждый день поют. Вы заметили? Вам нравятся жаворонки? Или вы ничего, кроме «направо, налево!» не знаете и знать не хотите? Вам нравятся жаворонки? — переспросила она серьезней.

— Нравятся, — сознался Щеголев. И тут же добавил: — Под них хорошо засыпать.

— Фи! — возмутилась Надя. — Как вам не стыдно.

— А что — «плохо»? — Щеголеву ни капли не было стыдно. — Что не нравится?

— Почему там, — Надя показала на их открытые фланги и в тыл, — почему там никого нет? Почему вас мало? Это что же за такой полк, в котором так мало людей и вообще ничего нет — ни пушек, ни пулеметов, ни даже пакли? Где пушки, где пулеметы? Где пакля? Где все?

— Кошка съела, — мрачно пошутил Щеголев.

— Военная тайна? — съязвила Надя.

— Да! — еще мрачнее сказал Щеголев. — И всяким штатским ее не положено знать.

— Глупости какие-то! — Слова Щеголева насчет штатских задела ее, и она сделала ладонью перед лицом такой жест, как если бы она отбила от лица что-то летевшее в него — мячик, палочку или майского жука.

Надя, чтобы подчеркнуть пренебрежение к этим глупостям, отвернулась от Щеголева, и Ардатов увидел, что ее глаза горят возмущением, и так как Надя стояла отвернувшись, некоторое время и не знала, что он смотрит на нее, он разглядел, какие у нее прекрасные глаза — громадные, чуть удлиненные к вискам, темно-серые, потемневшие сейчас от гнева еще больше, отчего ослепительно белые белки казались еще белее. А может, они были такие ослепительные, потому что промылись слезами.

Он сумасшедше — совсем не к месту, не ко времени, подумал, как им — ей и Щеголеву, было бы, наверное, великолепно, если бы не было войны, если бы они встретились в каком-то городе, если бы они гуляли вечерами на набережной или катались на лодке, или загорали на пляже, или ходили бы в кино, или бы делали еще что-то, что в их возрасте делают юноши и девушки, когда жизнь у них идет по-человечески.

Он подумал, что они, конечно бы, друг друга бы и обижали, ссорились бы, потому что оба были ершистыми, потому что оба не желали, чтобы ими кто-то командовал, даже тот, кого любишь, но потом бы, конечно, они бы все больше тосковали друг по другу, все больше каждый из них уступал бы, и им бы было очень хорошо и вдвоем и среди людей.

Ардатов даже увидел на секунду, как они едут в переполненном трамвае — рослый, ладный Щеголев, держась за верхний поручень, отгораживает Надю от толчков, а она, принимая это как бы между прочим, счастлива, что он делает это для нее, и незаметно поглядывает, видят ли все это девушки в трамвае. Девушки, конечно, видят, и от этого Надя чувствует себя еще счастливей.

Надя резко обернулась к Щеголеву.

— А вот и не штатские!

Щеголев ответил мягче, уже улыбаясь:

— А вот и штатские!

— А вот и нет! — сердито возразила Надя. — Мы зачислены. Мы — как все здесь!

— А вот и нет, — улыбнулся Щеголев.

— А вот и да!

— А вот и нет...

— Хотя у нас и нет пакли, но... — Какой вы гадкий! — заявила Надя, едва переводя дыхание. — А... а еще... а еще командир!

Она отвернулась от Щеголева, снова вскинула винтовку на бруствер и примериваясь, как она будет стрелять, стала водить стволом в стороны, перезаряжать, клацая затвором, но вдруг отложила винтовку и побежала к Ардатову.

— Товарищ капитан! Константин Константинович! Это, это... — она показала на что-то на ничьей земле. — Это вам... нам не понадобится? Но как достать?

Ардатов, наведя бинокль туда, куда показывала Надя, обомлел: в сотне метров от траншеи, чуть наискось от того места, где все они были, тускло поблескивал вороненый ствол противотанкового ружья.

Ошибиться было невозможно — ружье прикладом упало в окоп, задрал под углом к небу квадратный дульный тормоз.

«Надо быстрее! Надо быстрее, пока еще не очень видно, пока их слепит солнце, через минуту будет поздно! — быстро сказал он себе. — Разведбат и батальон танков! Черт! Но хоть одно!»

Он сунул Тырнову бинокль, сдернув его с шеи, бросил Наде: «Спасибо, — и Щеголеву, — останешься за меня! Всем замереть, не привлекать внимания немцев!» — и побежал по траншее с тем, чтобы вылезти как раз напротив ружья, на ходу застегивая ремень потуже, сдвигая кобуру на спину и глубже натягивая пилотку.

Ползти в полыни было неловко — ничего не просматривалось в двух шагах, и сухие листья, веточки, пыльца набивались Ардатову в рукава и за шиворот, но зато немцы пока его не видели. Он полз некоторое время, не поднимая головы, прикидывая, сколько же осталось метров за ним, и выполз почти точно к первому брошенному окопчику, который он наметил себе, как ориентир. Не спускаясь в него, а только заглянув и ничего не увидев, Ардатов чуть передохнул.

Здесь, рядом с брошенным окопом, всего в каких-то сорока метрах от своих, он вдруг почувствовал, как он страшно незащищен. А что он один и вправду мог сделать, когда полз на брюхе, спиной кверху, полуслепой оттого, что в глаза ему уже насыпалось всякой пыли и он должен был их держать почти все время закрытыми?

Подождав, пока сердце перестанет колотиться, Ардатов вынул пистолет и поставил его на боевой взвод.

— Не могу же я вернуться! — сказал он себе и всем божьим коровкам, которые ползали у него под самым носом, занятые своими делами, и которым, конечно, было наплевать на него самого, на ПТР и на немцев, на эту проклятую войну и вообще на все на белом свете, кроме того, что было рядом с ними. На секунду Ардатов позавидовал этим козявкам, но он сразу же себе повторил:

— Нет, нет, нет! Только вперед! Разведбат и батальон танков!...

Он сказал так, потому что представил, как он возвращается с пустыми руками и как на него смотрят Тырнов, Щеголев и все остальные, в том числе эта девочка Надя, которая, видите ли, пришла, первое: защищать себя и, второе: помочь армии защищать Родину!

Когда немцы его заметили, до ружья оставалось ползти всего ничего. Немцы стреляли опять лениво и недружно, наверное, он для них был слишком ничтожной целью, наверное, они стреляли, переговариваясь друг с другом и смеясь, что не попадают, но из пулеметов они по нему не стреляли — не хотели раскрывать пулеметные точки.

Пули посвистывали — фить-фить-фить! — над ним и рядом с ним, а те, которые врезались в землю, злоеще чпокали — чпок-чпок-чпок! — но он полз и полз, быстро дыша и уже не приподнимая головы. Но вдруг за его спиной часто-часто, как бы торопясь, захлопали винтовочные выстрелы.

«С чего бы? — подумал он. — Прикрывают меня? Ах, дьявол, снайпер! — вспомнил он и похолодел весь. — Ну брат, влип ты...»

В окопе, где было ружье, куда он, задыхаясь, свалился, сидел убитый. Ардатову даже показалось, что он и не убитый вовсе, а просто затаился, так спокойно на корточках сидел этот убитый, да еще под рукой у него, как у хозяйственного живого человека, в маленькой нише все было приготовлено — две гранаты и патроны в обоймах. Этот солдат, когда был живой, положил их на тряпочку, чтобы не испачкать; тут же лежал и кисет, и свернутая в доли на закрутки газета, и коробок спичек. Лицо у убитого было чистым, без крови на нем. Пуля попала этому солдату в грудь, а так как он в это время лежал за ружьем, она вышла не через спину, а у поясицы, и солдат умер, наверное, быстро, еще до того, как его

товарищ, наводчик, стащил его в окоп и усадил около стены, чтобы помочь перевязать. Но помочь этому солдату уже ничто не могло.

Все, что ему теперь надо было от живых, это — знал Ардатов — только чтобы его похоронили. Положили, пусть не обмывая ни крови с него, ни многодневного пота, смешанного со степной пылью, положили бы осторожно с такими же, как он, кому на войне, в один с ним день, на этом же участке, тоже горько не повезло. Положили бы осторожно в могилу да прикрыли бы плащ-палаткой лицо от земли, да засыпали покрепче, чтобы не добрались лисицы, — вот и все, что теперь нужно было ему лично.

Что же касается других людей, оставшихся жить, так он, конечно же, хотел, чтобы побыстрее кончилась для них война, и, конечно же, чтобы она кончилась победой.

Еще — чтобы ему после победы поставили здесь, на могиле, памятник. Пусть простой, но чтобы на нем хорошо читалось и звание «гвардии рядовой», и имя, и отчество, и фамилия, и день, месяц, и год. Чтоб все было чин по чину, чтоб все было, как у хороших людей.

И, наверное, он, конечно же, хотел бы, чтобы за его жизнь платили, пусть небольшую, но все же пенсию. Платили бы жене, или матери, или детям, или еще каким-то родичам, чтобы каждый месяц кто-то, получая эти горькие деньги, вздохнул.

«Может быть, — мелькнула у Ардатова фантастическая мысль, — может быть, после войны надо было бы установить за убитых пенсию так, чтобы она была вечной — шла в роду от ребенка к ребенку, а не обрывалась бы со смертью матери или совершеннолетием детей. Нет, пусть бы она шла вечно — до отмены денег. Чтоб вечно кто-то помнил не вообще о всех убитых, а помня о ком-то одном особо, помнил бы о всех них. А если бы почему-то чей то род оборвался, то пусть бы эта пенсия шла сиротам — на счет какого-нибудь детдома, пусть со временем сократилась бы до рублей, но никогда бы не умирала. Пусть эти кровавые деньги жили бы вечно, пусть заставляли бы кого-то задуматься, кого-то вздохнуть и через сто лет!»

— Товарищ, — сказал убитому Ардатов, усаживаясь рядом на корточках. — Ладно, браток.

Перед Ардатовым была нижняя половина ружья, и так как он от усталости не мог еще погладить ее ладонями, он погладил глазами, одновременно ощупывая ими прицел и затворную коробку — «Все ли с ружьем в порядке?» — и в мгновение опять похолодел, как если бы его бросили в прорубь! Ему показалось даже, что его мокрые под пилоткой волосы зашевелились и седеют, начиная от корней, от кожи, седеют, как будто сгорают и превращаются в серый пепел: в затворной коробке не было затвора!

— Ах, дьявол! — вскрикнул Ардатов. — Ах, дьявол! Ведь разведбат же! Ведь батальон танков!...

Он схватил ружье, ощущал его, как если бы не поверил глазам, его пальцы судорожно залезли в открытый патронник, и он ощутил ими нагар в нем, он еще секунду судорожно стискивал ружье, а потом оттолкнул от себя, оттолкнул со злом и отчаянием и, сказав убитому — «Извини!» — быстро обшарил его карманы, и гимнастерку над ремнем, и голенища сапог и, отодвинув, подхватив его под мышки, обшарил землю под ним.

— Лихо! Лихо получилось, — в отчаянии бормотал Ардатов. — Ах, дьявол!

Вертясь в окопе, Ардатов начал драть пальцами стенки, ища в них, потому что у него в голове мелькнуло: «А может, он спрятал его где-то?» Потом, не найдя ничего в стенках, набив под ногти плотной глины, так что казалось, ногти отломятся, не обращая на это внимания, он начал рыть дно окопа, и перерыл все его на глубину ладони, все так же вертясь в окопе, чтобы рыть под ногами и оттаскивая убитого из угла в угол.

— Ах, дьявол! — повторял он сухим ртом, в котором язык был шершавым, как наждачная бумага. — Неужели? Да, его унес второй из расчета.

Он высунулся над краем окопа и завертел головой, напряженно вглядываясь в землю вокруг окопа, хотя увидеть он мог мало, так как полынь и ковыль скрывали ее.

Сзади его, в траншее, уже не стреляли — стрельба оборвалась так же внезапно, как и началась, но он не придал этому никакого значения, все повторяя: «Ах, дьявол! Ах, дьявол!»

«Раз пэтэровец выдернул затвор, значит, он был хороший солдат, а раз он бросил ружье, значит, он ранен! — соображал он лихорадочно. — Но раз он хороший пэтэровец, хороший солдат, но ружье бросил, значит, он ранен тяжело, иначе бы он хоть сколько-то, но провололок его! Но он не провололок, он мог унести только затвор! Только затвор и патроны! И винтовку своего товарища!»

Ардатов быстро посмотрел на задний край окопа, на этом краю чуть ниже его, там, где пэтэровец вылезал, на белой сухой глине было темное пятно. Он наклонился и пригляделся.

— Кровь. Конечно! И полосы от сапог. Он, наверное, и вылезти сразу не смог! Надо искать!

«Искать!» — крикнул он мысленно и перекинул себя через край на бруствер.

«Если я даже найду затвор, но не будет патронов! — подумал он и опять похолодел внутри: — Ведь батальон же танков!»

С затвором, но без патронов, ружье тоже становилось бессмысленной тяжелой железкой, ради этой железки не стоило ползти сюда и подставлять себя, как бесчувственную мишень, под пули.

Он хорошо помнил, что патронов для ПТР там, дома (а траншея с его людьми сейчас из этого окопчика, где ты один на весь свет! — траншея отсюда ему казалась домом), он хорошо помнил, что патронов для ПТР дома нет и тоже хорошо понимал, что их найти, просто найти где-нибудь без ружья невозможно, потому что самих ружей в армии было мало, а раз их было мало, значит, и патроны к ним были редкостью.

Он знал, что на любой брошенной позиции, как хотя бы в траншее, которую они сейчас занимали, можно найти винтовочные патроны, патроны к пистолетам и автоматам, гранаты, каски, телефоны, лопатки, противогазы, шинель, ремень, плащ-палатку, можно найти даже винтовку, даже ручной пулемет, черт знает что можно найти, что было впопыхах или в темноте брошено, потому что хозяева их или не успели взять или не могли, так как были убиты, или очень тяжело ранены, но найти патроны к ПТР без ружья было просто невыносимо!

«Искать! — крикнул опять он себе! — Хоть по запаху, как собака (как Кубик!), искать!»

Ему пока ничего не угрожало: в стороне немцев, глухо ухая и глухо тумкая — тум-тум-тум! — били пушки и тяжелые минометы, но они стреляли далеко, наверное, за Малую Россоску; Ардатов даже не слышал, как летят над ним снаряды и мины — они летели очень высоко, а из винтовок немцы стрелять по нему перестали, как только он свалился в окоп и они потеряли его из виду.

— Осмотреть все! До травинки! — бормотал он себе, ползая по расширяющейся спирали, в начале которой было ружье. «Ты правильно сделал, наводчик! — крикнул он про себя наводчику, который унес затвор. — Но как ты нас подводишь!»

Ардатов все ползал и ползал, забыв про немцев, про всякую опасность, вообще забыв обо всем на свете, кроме затвора и патронов к ПТР, как будто каждый из них содержал не порох внутри, а живую воду и как будто затвор был пропуском в страну бессмертия.

Ему попался противогаз, он, стиснув его, тотчас же оттолкнул этот груз пехотинца и, все расширяя спираль, пополз к другому окопчику, но там тоже ничего не было, кроме стреляных гильз.

Он отметил про себя, что тут человек остался живой — много стреляных гильз и только, ничего другого не брошено, значит, с этим солдатом было все в порядке.

«В этот день! — уточнил он себе. — В этот день все в порядке было с этим солдатом!»

Он пополз дальше, но так как у него ломило от ползанья руки и саднило исцарапанное полыньей лицо, он подвал уже не по-пластунски, а на полчетвереньках.

— Собаки! Сволочи! Бандиты! — ругался Ардатов, представив себе, как он мерзко выглядит со стороны — как весь грязный, с прилипшими ко лбу волосами, с выпученными слезящимися от набившегося в них сора глазами, с пересохшим и перекошенным от злости ртом, он ползет на брюхе, на локтях, на коленках, получеловек, полу какое-то животное, и он был мерзок сам себе. Но и вся война с бесконечными убийствами, бомбежками, пожарами была мерзостью, а так как он знал, что начали ее эти фрицы, то самой большой, изначальной мерзостью, от которой пошла вся мерзость другая, были сейчас фрицы, и он ненавидел их последней клеточкой своего тела.

Ему попала окровавленная шинель. Он лихорадочно ощупал ее карманы, в них ничего не было, и он было пополз прямо через нее, но вдруг его колено наступило на что-то жесткое, кругленькое и длинное. Колено заломило так, что он застонал, но он все-таки почувствовал, что этих жестких, кругленьких длинных было много и, забыв боль, откинул полу шинели.

Под ней, вдавленные слегка в землю, блестели патроны к ПТР. Они были точно такие, какими он и представлял их — по форме винтовочные, только громадные, с толстенными тяжелыми пулями, похожими на снарядики.

Ардатов судорожно, будто патроны могли, как ящерицы, разбежаться, накрыл их снова полкой, и прижал левой рукой и осмотрелся, держа в правой наготове пистолет.

— Ах, молодец! Ах, умница! Да золотой ты мой! — сказал он мысленно наводчику, оставившему свою окровавленную шинель и патроны под ней. Он сейчас безумно любил этого солдата, как никогда

никого и ничто не любил на свете. Он бы сейчас обнял его и расцеловал и готов был спрятать этого солдата в самом заветном, в самом теплом уголке своей души.

— Три, пять, семь, десять, двенадцать! — радостно считал он, вновь откинув шинельную полу. — Шестнадцать! Восемнадцать! — судорожно перекидывая шинель, он поискал еще под ней и рядом, но патронов больше не было.

— Но где затвор?

Он знал, какая трагедия, маленькая трагедия, если сравнить ее вообще с войной, разыгралась тут, на том клочке его земли, и участниками которой стали первый и второй номер противотанкового ружья. Такие вот трагедии разыгрывались на его земле уже второй год ежедневно, ежечасно, ежесекундно, и развязкой в них была кровь или смерть его товарищей по оружию, его товарищей по жизни, которую вместе с ними он и строил и которой он тоже вместе с ними и жил. Фронт громадной и страшной лентой в сотни, сотни, сотни, сотни километров рассекал его страну с севера на юг, и там, на этой ленте, и там, куда за нее доставали немцы, они ежесекундно убивали его товарищей по жизни.

Что произошло здесь, Ардатов ясно представлял: второй номер был убит, а наводчик, а раненый наводчик, не в силах унести ружье, уполз от него с затвором и патронами, но так как он был ранен тяжело, он очень скоро должен был бросить и тяжелые патроны и шинель. Или нет, не так, или наводчик давно уже был один, и один отбивался из ПТР, а когда и его ранило, он унес от ружья последние патроны и затвор, потому что некому было стрелять, и он не хотел, чтобы немцам досталось ружье в боевой готовности, не хотел, чтобы они могли использовать его против наших.

Пули снова свистели над Ардатовым и рядом с ним, чпокались в землю, стряхивая с полыни серую пыльцу, одна из них ударила ему под носок ноги, но он, стиснув зубы, пополз от шинели по следу ее хозяина, от шинели на восток. Полынь — полоска шириной в плечи человека — была смята, не все стволики полыни успели разогнуться, а некоторые были просто сломаны, и след был виден.

— Ну, вот, — сказал пэтэровцу Ардатов, обползая его ноги, обутые в хорошие ботинки и обвернутые еще не выцветшими обмотками. — Где затвор? Ведь разведбат же! Где затвор?! И батальон танков!

Ни в карманах, ни под наводчиком затвора не было, в карманах были комсомольский билет, солдатская книжка, письма и несколько рублей. Этот паренек даже не курил, у него не было ни табака, ни железки с камушком и трупом.

Когда Ардатов его поворачивал, чтобы заглянуть под грудь, он посмотрел ему в лицо — лицо было чистым, без морщинки, с длинными светлыми ресницами, со сведенными к переносице бровями.

— Ах, мальчишечка, мальчишечка. Где же ты дел затвор? — сказал ему мысленно Ардатов. — Где? — пробормотал он, жадно и быстро обшаривая землю вокруг наводчика. — Я знаю твою судьбу — доброволец, ушел до срока, три месяца подготовки, погрузка в эшелон, песни, бомбежки, ночь, выгрузка, марш, часть занимает рубеж обороны, первый бой, потом второй, десятый, и ты все время теряешь своих товарищей по роте, одних хоронишь, других увозят в бинтах, и ты помнишь, все время помнишь, кого похоронил и кого увезли в бинтах, и на душе у тебя нехорошо, и ты за день взрослеешь на год и ждешь, что будет с тобой...

— Но ты хорошо держался! Ты и отполз-то от своей ОП⁴ на какие-то метры. Отполз тогда, когда уже не было мочи!... — похвалил пэтэровца Ардатов. — И ты забрал патроны — все до одного, и затвор. Но где затвор?

[⁴ — ОП — огневая позиция]

Ардатов вспомнил, как лежал этот мальчишечка — левая рука у него была рядом с грудью, а правая откинута в сторону.

— Ты швырнул его от себя, ты швырнул, как можно дальше! — догадался Ардатов. — Чтобы они не нашли. Ты приподнялся на левой, а правой швырнул его, — повторил он. — Но я найду.

И он нашел его, этот затвор, и спрятал за пазуху, и, проползая мимо мальчишечки, сказал мысленно ему:

— Спасибо тебе. И прости, что так все получилось, но ты же видишь, что я тоже в этом не виноват — не виноват, что мы их не могли удержать у границы...

Ссыпав все патроны в пилотку, Ардатов в один, как ему показалось, затыжной бросок перебежал к ружью и вновь свалился рядом со вторым номером. Он хотел, отдышавшись всего полминуты, вытолкнуть ружье из окопа и — марш! марш! марш! — ползком с ним и патронами к траншее, к дому,

когда услышал, как кто-то его зовет: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» — и через секунды к нему, ушибив его автоматным прикладом по бедру, свалился Чесноков.

— Старший лейтенант Щеголев... старший лейтенант беспокоится. Где вы пропали, говорит? — выдыхая усталость, объяснил Чесноков, и в глазах у него были еще и страх, потому что он полз под пулями, и шальной восторг оттого, что он под ними прополз. — Белоконь нашел раненых. А патронов сколько!

Чесноков потерял пилотку.

— Удача, правда, товарищ капитан? Сейчас мы его уволоклем и... А снайпера они сняли — эта деваха и старший лейтенант. Враз сняли — увидели, как блеснуло стеклышко на прицеле — старший лейтенант в бинокль увидел, солнце-то прямо в немца, — увидели и враз сняли!

— Он тебя послал? Щеголев? — спросил Ардатов.

— Я сам, а в общем, да... Помочь бы капитану надо, говорит, — неопределенно ответил Чесноков. — Давайте так — вы спереди, за дуло, а я сзади толкать буду. И гранаты заберем! И табак, и бумагу!

— Живо! — скомандовал Ардатов. — Оружие за спину! Патроны, гранаты — все в его вещмешок!

Но было уже поздно. Когда они вылезли из окопа, когда они проволокли ружье несколько метров, немцы ударили по траншее из минометов и пушек и, прикрываясь этим артналетом, вытолкнули из-за высоток, за которыми они ночевали, пехоту и танки, давая пехоте подтянуться для атаки.

Мины и снаряды долго и густо ложились по обе стороны траншеи, накрывая полосу шириной метров в триста, ползти сейчас к траншее не было никаких шансов: шваркни мина рядом, она бы их поубивала и исковеркала бы ружье. Спасение было в одном — упасть в любой окопчик на дно и ждать там, пока немцы перенесут огонь в глубину, молясь, что по тебе не придется прямое попадание, а когда разрывы уйдут за спину, изготавиться и встретить танки и пехоту.

— Назад! — скомандовал Ардатов. — Назад, Чесноков! Быстро!

— Вот тебе и удача! — возмутился Чесноков, когда они устроились возле убитого второго номера. — Удача называется!

Чесноков то и дело выглядывал и докладывал ему:

— Танков четыре, пять, девять. Вроде больше и не будет. Фрицы жмутся к ним, с роту их, фрицев-то, может, чуть больше. Дистанция метров девятьсот — километр.

Ардатов, перетирая испачканные землей патроны к ПТР, выкладывал их на площадочку перед окопом. Несколько мин пришлось рядом, их осколки, попадая в ствол, шевелили ружье, и Ардатов следил с тревогой, как оно, словно живое, дергается, но спрятать его было некуда — в окоп все оно не вмещалось и поэтому приходилось надеяться, что в мушку они не попадут, толстому стволу от осколков ничего не сделается, а затворная коробка, спусковой механизм и прицел были в безопасности.

— У вас попить нет? — спросил Чесноков, нырнув головой ниже края окопа, когда новая серия мин рванула все вокруг, сыпля на них землю и ветки полыни. — Во рту пересохло.

— Нет. — У Ардатова тоже пересохло так, что язык, как напильник, задевал за небо и за щеки. — Посмотри у него.

— Есть! — обрадовался Чесноков, отцепляя флягу у убитого. — На доньшке. — Он хорошенько поболтал флягу. — По глотку.

Когда разрывы ушли за спину, Ардатов, поставив ружье на сошки, разложил в ряд патроны и примерился к ружью. Через прицел все казалось четче и резче — маневрирующие, выстраивающиеся к атаке танки, степь перед ними и немцы за ними.

До танков было метров шестьсот, и он мог уже бить из ружья, но, замирая внутри и как-то успокоившись от этого, он медлил, поставив прицел «500».

«Куда дошли! Куда дошли! — с тоской и злостью подумал он, глядя в немцев, — Ого надо же!... Надо же, а?..»

Однажды, когда Ардатов скитался, петляя по лесам возле Вязьмы, уходя от большаков, возвращаясь, если дальше вперед идти было нельзя, — однажды рассвет застал его и его товарищей на окраине большого села, на кладбище, под развесистыми дубами. Никаких других деревьев здесь не росло — и село, и кладбище были древними, под холмиками замшелых могилочек лежало не одно поколение сельчан, и дубы, видимо, затеняли все другие деревья, даже если их и сажали, не давали им расти. Поднявшись высоко к небу, дубы сомкнулись в нем кронами, отчего под ними всегда были вечный сумрак, сырость и тишина.

Вот на этом-то кладбище, чуть в стороне от сельских могил, в стороне и от церковки, на фоне серых, серых до синего оттенка, который бывает у старого серебра, на фоне старых шестиконечных крестов, четко, ранжирно, как в строю на плацу при проверке начальством, стояли с полста белых, из свежей березы крестов о четырех концах; с табличками званий, имен и фамилий покойников-немцев. Их, наверное, свезли к этой деревне и построили в последний раз, чтобы и после смерти каждый немец не остался сам с собой, а занял отведенное ему по боевому расчету место: «В затылок равняйся! Смирно!». И они равнялись, держа интервал и дистанцию, Ардатову даже показалось, что в этот ранний час, под мелким дождем, кресты идут, что их ведет тот большой, тоже березовый, но двойных размеров по сравнению с остальными, общий крест, на котором крупно же, чем-то черным на белом железном прямоугольнике, было написано: «Kameraden! Unser letzter Aufruf "Nur voran!"»⁵

[⁵ — Товарищи! Наш последний призыв — Только вперед!]

«Так вот куда вы дошли! Так вот куда вы дошли! — подумал Ардатов, вновь пристально глядя на выстраивающиеся коробочки танков, на пехоту, как будто ему надо было запомнить их. — Так вот вы куда уже дошли, сволочи!...»

— Ты стрелял из него? — спросил он, не отрываясь от прицела, Чеснокова.

— Нет, товарищ капитан. Только видел, как пэтэеровцы тренировались. — Чесноков стал так, что мог заряжать.

— Жаль. Но ладно, — пробормотал Ардатов. — Ладно. Запомни — ПТР сделано по принципу винтовки. И бить из него надо, как из нее. Все так же! Это очень точное оружие — если хорошо прицелиться, не промажешь...

— Но они, товарищ капитан, они пройдут мимо! — вдруг жарко, быстро и сбивчиво, и одновременно робко, тихо и неуверенно, заговорил Чесноков. — Глядите, они разворачивают левее. Они левее пойдут, левее! Честное слово, левее! А, товарищ капитан? А? Ведь левее же пойдут! А?..

— Ну и что? — оборвал его Ардатов. — Если... если останешься один — бей как из винтовки. Понял? Как из винтовки! Понял? Понял, Чесноков? Понял, Чесноков? В заднюю часть — под верхнюю гусеницу. По мотору, по бакам с горючим! Если в лоб — то гусеницу, иначе не пробьешь. В верхнюю часть гусеницы, по ведущему колесу. Понял? Понял, Чесноков?

— Понял... — выдохнул Чесноков, наверное, замирая от страха. — Понял...

— То-то! — отрезал Ардатов. — Все!

Танки, и верно, построившись углом вперед, все вдруг сделали разворот градусов под тридцать от прямой линии к ним, и курс их проходил метрах в трехстах левее их траншеи.

Припоминая карту, Ардатов мысленно увидел, что танки выйдут именно к той дороге, по которой он вел сюда людей, к тому мостику, где он собрал их, еще дальше по дороге к сгоревшей полуторке, еще дальше, дальше — к сталинградским окраинам, а если, пройдя вглубь через голый стык, повернут на север, то окажутся в тылах того полка, в который он шел и вел свою группу.

«Конечно же, повернут на север! — решил за немцев Ардатов. — Полковые, а может, и дивизионные тылы слишком заманчивая дичь: ворваться туда, втягивая за собой мотопехоту, ворваться и громить штабы, узлы связи, склады, жиденькие резервы — куда как любо! Попробуй удержишься, воюя с перевернутым фронтом! Они должны повернуть, чтобы на их северный фланг мы не бросили все, что сумеем собрать», — решил за немцев Ардатов.

— Они пройдут левее! — опять было зашептал Чесноков. — Они же пройдут. Эх их сколько! Зачем же?.. Они левее пройдут!... Левее, товарищ капитан.

— Цыц! — рявкнул на него Ардатов.

«Мне бы сейчас сюда батарейку семидесятишести, — шально мелькнуло у него в голове. — Толковых наводчиков! Я бы кинжальным поколел эти танки, как орехи! Ведь как идут, как идут, дьяволы! Почти бортами! Бей — не хочу!»

Он ударил не в ближний к нему танк, а в головной — хотя тот и был дальше, но головной вышел бортом почти под прямой угол, и Ардатов, прицелившись в заднюю часть борта, хорошо угодил в мотор, а может, и в бак с горючим, и танк, еще пройдя сколько-то секунд, задымил, задымил, а потом, вспыхнув багровым пламенем, почти весь закрылся черным дымом.

Но Ардатов забылся, Ардатов забыл, что стрелял не из винтовки, а из ПТР, что отдача у ПТР чудовищна, он давно не стрелял из него, не вспомнил, что приклад надо вжать в плечо со всей силой, и

ружьё так ударило его, что он хотя и устоял, но застонал от боли — казалось, железка приклада разбила ему ключицу.

— Есть! Один есть! Горит, сволочь! — приплясывал от восторга Чесноков, забыв все свои страхи. — Вон, вон, вон — вылезают фрицы! Смотри, как пошпарили! Ах, не достать их из пепеша! Я бы!...

— Заряжай! — рывкнул на него Ардатов, прижимаясь ключицей к прикладу и замирая от боли. — Семнадцать, — считал он оставшиеся патроны.

— Мимо! Мимо, товарищ капитан! — ужаснулся Чесноков. — Мимо! Да мимо же! — закричал он в отчаянии, — когда Ардатов и второй пустил в белый свет, как в копеечку.

«Боюсь! Боюсь!» — понял Ардатов.

Он и правда перед самым выстрелом замирал, ожидал, как при отдаче приклад будто ломом ударит ему по ключице, и в последнее мгновение, когда спуск освобождал ударник, закрывал глаза и — мазал!

Он прижался к прикладу, он втиснул его прямо в центр этой боли, лоя танк в прицел и подводя под танк мушку, — и, открыв оба глаза пошире, нажал не дыша, как ныряя с высоты, на спуск, и попал, и этот танк тоже загорелся.

— Заряжай! «Пятнадцать... Еще много...»

— Готово! Молодцы! Вы молодцы, товарищ капитан. Молодцы, очень даже молодцы, товарищ капитан! — жарко шептал Чесноков. — Теперь того, ближнего...

Ардатов с третьего выстрела поджег и ближнего, и ветер вместе с дымом принес запах горячей солянки, краски, накалившегося металла.

«Ага, завоняли! Завоняли, сволочи!» — подумал он, целясь, еще в один танк, но танки вдруг повернули к ним, Ардатов поторопился, выстрелил, чиркнув пулей по борту, но ничего не сделал танку, так как пуля срикошетила, вспыхнув звездочкой возле брони, и Ардатов понял, что теперь для него уже нет шансов зажечь хотя бы еще один танк — они шли лбами к нему, на этих лбах была самая толстая броня, непробиваемая для ПТР.

«По смотровым щелям... По приборам наблюдения... — вспоминал он уязвимые места. — Нет, по гусенице!! Только по ней!»

Он ударил и раз, и два, и три, и четыре, целясь в одну и ту же гусеницу одного и того же танка, различая под конец, как все четче мелькают траки этой гусеницы и хорошо уже видя, как садит по нему из курсового пулемета пулеметчик, и хорошо слыша, как Чесноков, лежа щекой на площадке для ружья, быстро перезаряжая его, бормотал: «Скорей, скорей, скорей, товарищ капитан!» — хорошо слыша, как свистят над ними очереди этого курсового пулемета, хорошо видя все, хорошо слыша все, ожидая, что вот-вот курсовой пулеметчик все-таки изловчится в качающемся танке и поймает их на прицел и всадит в них очередь, и они с Чесноковым умрут тут, за ружьем, так и не расстреляв все патроны.

Но ему повезло — он сбил все-таки гусеницу у этого танка и сразу же крикнул Чеснокову: «Ложись!» — и они с Чесноковым одновременно упали на дно окопа, а через секунду из танка быстро и зло ударила по ним пушка, и первый снаряд из нее сделал перелет, изорвавшись сзади («Рядом с наводчиком ПТР» — подумал Ардатов, ощущая щекой, губами, носом горячую потную спину Чеснокова), второй взорвался рядом с окопом («Под сошками», — подумал Ардатов), швырнув исковерканное ружье через них, третий снова сзади, но ближе, а пулеметчик) все косил и косил по их окопу, и пули с краев сбивали на них глину, и им ничего не оставалось делать, как только лежать, слыша, как грохоча, приближается другой танк.

«Какие там гранаты! — мелькнуло у Ардатова в голове. — Только высунься — и он в упор!»

Он даже представил себе, как зло припал к прицелу курсовой пулеметчик с подшибленного танка, ожидая, высунутся ли они. Курсовой пулеметчик, конечно же, уже наполовину отжал спуск, чтобы в долю секунды дать по ним очередь.

«Только бы не рванули! — подумал Ардатов о гранатах. — Окоп выдержит, только бы не смяло запалы, а то рванут», — снова подумал он о гранатах, слыша, как грохот все ближе, ближе, ближе, чувствуя, как на них пахнуло отработанным теплым горючим, потом в окопе потемнело, танк, клацая всеми своими железками, развернулся на нем, и Ардатова сжало с боков землей, вдавило в Чеснокова, он почувствовал, как хрустнул весь его скелет, как глуше стал скрежет гусениц, как словно внутри его разорвалась граната, раскидывая его на тысячу частей, и как тысячи же искр мелькнули перед его глазами.

Он что есть силы крикнул мысленно «Лена! Женя!» и упал в тьму.

Когда Ардатов очнулся, первое, что он увидел, был глаз Нади. Она стояла над ним, сбоку его, на коленях, отодвинув его ноги к стенке траншеи, чтобы поместиться на узком дне, на котором он сейчас лежал.

Так как Надя наклонилась над ним, прядь волос закрывала часть ее лица, и поэтому на Ардатова смотрел лишь один взволнованный мокрый глаз.

Еще до того, как он ощутил вкус очень холодной и свежей воды, он улыбнулся этому взволнованному глазу, и Надя захлопотала над ним, наклоняясь к самому его лицу.

— Пейте, пейте! Пейте больше, Константин Константинович. Воды у нас много, — говорила она радостно, но все же еще удерживая прыгающие губы.

«Откуда? Такая вода — откуда?» — подумал Ардатов, различая уже всех: Кубика, который старался протиснуться между Надиным бедром и его ногами и наступал лапами Ардатову на сапоги — Ардатов через сапоги чувствовал, как упругие лапы Кубика соскальзывают с голенищ; Щеголева, нависшего над головой Нади — лицо Щеголева было озабоченным и грязным от пороховой копоти, деда Старобельского, возвышающегося над Надей и Щеголевым, Белоконя, который тянулся из-за спины Старобельского, чтобы лучше взглянуть и больше увидеть. А над всем этим была полоса неба, которое со дна траншеи казалось особенно чистым, особенно голубым.

— Да отойди же ты, наконец! — рассерженно приказала Надя Кубику, отталкивая его голову. — Как ты мешаешь!

Кубик и вправду мешал ей мочить из фляги платок и оттирать Ардатову лоб, щеки, подбородок.

— Да уйди же! — очень уже сердито крикнула Надя, и Кубик отступил под ноги Щеголеву и, махая хвостом, постучал им Щеголеву по коленям.

— Я же сказала, что живой! Что очнется! — крикнула Надя за спины тех, кто видел Ардатова, тем, кто не видел его, и Ардатов услышал, как Васильев сыграл на гобое первые такты «Славься! Славься во веки веков!»

Странно, гобой как подтолкнул его, он сел, потом привстал и потом встал. Его тело ломило, и по нему бежали мурашки, как по ноге, если ее отсидеть.

Все посторонился, только Кубик, наоборот, все протискивал к нему свою кудлатую голову.

— Где Чесноков? Как Чесноков? — спросил он, не очень уверенно двигая языком. — Спасибо, Надя. Где Шир... где пленный? Жив?

— Я здесь! Здесь, товарищ капитан, — ответил сам Чесноков, и Ардатов увидел его: бледный Чесноков стоял, положив локти на бруствер, а подбородок на локти, как будто разглядывая сожженные танки и убитых пехотинцев и танкистов.

— Дали мы им прикурить, дали ведь, да? Да, товарищ капитан? А этого, проклятого, — Чесноков обернулся и показал на танк за линией траншеи метрах в двадцати в тылу, — его, проклятого, зажег лейтенант Щеголев.

— Чуть не задавил нас, сволочь. А если бы, а? А, товарищ капитан? Вас не рвет? Меня рвет...

— Если бы да кабы, да во рту росли грибы, — поддразнил Чеснокова Белоконь. — Барышня какая — ее, видите ли, тошнит. Может, ты еще монпасеек захочешь?

— Да иди ты! — обиделся Чесноков. — Тебе бы так!...

— Потери? — спросил Ардатов Щеголева, тоже устраиваясь у бруствера и тоже кладя подбородок на локоть, потому что все вдруг перед ним пошло, поехало, поплыло по кругу — влево, влево, влево: сожженные танки, их, считая с тем, что был за траншеей, оказалось шесть (Ардатов отметил, что, значит, три ушло), серые бугры убитых немцев-пехотинцев и более темные бугры убитых немцев-танкистов, темные ямки воронок от мин и снарядов и вообще вся пепельно-серая, хорошо уже освещенная солнцем степь, с чуть шевелящейся под ветерком полынью, ковылем, последними дымками, отходящими от догорающих танков.

— Шестеро убитых. Восемнадцать раненых. Тяжело — три. Один вот-вот... В полость живота. Зря, капитан, ты... — добавил Щеголев почти без паузы, и Ардатов понял, что это «зря ты», этот упрек для Щеголева сейчас был главными словами, что Щеголев хотел их сказать еще с той минуты, когда Ардатов перелез через бруствер и пополз за ПТР. — Можно было послать кого-то, — закончил Щеголев. — Шир... пленный цел. Как стеклышко!

Конечно, Щеголев был прав — Ардатов мог послать за ружьем, а не лезть за ним. Негоже старшему командиру было делать то, что может сделать любой рядовой, негоже было бросать группу, терять управление ею, рисковать оставить людей без себя — командир должен делать лишь то, что заставляет всех вести бой и вообще действовать наилучшим образом.

— Ладно! Ладно, Щеголев, — отмахнулся он, думая, что и он все-таки тоже прав. Негоже все время лишь командовать, иногда надо показать, что кроме того, что ты комбат, ты еще что-то стоишь. К тому же, он как увидел это ружье, так чуть не помешался от радости и полез за ним так спешно, как если бы промедли он, ружье вдруг могло провалиться под землю, растаять в воздухе или улететь на небо.

— Ладно, — повторит он. — Забудем. Главное — пожгли же? И при минимуме потерь.

— Теперь потерь будет больше, — кивнул, соглашаясь, Щеголев. — Пристрелялись, и эти танки для их авиации ориентиры.

— Костыль был?

— Нет. Вот он, — Щеголев показал на точку в небе, приближающуюся к ним. — Жаль, пугнуть нечем.

— Пусть смотрит! — сказал Ардатов. — Белоконь! — крикнул он. — Белоконь!

— Я! — Белоконь подошел. Автомат висел у него на плече по-охотничьему — стволом вниз, а в руке у Белоконя была противогазная сумка, набитая гранатами.

«Где это он раздобыл столько?» — подумал Ардатов.

— На правый фланг траншея идет далеко? — спросил он. — Метров триста? Да? А дальше? Раненые? Что за раненые? Отставшие раненые? Не успели увезти?.. Триста метров, — прикидывал Ардатов. — Маловато, но ничего, но ничего, но ничего... Оружие, боеприпасы у раненых есть?

— У них «Дегтярев» и три магазина. Я просил — не дают, — объяснил Белоконь. — Я хотел проявить инициативу — только за приклад, а она — эта старшина в юбке, в общем, Саня-с-трубкой — «вальтер» мне в бок и давит на крючок, и вот-вот всадит насквозь и глубже. Глаза — полтинники, побелела, как напудрилась, в общем, не в себе — жди, что хочешь и не хочешь, а майорша поддает: «Я приказываю! Не смей трогать пулемет! В трибунал захотели, сержант?!...» Я им и музыку водил, говорю — вы нам пулеметик, мы вам вальсы по заказу, так сказать, по заявкам радиослушателей...

— Ясно, — остановил его Ардатов. — Пулемет возьмем. Я возьму. Сейчас снять с этого танка и с тех, — он показал на два ближних танка и с фронта, — их пулеметы. Может, им ни черта не сделалось. Посмотри. Возьми своих и кого хочешь. Но — головой ответишь! Чтоб пулеметы были здесь. И все ленты! Снимаются так...

Ардатов вспомнил, где у немецких танков в пулеметном гнезде стопора, как нужно пулеметы расстопорить, и объяснил Белоконю.

— Действуй. Живо!

— Где Тырнов? — спросил он Щеголева. — Цел? Хорошо. Пусть прикажет всем собрать у убитых что можно. Проследи. Тыфу, черт, опять все поплыло! Надя, дай еще водички!

«Костыль», кружась над ними, высматривал, то снижаясь, как бы предлагая пострелять по нему, то поднимаясь снова, то делая совсем маленькие круги, для чего ему приходилось заваливаться на крыло, то, выпрямившись, улетал далеко в тыл и на фланги, высматривая и там, и Ардатов косился на этот «костыль», когда он пролетал над ними.

«Сейчас ротные доложили, что ничего не получилось и сколько они потеряли, — соображал о немцах Ардатов. — Пожалуй, и командир батальона уже доложил — связь у них хорошая. Может, даже и их полковник доложил, да, конечно же, доложил, раз прилетел "костыль", его вызвал командир дивизии. А может, этот "костыль" и от авиации. Сейчас он, сволочь, наверное, передает по радио данные командиру бомбардировщиков, а та сволочь наносит эти данные на карту, и, может, даже командиры их "Юнкерсов" тоже, сволочи, наносят данные на свои карты, и вот-вот они вылетят, а лететь им до нас минуты...»

— Всех ко мне! Всех ко мне! — приказал он.

«Но надо, чтобы "Юнкерсы" поднялись, чтобы, даже если их наземные наблюдатели и засекут нас, чтобы, пока их сведения дойдут до их авиаштаба, самолеты бы уже вышли на цель. Если поторопиться, они в полете получают с земли поправку, и тогда наш маневр ни к чему», — додумывал он, пока все подтягивались к нему по траншее.

— По моему сигналу, по команде — быстро перебежать как можно дальше правее и там рассредоточиться. И там рассредоточиться! — приказал он. — Щеголев! Проследи, чтобы не сбивались в кучу. Если я не успею, командуй. Но маневр начать только тогда, когда точно увидишь, что самолеты летят на нас. Я к раненым. Надо взять пулемет. И пусть там медики чего-нибудь дадут мне...

Почти в самом конце траншей от нее отходил короткий ход сообщения в неширокую и овальную балочку. В балочке густо росла трава и несколько кустиков. Эта свежая трава и кустики говорили, что подпочвенная вода здесь подходила близко к поверхности, так близко, что трава и кустики росли хорошо и, несмотря на жару, на бездожье, выглядели сильными и свежими.

Когда те, кто занимал здесь оборону, наткнулись на эту балочку, похожую на след от чего-то большого, что как будто бы упало с неба и продавило здесь степь, когда те, кто наткнулся на эту балочку, покопали тут, с метровой глубины в ямку стала сочиться вода — не очень много, но постоянно. Возле этого временного колодца саперы подрыли в балочке откос, и в получившейся неглубокой нише-пещерке развернулся ПМП⁶, где сейчас, загорюнившись, ожидали бог весть знает чего и ожидали всего раненые — шесть человек, в той числе и женщина — майор медицинской службы. С ними были медсестра и ездовой, который, как оказалось, ехал ночью за ними да не доехал, потому что лошадь была убита шальной пулеметной очередью. Ездовой добрался сюда пешком и приволок на себе хомут, сбрую и уздечку. Сейчас все это бесполезной грудой лежало в стороне.

[⁶ — ПМП — пункт медицинской помощи.]

На этом ПМП и правда был ручной пулемет «Дегтярева» и три магазина к нему: пулемет стоял на площадке, на краю балки перед окопчиком. В окопчике, углубляя его, возился ездовой.

— Вы нас не бросите, не бросите, капитан? — спросила его майорша, согласившись отдать пулемет почти сразу, после того, как Ардатов ей объяснил, что ездовой или медсестра будут только зря жечь патроны, и что его группа все равно прикрывает и раненых, и в интересах этих же раненых, чтобы группа была боеспособной.

— Ваш сержант вел себя так, словно мы уже покойники. Что за манера — брать силой? — пожаловалась на Белоконя майор. — Ходил тут, забирал гранаты. Потом привел зачем-то музыканта. Играли тут «Утро красит нежным светом...» Что за несерьезность? Говорит, что разведчик, а похож на какого-то отпетого типа! — возмущалась майор. — Мы, капитан, не в оперетке!

Майор была полной, смуглой женщиной лет сорока с темной полоской усиков на верхней губе. То ли от боли, то ли от потери крови, то ли от страха за себя и за всех раненых она была бледна, и усики выделялись на губе четко, как подрисованные.

— Нет, — сказал Ардатов. — Не бросим. Обещаю. У нас свои раненые. День только начинается, так что... Так что их прибавится. У вас нет ничего?.. Вы не можете сделать мне укол — болит все и, главное, кружится голова.

Он рассказал, как их с Чесноковым придавило, и майор приказала:

— Идите сюда!

Так как она была ранена в голень и могла только сидеть, она посадила и его рядом с собой и, пощупав пульс, заглянула ему под веки и постучала ребром ладони по пояснице.

— Ничего страшного — все пройдет. Надо только время. Хорошо бы полежать недельку в госпитале, чтобы уж быть уверенным. — Майор, вздохнув, махнула рукой, как бы вспомнив, где она: «Какие глупости говорю», — и, порывшись в никелированном ящичке, ловко наладила шприц, успокоив его:

— Нет, нет, не морфий. Понимаю, вам надо быть на ногах. Я вам сделаю другое — боль снимет, а командовать сможете. Только чуть задеревенеете. Ну-ка, повернитесь! Поднимите гимнастерку. Вот и все! «Это хорошо, задеревенеть, — подумал Ардатов. — А еще бы лучше закаменеть!»

Он хотел было встать, но майор, сказав, «ну-ка, что тут на шее», наклонилась к нему и прошептала в ухо:

— Не бросайте нас, капитан. Не знаю, как все, а я бы... А меня лучше пристрелите. Не хочу попасть к ним живой.

Ардатов встал и застегнул ремень.

— Спасибо. Мы прикроем вас, товарищи, — сказал он громко. — Но лучше перебраться в траншею. Кто, конечно, хочет. С воздуха ваша балка бросается в глаза, привлекает внимание. С воздуха не видно — раненые или нет, так что... И вообще лучше быть поближе. Кто может — прощу в строй. Людей у нас мало... Тебе надо укол? — спросил он Чеснокова.

— Нет, — отказался Чесноков и отступил подальше. — Ну его. Я уж как-нибудь без него. Уже не тошнит.

— Медики у вас есть? — спросила его сестра, девушка лет двадцати, кряжистая, большегубая и пучеглазая.

— Я могу... — Сестра повернулась к майору. — Правда ведь, Софья Павловна? Правда ведь? Здесь все равно делать нечего. Возьмите меня, товарищ капитан.

— Возьму, — согласился Ардатов. — А ездовой пусть останется. Вместо вас.

— Капитан, это вам! Курите! — Софья Павловна протянула ему начатую коробку папирос. — Берите, берите, у меня еще есть.

— Спасибо. Спокойно!!! — сказал Ардатов Софье Павловне, перекладывая папиросы в портсигар. — Нам только продержаться до ночи...

— Помогите! — Софья Павловна подала руку сестре, и сестра помогла ей встать. — Я провожу капитана.

Обнимая сестру, Софья Павловна на одной ноге, опираясь на вторую лишь чуть-чуть и все равно морщась от боли, отойдя шагов десять, снова спросила:

— Значит, эвакуация невозможна?

— Невозможна.

— Или вы просто не хотите дать нам людей, потому что у вас у самих их мало? Скажите честно, не хотите дать людей?

— Не могу, — признался Ардатов. — Вернее, не хотел бы, даже если бы я мог вас отправить. Но не могу. Все тылы просматриваются. И простреливаются. Предположим, я дам вам людей. На какой сотне метров они сами станут ранеными? Сколько из них будет убито? Вы уверены, что вас донесут живой? Вы уверены?

Софья Павловна промолчала. Молчала и сестра. Они стояли обнявшись, глядя ему в лицо, и Ардатов видел, что в их глазах бьется отчаяние, то отчаяние, которое рождается от обреченности беспомощного.

Когда они в сорок первом, выбираясь из окружения, сначала на Украине, потом под Вязьмой, когда они, скитаясь по немецким тылам, пробиваясь с боями через тылы немцев, должны были оставлять своих тяжелораненных в деревнях, на хуторах, у лесников, он видел это отчаяние в глазах тех, кого они оставляли.

Каждый, кто оставался, понимал, что взять его нельзя — нет сил нести, раненые сковывают тех, кто может вести бой, что обстоятельства таковы, что нет никакой, ну, никакой возможности взять раненых с собой, что будь хоть малейшая возможность, их бы взяли, их бы не оставили, и если оставляют, значит, иного выхода нет. Каждый, кто оставался, понимал это. И все-таки, не укоряя никого ни словом, оставшиеся смотрели на уходивших вот так же — с отчаянием беспомощных. А на что они могли полагаться? На сердоболые тех, кто приютил их, на счастливую звезду, которая позволит им подлечиться и уйти к партизанам еще до того, как их или выдадут предатели из местных, или найдут полицейские, или нагрянут немцы?

Те, кто уходил, отдавали раненым что могли — последние сухари, кусок сахара, индивидуальный пакет, шинель. Но здоровые все-таки уходили, потому что должны были идти, чтобы, пробившись к своим, продолжать войну.

С каждым переходом число уходивших уменьшалось — снова часть их ложилась навсегда в землю, новая часть должна была оставаться у новых сердобольных деревенских жителей в затерянных хуторах, в глухих лесничествах. Но и из тех, кто уходил, никто не знал, что ждет его завтра, никто не знал, что ждет завтра другого, кому повезет, кому не повезет, так что его уже больше ничто на земле не будет касаться.

— Я не хочу попасть к ним в руки живой! — тихо крикнула Софья Павловна. — Вы понимаете? Вы понимаете, капитан?

— Понимаю, — кивнул Ардатов. Что тут было не понимать? — Так вы идете с нами? — спросит он сестру.

— Вот! — выхватила из кобуры свой «ТТ» Софья Павловна. — Семь им, восьмой мне!

— И какой вы подаете пример! — возмутился Чесноков. — А еще старший командир! А еще майор! Да... — Чесноков даже не нашел слов, а только сокрушенно махнул рукой.

Ардатов от слов Софьи Павловны поморщился. В этой обстановке, конечно, у каждого раненого был выбор — можно было выбирать между пулей немцев и своей собственной.

— Главное, не торопитесь, — сухо сказал он. — Это — всегда не поздно. И вы не одни, с вами люди. Или им тоже «восьмой себе»? Надо продержаться до ночи. Спасибо за папиросы. Бери! — приказал он Чеснокову взять пулемет.

«Юнкерсы» стали в круг и, падая из него поочередно, включив сирену, которая должна была нагонять дополнительного страха, кляли бомбу за бомбой по тому куску траншеи, против которого стояли их подбитые танки.

«Юнкерсов» было восемнадцать. Они слаженно работали, пикируя из круга и вновь поднимаясь по изогнутой кривой в него, пока шестерка «мессеров», летая над ними значительно выше, охраняла их от наших истребителей. Но наши истребители не показывались.

Ардатов, сидя на корточках в траншее и прижимаясь к ней спиной, чувствовал, как дергается земля, толкая его в позвоночник. Когда «юнкерс» пересекал ту полоску неба, которая просматривалась, Ардатов, как и все, секунды видел его — поблескивающий дюраль, желтые в черных углах кресты, шасси — «юнкерсы» были восемьдесят седьмые, шасси у них не убирались, — застекленные кабины и подвешенные под плоскостями бомбы, которые летчики должны были класть со следующих заходов.

— Может, в свой танк вмажут, — помечтал Щеголев. — Чтобы потом и отремонтировать нельзя было!...

Вся их группа сбилась в дальней правобланговой части траншеи и рассредоточилась в ходах сообщения, насколько эти ходы позволяли рассредоточиться. Обычно при таких маневрах и вообще, когда можно было оставить своих подчиненных без особого ущерба для дела, командиры старались держаться ближе к старшему, чтобы быть под рукой у него и чтобы просто побыть вместе — обтолковать что-то свое, командирское, даже просто вместе перекурить.

Щеголев после того, как растолкал всех по ходам сообщений, вернулся к Ардатову, а Тырнов не пришел. Когда Тырнов пробежал мимо Ардатова, Ардатов мельком взглянул на него, и лицо Тырнова ему не понравилось.

Конечно, у всех в душе был страх — они перебежали, когда «юнкерсы» были так близко, что каждый мог видеть, как ведущий взял курс на танки. Сначала «юнкерсы» шли чуть стороной и можно было надеяться, что они пролетят мимо, но когда ведущий взял курс на танки и из походного строя самолеты начали строиться в боевой круг, тут уж сомневаться, что бомбить будут их, не следовало, и у каждого — Ардатов мог ручаться — душа начала замирать.

Вся группа пробежала мимо него — он стоял так, что мог их торопить, покрикивая: «Быстреей!», «Быстреей!», «Быстреей!». И видел их всех — Щеголева, Чеснокова, Тягилова, Талича, Васильева, у которого обе руки были заняты винтовкой и футляром с гобоем, Старобельского, Надю, Кубика. Даже Кубик, не понимая человеческой жизни, чуял опасность, она передавалась ему от людей, и Кубик шмыгнул вслед за Надей, спрятав хвост под живот, низко прижав уши и оскалив зубы.

Когда мимо Ардатова пробежал Тырнов, их глаза встретились, и Ардатов заметил, что Тырнов посмотрел на него, как бы не узнавая.

— Без паники! — хрипло и запоздало крикнул ему вдогонку Ардатов. Тырнов вздрогнул, как если бы его ударили по спине, но не обернулся, ничего не ответил, а лишь прибавил ходу.

— Как ты считаешь, скисает он? Скисает Тырнов? — спросил Ардатов Щеголева. — Как он был тогда?

Щеголев понял, что его спрашивают о тех минутах, когда Ардатов стрелял из ПТР, когда его задавило землей и когда задавивший их землей танк прорвался в оборону, увлекая за собой немцев-пехотинцев.

— Я не видел, он был левее, — ответил не сразу Щеголев.

— И не слышал... — почти утвердительно сказал Ардатов. — Только бы они не тронули этот край, — подумал вслух Ардатов, когда бомбы стали ложиться ближе.

— Вот именно, — согласился Щеголев и спросил: — Может, попросим их? А насчет Тырнова — не рано судить? — заметил он, возвращаясь к разговору о Тырнове. — Мне кажется он ничего.

Щеголев выругался: «Ах, ясное море!» — потому что бомба легла так близко, что фонтан земли, который она выбросила, упал на них, колотя по головам, по плечам, по коленям.

— Да, кстати, — сказал вдруг ни к чему Щеголев, — Кубик, когда тебя принесли, от радости лаял. Ты у него — любовь... Слышишь? Это — Надя. Это она! Сходить что ли? Или нет, сходи ты, капитан.

Кричали раненые, их крик был слышен, когда «юнкеры» смещались левее и вместе с ними смещалась и бомбежка. В паузах между разрывами было слышно, как кто-то проклинал все на свете, причитая на самой высокой ноте: «Ой, умираю! Ой, умираю! Ой, умираю-ю-ю!! Ой, умира-а-а-ю-ю-ю! Санитары! Санитары! Санитары! — звал кто-то то ли к себе, то ли еще к кому-то. — Санитары!!!»

Уловив за этими криками голоса Нади и Старобельского, Ардатов медлил.

— Приглядывай за Ширмером, — приказал он Щеголеву. — Он, если не врет, дорого стоит.

— Ага.

— Я сейчас.

— Ага.

— Не высовывайся.

— Ага. Ты иди. Она просто душу мне рвет.

— Успокойся! Успокойся, Надюша! Я тебя очень прошу! Так нельзя, — уговаривал Надю Старобельский. — Нельзя же так... Я прошу!...

— Мамочка, мамочка, мамочка, мамочка! — причитала, не останавливаясь, Надя. — Я не могу, не могу... Мамочка! Мамочка, мамочка...

А тут еще Кубик, дрожа, то скулил, то рычал, то лаял, сбиваясь на визг.

— Тихо! — приказал ему Ардатов. — Тихо! Ну!

— Я тебя очень прошу, Надежда. Возьми себя в руки. Нельзя же так. Ты же комсомолка! — уговаривал Старобельский.

— Мамочка, мамочка, мамочка, мамочка, мамочка... — с каким-то нечеловеческим страхом и отчаянием все громче повторяла Надя.

Они лежали на дне траншеи, а по обе стороны ее творилось что-то невыносимое. Став в круг над высотой и снизившись так, чтобы не повредить себя взрывами, «юнкеры» клали и клали бомбы. «Юнкеры» поочередно, как на каком-то представлении, вываливались из круга в пикирование и, несясь к ним со страшным ревом, от которого дрожь пробирала до ступней, целясь носом самолетов прямо тебе в спину, бросали и бросали бомбы.

Бомбы рвались и далеко и близко от них, и Ардатов с Надей чувствовали своими телами, как дергается от этих взрывов земля. Они лежали уже полузасыпанные, на них все время летели комочки, комки, комья земли, клочья разорванной полыни, и комки били им по спинам и по рукам, которыми они закрывали затылки.

— Мамочка, мамочка, мамочка, мамочка, — уже чуть-чуть не срываясь на крик, повторяла и повторяла Надя. — Когда же это кончится?!

— Перестань! — не выдержал Ардатов. — Ну же!

— Когда же это кончится!...

— Перестань! — прикрикнул более нервно Ардатов. — Спокойно! Кубик! Молчать! Тихо! Ну!

Быстрая, ревущая тень на секунду мелькнула над ними, и сразу же один за другим ударило несколько взрывов.

— Гады! — крикнула вдруг Надя. — Гады! — Она вскочила и, тряся около головы сжатыми кулаками, закричала: — Гады! Гады! Гады!

Ардатов, тоже вскочив, хотел было повалить Надю, но она оттолкнула его с такой силой, что он упал на колени, но все-таки успел схватить ее за ноги и, дернув на себя, свалил и жестоко прижал ее плечи к земле.

— Цыц! — крикнул он ей. — Пшел! — рявкнул он Кубику, который бросился на него.

Сквозь последние разрывы бомб Ардатов вдруг услышал, как начали рваться снаряды. «Артподготовка, потом, на закуску, они ударят из минометов и ползут...»

Надя дергалась под ним и жалко просила: «Пустите! Пустите! Пустите! Не имеете права!» Но он всем своим весом прижал ее к земле, повторяя:

— Сейчас они минами! Понимаешь? Минами! Голову снесут! Понимаешь? Убьют к черту! Убьют! Понимаешь, дурочка! Я приказываю!...

Надя билась под ним, стараясь сбросить его, но он держал ее, все сильнее прижимая к земле, чувствуя, как ее рыбки слабеют.

— Мне больно, — вдруг сказала она совсем уже жалобно, но тут целая серия мин ударила вокруг них, одна мина взорвалась на бруствере, так что их обдало горячим воздухом и вонью сгоревшего тола. Ардатов уткнулся в лицо Нади, закрывая его. И через всю эту вонь тола и запахи траншеи почувствовал, как нежно пахнет Надина щека — каким-то кремом, кожей и даже леденцами.

Он отпустил ее, сказав:

— Нельзя так. Всем страшно. Но не распускаться же до... до...

Ему не подвернулось подходящее слово, а тут как раз к ним, согнувшись, почти на четвереньках, потому что левой рукой он отталкивался от дна, перебежал Тягилев. Ошалело оглядывая их и не зная, бежать ли дальше или дальше бежать не велено, Тягилев приткнулся к стенке возле Ардатова и забормотал:

— Заступник мой еси... Возьми под крыла твоя... От стрелы летящей, от меча, от ножа, от любого лиходея!...

Ардатов, поймав его за руку, сжал так, что почувствовал, как у Тягилева хрустнули кости.

— Тихо! Тихо, отец! Тихо! Тихо... Сейчас он кончит, сейчас, сейчас, сейчас! Еще минутка...

— Господи, господа, — бормотал не успокаиваясь Тягилев. — Я, значит, только туда, глянуть, как там слепыри, они за своротом, сажений за десять, но за своротом, только я туда, а он, аспид, как метил, так и угодил, и были слепыри, и нету их — одна земля, а их как вынесло! Ах, ирод! И ведь не достать его из винтовки! Кабы достать! Ах, ирод! Как вша перед ним бессловесная — давит и все тебе!...

— Тихо! Тихо, отец! — Ардатов опять сжал руку Тягилева. — Не они нам важны, не они! Те, кто на земле важны, те, отец! Те сейчас, те! Понял? Понял? С ними счеты своди, с ними, понял?

— Чу! Чу! Кто-то стреляет! — дернулся Тягилев у него из руки. — Да пустите же! Пустите, тебе говорят! — крикнул он на Ардатова и с неожиданной силой так дернул руку, что вывернулся и побежал, почти не прячась, к углу, где траншея ломалась.

Ардатов, отстав, кричал ему:

— Назад, назад, назад!

Они оба выбежали в следующий фас. У дальнего конца его, там, где фас снова ломался, припав к фрицевскому танковому пулемету, который он выкинул прямо на бруствер, лихорадочно вода стволом туда и сюда, какой-то красноармеец ловил в прицел «юнкеры». Выходя из пике, «юнкеры» секунды летели вдоль их обороны и из самой нижней точки пикировали, выравнивались как раз на линии этого фаса траншеи, а значит, и пулемета, и красноармеец ловчил поймать выходящий «юнкер» на очередь.

«Зря! — мелькнуло у Ардатова в голове. — Даже если и собьет одного, если кто-то с другого самолета заметит откуда били, они же нас перепашут! У них же радио! Вывалит все, что у них осталось. Прямо на головы! На кой же черт тогда было маневрировать? Нужно держать землю! — это важнее какого-то вшивого "юнкера"»...

— Отставить! — крикнул он. — Отставить!

То ли красноармеец не слышал, так как до него было далеко, то ли не захотел подчиниться, он даже не обернулся.

— От... — было крикнул Ардатов и подавился концом слова, потому что в полосе неба, видной из траншеи, вдруг возник пикирующий «Юнкерс», и Тягилев и Ардатов хорошо различали его задранный хвост, верхние плоскости крыльев, обычно непросматриваемые с земли, круглое туловище, в конце которого, устремленной к земле, была пилотская рамчатая кабина.

Секунды «Юнкерс» падал, ревя моторами и сиреной, потом от него отделилась четко видимая бомба, «юнкерс» резко начал отваливать хвост вниз, под себя, задирая тем самым кабину, в которой сидели летчики, защищенные от пулемета лишь плексигласовым стеклом, и вот в эти-то две три секунды красноармеец, не отрывая пальцы от спускового крючка, удерживая прыгающий пулемет, изловчился и всадил в плексиглас очередь.

«Лихо», — подумал Ардатов. Ему показалось, что он увидел, как от кабины что-то полетело — какие-то осколки, щепки, железки, или это были просто брызги плексигласа, а может, и вспышки зажигательных пуль, но «юнкерс» в ту же секунду дернулся, продолжая все выходить из пике по инерции, проревел над ними и, мелькнув за спинами так быстро, что Ардатов не успел и оглянуться, упал где-то сзади, бухнув одновременно с ударом об землю бензиновыми баками.

— Назад! — крикнул Ардатов. — Назад! Ко мне! За мной!

Стукаясь об углы траншей, задыхаясь, они пробежали все эти незанятые отрезки ее и свалились без сил возле Щеголева, который, развернув узел плащ палатки, набивал магазины к шмайссерам.

— Выбирай, — показал он Ардатову на оба шмайссера. — Становимся на довольствие к фрицам. Белоконь принес.

Красноармеец, который сбил «Юнкерса», еще не отдышавшись, вдруг засмеялся, нервно вздрагивая и судорожно хватая ртом воздух.

— Эх я его! Отлетелся, собака! Поди, скольких он! Но есть и ему конец! Из их же машинки...

— Как фамилия? Какой части? — спросил Ардатов. — Какой части?

«Я представлю его к ордену! — решил Ардатов. — Если останемся живы... За "юнкерс" дадут. Лишь бы выбраться к своим. Но сначала надо дожидать до ночи, — опять подумал он. — И удержать этих фрицев здесь... Разведбат и батальон танков!...»

— Кожинов я. Кожинов Семен Лукич, — вдруг тихо, задумчиво, как если бы Кожинов вглядывался в себя или разглядывал себя со стороны, зная, что он — это он, но в то же время как же это может быть, чтобы человек сам себя видел со стороны, — вдруг тихо, задумчиво назвал красноармеец. — Кожинов Семен Лукич, 1903 года рождения. Из города Горького. Завод «Красное Сормово», слышали про такой, а?

Некоторое время Кожинов гладил фрицевский пулемет, поворачивая его, разглядывая, бормоча:

— Ладная машинка. Исхитрится же человечья голова задумать такую.

Пальцы у Кожинова были короткие, толстые, поросшие желтой шерстью, с желтыми же от махорки ногтями, по чуткие, осторожные, и казалось, что Кожинов ощущает ими не только поверхность металла, но и узнает и то, что там, в его глубине.

— Если запастись патронами, я их, фрицев, накою из нее вагон! — пообещал Кожинов Ардатову, когда Ардатов встал, потому что «юнкерсы», сделав круг, перестраиваясь на ходу, полетели домой. Улетало, Ардатов посчитал, семнадцать.

— То то! — сказал им вслед Ардатов. — То-то, сволочи. Дайте срок, дайте нам срок!

— Вагон и маленькую тележку, — развил обещание Кожинова Щеголев. — Ты смотри мне, не жги даром патроны!

В бинокль все виделось четко и близко — в километре от них, за увалом, степь, не очень круто поднимаясь, переходила в новую гряду пологих холмов, таких же высоток, какую должны были удержать они. Высоток, обозначенных на военных картах малыми цифрами. Так вот, из-за противоположной им высоты, развернувшись в цепи, быстро шли, сбиваясь на бег, немцы-пехотинцы. До немцев было с километр.

— Пока пулеметчики живы, пока пулеметы исправны и есть патроны, спасенья пехоте от этого огня нет, — объяснил Ардатов Щеголеву, Тырнову, Белоконю и Кожинову. «Вот насколько нас хватит, это другой вопрос», — прокрутилось у него в голове.

Ардатов подумал было, что ему следует самому лечь за один из пулеметов, но ключицу от ударов ПТР еще так ломило, что он, с ужасом представив, как будет колотить в нее приклад, отказался от этой мысли, из пулемета он обязательно бы мазал, а мазать никак было нельзя. Он решил, что ему сейчас надо стрелять из винтовки, что с винтовкой он справится, а когда немцы подойдут ближе, он возьмет «шмайссер».

Он высунулся над бруствером и еще раз взглянул на позицию, которую они должны были удерживать сейчас от пехоты.

Их высота, имея форму почти правильной трапеции, лежала основанием — своей длинной стороной к фронту. Траншея проходила по западному скату высоты, загибаясь концами вперед — к немцам. Расстояние от концов траншеи до тех точек, где она изламывалась, чтобы идти вдоль высоты, было метров двести, и если бы немцы прорвались на это расстояние к длинному куску траншеи и если бы на ее коротких концах были бы пулеметы, немцы попадали бы под кинжальный огонь во фланг.

Когда Ардатов лежал под бомбежкой, он, прикидывая, как лучше использовать танковые пулеметы, и нашел это решение, и как только «Юнкерсы» полетели от них, он быстро набросал в командирском блокноте схему обороны и, показав ее сейчас Щеголеву, Белоконю, Тырнову и Кожинову, торопил их.

— Вторым номером бери кого хочешь! — приказал он Белоконю. — Но чтоб позиция была у самого конца! — Он ткнул карандашом в ту часть схемы, где была оконечность траншеи. — Чем дальше от нас ты их встретишь, тем легче будет всем. Ясно? Давай, друг! Метров с трехсот. Чтоб каждая очередь — в цель.

Белоконь, досасывая окурок, щурился, словно ему резал глаза свет.

— Ага. Шухры-мухры!

— Чем позже начнешь, тем позже обнаружат, — подсказал Щеголев.

— Ага.

— Бегом! — приказал ему Ардатов.

— За второй ляжешь сам, — сказал он Щеголеву и показал на схеме, что Щеголев должен лечь за пулемет метрах в тридцати от Белоконя, ближе к общей траншее. — Прикроешь его. Проследи, чтобы Белоконь делал все как надо. Он парень надежный, но все равно — проследи. И смотри, чтобы они не зашли тебе слева, за спину. Ясно?

— Ясно.

Щеголев было дернулся бежать, но Ардатов досказал:

— Присмотри запасные позиции. Когда мы их остановим, они ударят из минометов, в первую очередь по вас и по Кожинovu. Тогда быстро на запасную или к нам, к центру. Ясно?

Ардатов сказал все это Щеголеву, как сказал бы своему командиру роты, если бы он с ним уже давно воевал, и поэтому у них уже давно установились отношения фронтового командирского братства, которое делит и риск, и власть над людьми, и водку, и сон и все остальное честно, по-товарищески.

— Этот фланг на тебе. Отвечаешь за него. Ясно?

Их лица были рядом, и Ардатов видел, как побледнел Щеголев. Но Щеголев ответил хорошо:

— Ясно.

— Бегом, — приказал Ардатов. — Патроны — беречь! Только наверняка!

Ардатов слегка подтолкнул Щеголева в спину, и Щеголев побежал по траншее. Он и не глянул на Надю, пробегая мимо нее, и Ардатов видел, что Надя как-то удивленно посмотрела ему вслед.

Ардатов подхватил у Кожинова магазины с лентами, прикидывая, насколько хватит Кожинovu патронов и бросив ему: «За мной!» — побежал сам. Кожинov тяжело трусил за ним, неся, как косу, на плече пулемет, не поспевая, и Ардатов, оборачиваясь, два раза крикнул ему:

— Быстрей! Быстрей!

Когда они пробежали мимо Васильева, Васильев хотел остановить его, сказав: «Товарищ капитан! Можно мне?..» Но Ардатов отмахнулся: «Некогда. Потом!»

Недалеко от поворота была позиция разведчиков, тех двух, которые остались от четверки Белоконя, и Ардатов приказал им:

— За мной! Живо!

Они было замешкались со своими вещмешками и шинелями, которые у них лежали в нишах окопов, но Ардатов как хлестнул их: «Бегом!»

Не переводя дыхания, они добежали до противоположного теперь для Щеголева и Белоконя участка траншеи.

«Хорошо!» — подумал Ардатов о комбате, который до него тут готовился к обороне — в этом куске траншеи были основные и запасные позиции для станкового пулемета. Он их сразу увидел и сразу определил по форме окопа, часть которого выдавалась вперед, чтобы второму номеру было легко направлять ленту в приемник «Максима», по большой площадке для него, по следам от колес.

— В упор! Только в упор! — внушил он Кожинovu, выкинув «МГ»⁷ на площадку и втискивая его ножки крепче в грунт. — Только когда они выйдут на эту линию! Видишь, Кожинov? Видишь? В упор и наверняка. Патронов мало! Очень мало, а впереди день!

[⁷ — МГ — тип немецкого пулемета]

— Чего ж тут не видеть-то! — неожиданно очень спокойно, даже с ноткой неодобрения, что ему все это втолковывают, как будто он несмышлениш какой, ответил Кожинov. Он снял пилотку, положил ее в сторону, погладил сразу обеими ладонями свою большую голову с оттопыренными ушами и потоптался по дну окопа, выравнивая под ногами землю, чтобы стоять на ней плотнее. — Чего же тут не видеть?..

— Когда остановишь их, когда положишь — а они лягут, они обязательно лягут, — и когда они начнут бить из минометов, быстро ко мне.

— Коль лягут, зачем же, — возразил было Кожинov. — Коль лягут, так...

— Они тебя накроют! — оборвал его Ардатов. — Мгновенно ко мне! Понял? Чтоб сам цел и чтоб пулемет цел! Понял? Выполнять.

— Ну! — скомандовал сам себе Ардатов и, прикинув, что у него есть еще минута, побежал по траншее, приказывая на ходу всем, мимо кого он пробежал:

— Стрелять с четырехсот! Зря патроны не жечь! Беречь патроны! Взять боеприпасы у тех, кто вышел из строя! Быстро! Быстро!...

Он видел убитых, уже оттащенных в ходы сообщения, он насчитал их семь, чуть больше попало ему раненых, и он, прикинув, что потерял уже процентов двадцать, весь внутренне сжался, подсчитывая, что, если дело пойдет и дальше так, ему не хватит людей продержаться до вечера. У него мелькнула мысль, что надо будет похоронить убитых, чтобы убитые не деморализовали живых, и что, если они отобьют эту атаку и немцы отойдут, чтобы их артиллерия и авиация снова обработали его высоту, то, первое, надо будет сразу же бросить всех оставшихся ползком вперед к убитым немцам, чтобы за счет их снова пополнить боеприпасы, взять все, сколько сумеют, немецкое оружие, то есть, как сказал Щеголев, снова стать на довольствие к фрицам, и второе, переждать артобстрел и новую бомбежку на этой линии, так как там, в открытой степи, будет безопасней, чем в траншее, к которой фрицы уже пристрелялись.

Когда он вернулся на свое место, таща с собой винтовку и патроны к ней, которые он забрал у убитых, Надя уже пришла в себя. Он стал рядом с ней, всего в метре от нее, но она, как будто не замечала его. Она была бледной, сосредоточенной, задумчивой, как будто что-то решала про себя.

— Главное — не торопись! — быстро сказал он ей, присматриваясь, сколько же против них немцев. Получалось меньше батальона, значительно меньше, по две-то полных роты было. — Бей спокойно. Старайся в тех, кто машет руками, подгоняет других. Это офицеры. Без них фриц быстро ложится. А нам главное — положить их. («Там будет видно, что дальше, — подумал он, но не сказал это Наде. — Там будет черт еще знает что!»). — Видишь — подравниваются.

Немцы и правда подравнивались — цепи замедлили бег, ожидая отставших и набирая дыхание, чтобы потом дружно, в один рывок пробежать последний кусок степи до траншеи.

«Одну роту держишь в резерве? — спросил Ардатов мысленно командира немецкого батальона. — Как будто правильно, но все равно это тебе не поможет. Я выбью твой личный состав, — злорадно развил он свою мысль. Он был уверен, что эту атаку они отобьют — уж очень удачно вписались в позицию пулеметы Щеголева, Белокопя и Кожинова, на которых он мог надеяться. — Я тебе выбью личный состав из этих рот, — повторил он мысленно. — И твое начальство тебе, сволочь, всыплет по первое число. Может, и с должности снимет. Может, даже твоя контрразведка займется тобой. Оправдывайся тогда перед презрительным и бездушным следователем, объясняй, как ты потерял полбатальона в бою за эту высоту, где, как ты считаешь, засели какие-то жалкие остатки какой-то разбитой части. Конечно, мы вообще-то остатки, — уточнил он. — Так, публика с бору по сосенке... но не жалкие, будь покоен, не жалкие! Сейчас мы это тебе покажем. Еще метров двести пробежите... Ну, а если он не дурак? — спросил Ардатов теперь себя. И признался, не мог не признаться: — Но если он не дурак, если он сразу же введет третью роту, если он введет ее тогда, когда мы пожжем патроны, да ведь потеряем тоже и людей, если он введет эту роту именно тогда, тогда... Тогда нам будет кисло!»

Он быстро посмотрел назад, в сторону Малой Россошки, но там ничего не переменялось — там было все так же безмолвно, пусто, безнадежно для него и его людей.

«Лихо!» — подумал он, чувствуя, что наполняется той обычной холодной дрожью, которая всегда приходила перед боем, которая мгновенно исчезала, когда бой начинался, потому что в бою, в ближнем пехотном бою, надо было все время, все секунды действовать — командовать людьми, перебегать, стрелять, кидать гранаты, принимать секундные решения, и не оставалось времени ни на длинные мысли, ни на глубокие переживания. Но стоило выдаться спокойной минутке, и эта дрожь наполняла его опять.

Он отнял бинокль от глаз и высунулся, чтобы посмотреть на своих людей. Все было обычно. Припав к брустверам, его люди напряженно ждали приближавшихся немцев, над линией траншеи он видел головы Тягилова, Васильева, Талича, Чеснокова, остальных, чьи фамилии он не знал, но лица запомнил. «Ну! Ну, святое воинство!» — шепотом подбодрил он всех, замечая, что Старобельский, переступая мелкими шажками, боком, боком передвигается поближе к Наде, отчего голова Старобельского в нелепой, совершенно неподходящей для армейской траншеи штатской кепке, как бы плыла к тонкой, нежной, беззащитной Надиной косыночке.

«Ну, может, пронесет! — подумал он. — И пусть она, — подумал он о Наде, — останется жить...»

Мысль о своей смерти он гнал.

Год назад, после первых боев, после многих смертей других, он неожиданно решил, что он не очень-то много значит на земле, коль на ней жизнь человека вообще стоит так мало, ежедневно ее

лишали десятков тысяч людей. Каждый бой напоминал ему, что бессмертия нет, он тоже уйдет, растворится на атомы в этом мире, все лишь вопрос времени — чуть позже, чуть раньше, годом позднее, годом раньше, и к нему доберется костлявая. Поэтому, считал он, если его найдет пуля или осколок, особой трагедии не будет. «Миг — и тебя нет! — думал он. — Как всех тех... Но лишь бы это было сразу! Чтобы не корчиться от боли. Лишь бы вмиг!» — просил он неизвестно кого, но, может быть, судьбу.

Он думал так не потому, что устал жить, нет, он совсем не устал, наоборот, он становился к жизни жадней, он глубже понимал и тоньше ее чувствовал — удовольствие от чего-то, что он хорошо сделал, радость от мысли, что день прожит не впустую, усталость и отдых, улыбку женщины, улыбку, которая всегда и проста и загадочна, вкус вина и еды, запах листьев и хвои, ветер, обдувающий лицо, книги, из которых он много узнал, глаза и голоса дочери, отца, жены. Да мало ли в жизни было прекрасного! Да мало ли в жизни оставалось прекрасного и в это проклятое время!

Войну он проклинал тысячу, миллионы раз, как проклинали все, с кем он встречался, потому что, при всей необходимости воевать, при всей нужде быть на этой войне и вести эту войну, она все-таки была трижды проклятой, как, например, чума, которая всегда трижды проклятая была, есть и будет.

Но даже во время войны жизнь, считал Ардатов, все-таки была прекрасна. Особенно прекрасна, потому что ее все время оттеняла смерть.

Одно лишь сжимало ему сердце — если его убьют, это будет страшно, невысказанно тяжело отцу, дочери, жене, больше всех, видимо, отцу. И Валентине. «Надо остаться, — говорил он себе. Я нужен. Ах, Валентина! — вздохнул он. — Валентина... Что ты для меня? Радость или беда? Беда или радость? Как все понять?»

А Надя в это время привычным движением заправила в брюки выбившуюся кофточку, спрятала поглубже под косынку волосы, затянула косынку потуже, отряхнула с рукавов глину и ровней положила обоймы. Но Ардатов видел, что она, прищурившись, как бы прицелившись, не спускает глаз с немцев.

— С шестисот! С шестисот? — спросила Надя никого. — Нет, с пятисот, — ответила она сама себе. — Цель? Ростовая. Двигающаяся. Упреждение? Упреждения нет, цель движется на стрелка...

Надя аккуратно вставила обойму в пазы, надавила большим пальцем на верхний патрон, патроны скользнули в магазинную коробку, тогда она вынула обойму, нашла ей место рядом с набитыми, и резко послала рукоятку затвора вперед и вправо.

— На! — дал ей Ардатов бинокль. — Там, где они бегут кучками — это пулеметчики. Приглядишься! Их надо обязательно! Они вот-вот лягут, чтобы поддерживать огнем стрелков. Они нам головы не дадут поднять! Они... Они сразу же начнут бить по нашим пулеметам! Их надо раньше всех! — повторил он. — Раньше, чем даже офицеров — офицеры не уйдут, а пулеметчики лягут, в них тогда не попадешь, поэтому... Ясно, Надя? Ясно, девочка?

— Ясно! — резко перебила его Надя, ткнула ему назад бинокль, торопливо поставила локти на бруствер и припала щекой к прикладу. — Не мешайте. Не мешайте, Константин Константинович.

«Ишь ты, — успел на ходу к своей винтовке подумать Ардатов. — Видите ли, ей мешают. Ах, елкин корень! Но ведь если она сбита снайпера, как говорит Чесноков, если она так стреляет, это тебе, брат...»

Ардатов не додумал, что же будет означать «это тебе, брат...», потому что Васильев, подняв гобой торчком в небо, дал стрельбищный сигнал «По-па-ди! По-па-ди! По-па-ди!»

В той последней минуте тишины, которая оставалась им всем на ближайшие час-два, а для тех, кто должен был быть убитым в эти часы, в той вообще последней для них минуте тишины, гобой пропел громко, призывно и грустно: Васильев дул в него, что есть силы, было слышно, как, всхлипывая, напряженно дрожит тростинка в мундштуке, и от этого скребло по душе.

«Ну, братцы! Ну, держись, — чуть было не крикнул Ардатов. — Эх-ма, подумал он. — Мне бы приличный батальончик, я бы этим вшивым фрицам... Он не додумал. «По-па-ди! По-па-ди! По-па-ди!» — еще раз просигналил гобой, и тут рядом с Ардатовым выстрелила Надина винтовка. Ее выстрелы пошли один за другим, чередуясь через почти равные интервалы.

Эти выстрелы сбивали его с прицеливания, он только подводил мушку под фигуру пулеметчика, как ему в правое ухо бил громкий хлопок, он смигивал, отчего мушка уходила с немца, а когда он должен был искать цель опять, этой цели уже не было.

При всей спешке боя, несмотря на то, что у Ардатова похолодело в сердце и пересохло во рту, несмотря на то, что он был лихорадочно возбужден, как если бы выпил возбуждающее лекарство, отчего все теперь он делал слишком быстро и как-то резко, Ардатов все-таки видел, как рядом с теми немцами, в

которых он стрелял, падали другие немцы, а иногда падали и те немцы, в которых он целился, но не успевал выстрелить.

— Она! — говорил он себе. — Это она! Ах, умница! Умница! Умница! Умница! Смотри-ка, как лихо!

Он готов был броситься к Наде, чтобы обнять ее и похвалить, погладить по голове, как любимую свою сестру, которая сделала что-то особенно хорошее, но надо было стрелять, быстро-быстро выискивая нового немца — пулеметчика или офицера. Их — его и Надю — отделял всего шаг, и Ардатов, перезаряжая и целясь, слышал, как она разговаривала сама с собой, и отвернувшись от винтовки, видел, как она стреляла.

— Есть! Есть! Есть! Нет! Есть! — считала Надя, попадая и не попадая. Не отрывая глаз от подбегающих немцев — лица она еще не могла видеть, но их фигуры уже различались хорошо: подлинней, покороче, потолще, потоньше, — она наощупь хватала следующую обойму, быстро вытаскивала из нее патроны в винтовку, отшвыривала пустую обойму, теперь времени аккуратно положить у нее не было, и быстро подводила мушку примерно в середину фигурки.

— Есть! Нет! Нет! Как же так? Как же так! Прицел! Прицел! Ах, кулема! — ругала она себя. — Они же подошли! Вот уж и правда — кулема! Прицел на пятьсот, а они... а цель на... на триста. Так! Теперь другое дело. Того... Есть! Того... Есть!

Надя, наверное, не слышала, что творилось по сторонам ее, и, конечно же, не видела, она все время смотрела вперед, но все-таки не могла уже не торопиться, потому что немцы подошли так близко, что было уже хорошо видно, как сыпятся из их автоматов красные искры. Странно, ее не испугали и пули, которые быстро свистнули над ней — фить! фить! фить! — она подумала, значит, так они свистят, но когда одна пуля попала ей в винтовку, отщепнув от ствольной накладки щепки, которые впились ей в щеку, она зажала ладонями лицо и присела.

— А вдруг в глаз! — крикнула она Ардатову. — Какой ужас!

Ардатов подскочил к ней, отдернул ее руки, увидел, что глаза целы, что в левой щеке и около виска торчат занозы, из-под которых сочится кровь, крикнул:

— Ерунда! Огонь, Надя, огонь! Какого дьявола ты!... — и бросился опять к винтовке.

Немцы были так близко, что различалась их одежда — сапоги, пряжки ремней, пилотки. Ардатову показалось, что он может отличить светлых немцев от темных.

«Что ж они!... Какого дьявола!» — выругался Ардатов, стреляя под светлые квадратные пряжки немцев, и как будто услышав его, Щеголев дал длинную-длинную очередь — с боку, по изломанной цепи немцев, и как бы толкнул своим пулеметом всю ее — цепь словно ударилась во что-то невидимое, шатнулась назад, но инерция ее бросила снова вперед, и Белоконь, Кожин и подключившийся опять Щеголев срезали ее почти всю, а те из немцев, в кого они не попали и в кого не успели попасть в упор из траншеи, сразу же легли.

— То-то! — крикнул немцам Ардатов.

Вторая цепь подхватила упавших живых немцев и стала от этого гуще, плотней. Она катилась к ним еще уверенней, как будто с первой ничего не случилось, как будто то, что произошло с первой, не видели из второй, как будто немцы из второй не пробежали мимо своих убитых и раненых, и Ардатов уже в бесчисленный раз за войну вновь поразила выучке немецкого солдата, с которой он мог наступать, наступать, наступать. На секунду ему показалось, что этих немцев никогда никому не удастся остановить, так машинно-механически делали они свое дело — бежали на них, стреляли из автоматов, с готовностью и усердием прибавляя ход по команде офицеров, машущих призывно им руками, увлекающих их за собой вот уже вторую тысячу километров от германской границы. Он даже за долю секунды с ужасом увидел, как немцы такими цепями, растекаясь от границ Германии по земле, как по громадному глобусу, сползают по нему к экватору, еще ниже, ниже на юг, чтобы встретиться всем где-то там, у Южного полюса, в белоснежной, девственной Антарктиде.

Но Щеголев, Белоконь и Кожин срезали и эту цепь, она прошла ближе к траншее всего на каких-то три десятка шагов, остатки ее легли так же быстро, как первой, как будто всех живых немцев кто-то дергал за ноги, и пулеметы Кожина, Щеголева, Белоконоя, как осветили, как озарили потемневшую душу Ардатова, и Антарктида снова засияла белым снегом, озаряя весь земной шар.

Весь его земной шар!

Третья цепь успела подбежать так близко, что Ардатов, бросив винтовку и схватив «шмайссер», беспрерывно стреляя из него, стараясь удержать прыгающий ствол на уровне груди подбегающих немцев,

уже видел, как белеют у них в сумках гранатные ручки. Он знал эти гранаты — железные, наподобие консервных банок, навинченные на точеные длинные березовые ручки, которые, когда банки взрывались, отлетали целыми. (Ручки можно было после боя собирать для костерка — сухая, отборная березка горела хорошо, и на кучечке этих ручек можно было сварить суп или кашу из концентрата).

Все, что сейчас надо было сделать немцам, это сблизиться на бросок гранаты, потом дружно, с ходу швырнуть их в траншею, разместить, оглушить ими тех, кто был в ней, за считанные секунды последним рывком добежать до траншеи, стреляя по головам тех, кто хоть высунулся, спрыгнуть в нее и, разбегаясь по ходам сообщения, добывая автоматами и последними гранатами уцелевших, кончить этим атаку — выполнить приказ своего комбата.

Этот комбат, наверное, дал бы им час, чтобы опомниться, передохнуть, пополниться боеприпасами, и, начав с третьей роты, наверное, бросил бы их потом на Малую Россошку, выполняя дальше задачу дня.

Их остановили раньше, чем они взялись за гранаты, хотя уже совсем близко. Щеголев, Белоконь, Кожин били их, почти не промахиваясь, потому что немцы виделись через пулеметные прицелы рядом, потому что, наверное, и азарт захватил пулеметчиков, и еще потому, что они понимали, понимали каждой клеткой тела, что немцев во что бы то ни стало надо удерживать.

Как только остатки третьей цепи упали, Ардатов крикнул:

— Приготовиться к атаке! Приготовиться к атаке! — Он сунул новый магазин в шмайссер, еще один в карман, в другой карман синюю немецкую гранатку — яйцо, рявкнул на засуетившуюся было Надю: — Не смей! Остаешься! Не смей! Поддерживать огнем! — вдохнул, как перед прыжком с вышки в воду, побольше воздуха, и побежал по траншее к середине, все время крича: «В атаку! В атаку! В атаку!»

Он обегал или перепрыгивал скорчившихся раненых и осевших, как кули, убитых, вглядываясь на бегу в лица живых, крича каждому прямо в выпученные глаза, в запекшиеся сухие рты: «В атаку!», «В атаку!», — отрывая этим криком их от траншей, ломал, коверкал, стирал в их душах страх выскочить наверх, на бруствер, под пули залегших немцев. Он толкнул кого-то, припавшего к стенке, в плечо, заорал на него: «Шевелись! Быстро!» — дернул другого за гимнастерку, так что она затрещала, поймал третьего, убежавшего в ход сообщения за воротник, швырнул ко всем, ткнул шмайссером ему в грудь, прохрипев: «Пристрелю!» — услышал, как Васильев дал на гобое: «Слушайте все! Слушайте все!» — подумал до половины: «Сумасшедший! Черт! Лихо...» — и, выпрыгнув на бруствер, махнул всем шмайссером, крикнул, как выстрелил во всех:

— Вперед! Вперед! Вперед!

К его радости слева и справа от него неожиданно дружно выскочили его люди, их было немного, он даже подумал: «Как жидко!» — но радость, что они подчинились, пошли за ним, вытолкнула ему в голову другие слова: «Золотые мои! Хорошие! Только не ложиться! Только не ложиться — пропадем! Все пропадем!...»

Атаковать так вот жидко было крайне рискованно. Ардатов знал это, но он знал и другое — не атаковать было вообще нельзя. Стоило дать немцам еще несколько минут — три, пять, десять минут — и они бы пришли в себя, их оставшиеся офицеры подняли бы их в атаку, патронов у Щеголева, Кожина, Белоконя, наверное, осталось на секунды стрельбы, и немцы в один последний бросок могли на одном дыхании добежать до траншеи и закидать всех их, кто оставался в ней, гранатами.

«И пиши — пропало», — подумал с ужасом об этом Ардатов.

Поэтому-то и надо было, надо было, как воздух, как жизнь, самим броситься в атаку и тоже на одном дыхании бежать к лежавшим, растерянным еще после неудачной атаки немцам, сбить их с того рубежа, куда они вышли, и, расстреливая их в спины, выйти на линию дальнего танка, на линию дальних убитых немцев. Только в этом было спасение, только в этом.

Щеголев, Белоконь, Кожин, конечно, видели, как они побежали в атаку, и, зная, что в этом случае надлежит пулеметчикам делать, били по немцам, стараясь не дать им поднять головы. Но патронов им не хватало — пулеметы Кожина и Белоконя замолкли, как захлебнулись, позволив Ардатову и всем остальным сделать от траншеи всего несколько десятков шагов, а один Щеголев прикрыть их не мог — он коротко тыркнул из своего пулемета — Тырр! Тырр! Тырр! — очередями по два-три патрона, как жадно отсчитывал их.

И немцы — живые немцы — опомнились. Хотя и не дружно, вразнобой, торопливо, они ударили по Ардатову и его людям, Ардатов отлично видел, — куда уж может быть отличнее! — как вдоль всей цепи

немцев вспыхнули винтовки и автоматы, опять услышал зловещее — фить! фить! фить! — пролетавших пуль, набрал еще раз побольше воздуха, и скомандовал:

— Ура-а-а!...

Он тянул это «а-а-а-а» насколько хватило дыхания, и снова, как секунды назад, когда он выпрыгнул из траншеи и увидел, что его люди выпрыгнули за ним, сердце его зашлось от радости:

— Урааа-аа-а-а! Рааа-аа-а-а! Аааа-аа-а-а-а! — подхватили его автоматчики, стрелки, телефонисты, сапожники, пекарь, музыкант, артист, старик Старобельский и все-все остальные.

«Золотые!» — шально подумал Ардатов, делая громадные шаги прямо на вспыхивающие в полыни выстрелы, держа шмайссер перед животом, направляя его ствол на эти вспышки, нажимая на спусковой крючок.

— Урааа-аа-а-а!... — повторил он, когда общее «А-а-а-а!» должно было оборваться, и его люди с готовностью подхватили:

— Рааа-аа-а-а!... Ааа-аа-а-а-а-а!...

Это были те три-пять-семь-десять критических секунд в атаке — в эти мгновенья, именно в эти, чьи-то души: лежащих и лихорадочно стрелявших немцев, или бегущих с Ардатовым, кричащих отчаянное «А-а-а-а а!», красноармейцев — чьи-то души должны были дрогнуть раньше.

— Бей их! Бей их, братцы! Ураааа-ааа-аа-а-а-а-а!... — отчаянно крикнул Ардатов, надав из последних сил, судорожно нажимая на спусковой крючок, достреливая последние патроны. — Рааа-аа-а-а-а-а!...

— Уаааа-ааа-аа-а-а-а-а!... — ответили его люди, и опять на какую-то долю времени, на этом времени, кольнула Ардатова в сердце любовь к ним.

Будь до немцев дальше на каких-то полста метров, и они бы остановили атакующих, успев все-таки часть их перестрелять, но с такой короткой дистанции, сделать этого они не могли: рывок Ардатова и его людей был слишком короток и быстр, а немцы из положения «лежа» должны были неудобно стрелять вверх, но такая стрельба неприцельна, не то, что стрельба из траншеи, где ты стоишь, положив локти на бруствер, прочно держа винтовку или автомат.

И дрогнули немцы.

«Ага!» — злорадно подумал Ардатов, увидев, как сначала один, потом другой, потом сразу несколько немцев вскочили и побежали назад, пригибаясь, даже не отстреливаясь, но тут, шагов с десяти, вскочив с колена, ударил по нему из винтовки худой, большеносый, пучеглазый ефрейтор, и не рванись Ардатов вбок, запоздай отклониться, и эта атака для него была бы последней, но он успел отклониться, и пуля, сбив пилотку, лишь обожгла ему кожу на голове, а вот для этого пучеглазого все на земле было последним.

Судорожно передернув затвор, — Ардатов видел, как вправо, назад от немца, вылетела, блеснув, гильза — пучеглазый вскочил, чтобы выстрелить из положения «стоя», и именно в этом для него была последняя в жизни ошибка — не надо было вскакивать, надо было, не вставая с колена, всадить в Ардатова следующую пулю, но немец вскочил, потерял на это движение секунды, и Ардатов успел стволом шмайссера отбить ствол винтовки, и пуля пучеглазого ушла далеко-далеко вбок, и Ардатов, рванув ствол автомата вниз, а приклад вверх-вперед, так что приклад описал полдуги к голове немца, ударил его в висок. Приклад у шмайссера был из изогнутой, толстой овальной железки, висок немца под ней жалко хрустнул, немец мгновенно закатил глаза и выпустил винтовку, и Ардатов, бросив шмайссер, успел подхватить ее и перезарядить и выстрелить по второму немцу, который уже был в трех шагах, и хорошо угодил ему в живот. Нет, конечно, Ардатов не стал, как пучеглазый, например, целиться в голову — в голову можно промахнуться, нет, Ардатов всадил второму немцу пулю в живот, и этот немец, словно загнувшись за проволоку, ткнулся грудью в полынь, и Ардатов сразу же сделал на правой пятке, вздернув винтовку штыком к небу, поворот «кругом!», бросил винтовку штыком вперед и одновременно выставил вперед же левую ногу, так что ее носок был под прямым углом к правому.

Но тот, третий немец, которого он должен был встретить в этой позиции для штыкового боя, тот немец тоже знал все его приемы, а так как немец был молод, ему было года двадцать три, двадцать четыре и, наверное, он был еще и отличный спортсмен, так как под кителем у немца мускулы просто дулись, то этот немец сделал сначала длинный с выпадом, сделал его, как на учении, как в спорт-городке где-нибудь на соревнованиях, и Ардатов, отбив длинный с выпадом от себя вниз, ничего не успел, как только отбить средний, а потом короткий, а потом увернуться от удара приклада сбоку ему в челюсть, а

потом отпрыгнуть, чтобы не получить штык в грудь, но чувствуя, что немец полоснул ему все-таки по левой кисти, а потом у Ардатова мелькнула страшная мысль: «Кажется, он меня... Неужели все?!» Но бежать было нельзя, этот спортсмен всадил бы штык в спину или поясницу, и Ардаатов только пятился, отпрыгивал, отбивал укол за уколом, не имея три секунды, чтобы выдернуть пистолет — так бы и дал ему немец эти секунды, так бы и дал бы он их ему! — как вдруг на кителе немца, левее второй пуговицы сверху, как вдруг на кителе немца вспыхнула серая дырочка, как вдруг немец, немец-спортсмен, который мог его, как дважды два четыре, заколоть через полминуты, как вдруг этот немец обмяк, как вдруг его сжатый рот раскрылся, хватая воздух, отчего стали видны великолепные — им могла бы позавидовать любая кинозвезда — зубы: ровные, белоснежные, даже чуть, как сахар, синеватые, как вдруг закрылись его голубые глаза, а покрасневшие от штыковых упражнений щеки побледнели, как вдруг упали вниз вместе с винтовкой его руки, и Ардаатов, мгновенно сделав длинный с выпадом, всадил этому немцу-спортсмену немецкий же ножевой штык между ребер и не стал даже выдергивать его, зло и радостно подумав: «Нет, не меня не дождутся отец, жена, дочь, тебя не дождутся отец и все остальные! А какого дьявола надо было тебе в этих степях, а? Какого? Так получи!...»

Еще этот немец-спортсмен не упал, еще он только свалился на колени, а Ардаатов уже выхватил пистолет и стрелял, пока пистолет не замолк, по ближним к нему другим немцам, потом рванул из кармана гранату, рванул из нее кольцо, швырнул гранату в кучку, которая бежала к нему, сразу же сунул в пистолет новую обойму, крикнул:

— Урааа-аа-а!... Бей их, гааа-аа-а! доvvv-вв-в!... — и пристрелил какого-то немца-коротышку, который неожиданно вдруг оказался спиной к нему, потому что бежал к Старобельскому, наклонив голову, сбывившись, целясь Старобельскому штыком в бок.

Все это время, стреляя, отбиваясь винтовкой, даже кидая гранату, Ардаатов помимо того, что видел перед собой, что непосредственно касалось его, каким-то боковым зрением замечал лихорадочно, запоминал и общую картину их атаки.

Еще в самом начале, за два шага от траншеи, он видел, как кто-то упал, как, не замедлив бега, глянул на него на ходу Васильев, и что у Васильева зачем-то был засунут под ремень гобой — черная, нелепейшая в рукопашной трубка, как бежал, мелькая громадными своими сандалиями Старобельский, хотя Надя и кричала ему: «Дедушка! Дедушка! Не надо! Не надо!»; как Тягилев, вытянув по-куриному голову, быстро-быстро перебирал ногами, стараясь не отстать от других, и лицо у Тягилова было очень сосредоточенное, словно он делал какую-то ответственную работу, причем, Тягилев еще и что-то не то шептал, не то говорил на бегу, может, ругался, а может, молился; как мчался с ним рядом Чесноков, первым подхватывая его «Ура!», и как тяжело, как будто с натугой растягивая резину, которой он был привязан к траншее, топал большими для него сапогами сбоку от Чеснокова пекарь, и как этого пекаря убил немецкий офицер из парабеллума, и как офицера застрелил на ходу Чесноков, и как, чуть приотстав, бежала, прижимая сумку, медсестра, и как она стреляла из «Вальтера», и как упала возле Тырнова, когда Тырнов упал, и как справа и слева от него, от Ардатова, сшибались его люди и немцы, и как, наконец, немцы, сломавшись, стали отбегать, отбегать, отбегать.

Тогда Ардаатов, крикнув: «Огонь! Огонь! Бей! Огонь!» — упал на колено возле ближнего к нему убитого немца, схватил его карабин и, дергая из подсумка убитого обоймы, несколько минут не переставая стрелял по отступающим немцам, зло бормоча им: «Подальше! Подальше! Подальше, собаки! Вот тебе разведбат! Вот тебе батальон танков! Собаки...»

* * *

Ящерицам было хорошо. Танки вмяли, вдавили полынь, и след от гусеницы для ящериц стал широкой просекой, ее заливало солнце, и ящерицы вылезли на этот след и, вцепившись лапками в веточки, грелись, дремали, лениво согнув хвостики.

Ящериц на этой просеке было много — Ардаатов насчитал, пока глаз различал их серые на серой полыни тельца, больше двадцати. Самая ближняя к нему лежала в каких-то сантиметрах от его головы и быстро-быстро дышала, отчего ее шейка билась, пульсировала. Ящерица иногда смигивала, и казалось, что она делает это от удовольствия, от солнца, от тех мошек, которыми она уже наелась, и оттого, что ей, наверное, не надо было думать ни о чем. Новая шкурка на ящерице поблескивала, лапки цепко держались за стволы полыни, а живот и грудь покойно касались земли.

Ардатов вздохнул, пошевелился, и ящерица мгновенно исчезла с просеки, как растворилась в своем травяном лесу.

— Извини! — сказал ящерице Ардатов. — Я не хотел... Не бойся... Извини...

Прошло минут десять, как они отбили атаку, и душа у Ардатова почти перестала дрожать, он несколько раз глубоко, как будто вынырнув из плотной холодной воды, вздохнул, оглядывая и начиная ощущать себя. Саднила голова, он притронулся к ней, но кожу зажгло сильнее, саднила кисть левой руки, он повертел ее, осматривая через запекающуюся кровь, как полоснул его штыком немец-спортсмен: глубокий порез начинался у ногтя большого пальца, рассек мякоть у его основания и захватил кусок предплечья. Морщась, Ардатов сжал и разжал кулак, пальцы слушались, так как сухожилия не были задеты, и Ардатов приподнял гимнастерку на левом боку. И гимнастерка и майка под ней тоже были располосованы, как и кожа на ребрах, но ребра не ломило, и это означало, что они целы, а мясо, знал Ардатов, зарастет. «Быстрее, чем на собаке», — горько подумал он, поднялся и сел, опираясь спиной на катки.

— Так! — сказал он себе и всем, кто был тут, за танком, то есть Чеснокову, Васильеву, Тягилеву и еще десятку красноармейцев, — Так! Всем, кроме раненых, кроме Чеснокова! Собрать оружие! Боеприпасы! Ползком! Перебежками! Пока фриц не опомнился. Быстро! Выполнять!

Красноармейцы зашевелились, он подождал, пока они начнут перебежать от танка в обе стороны, и приказал Чеснокову:

— К ним! — Он показал на два других танка, за которыми и под которыми тоже сгрудились его люди. — Оружие! Боеприпасы! Оттуда — к Щеголеву и в траншею. Всех, кто остался — сюда. Сам тоже. Пересчитать людей! Выполнять! Быстро!

— Я и так быстро! — возмутился на ходу уже Чесноков, отбегая, согнувшись, от танка. Чеснокову не понравилось это слово «быстро», он и правда не нуждался в понукании, но у Ардатова в голове уже замелькали одна за другой мысли, и это «выполнять, быстро!» было просто отражением их.

Он знал, что на этот раз они поживятся у фрицев скудно — атакуя, немцы сами расходовали боеприпасы, подсумки у них были уже наполовину пусты, пулеметные коробки тоже, не то, что в танках, но все-таки это было хоть что-то, хоть какой-то боекомплект, и он еще прикинул, что если считать, что он уже потерял половину людей, то на каждого боеспособного могло прийти по паре, даже, может быть, по тройке гранат. «Хотя, конечно, — досказал он себе, — будет куда как кисло, если немцы в следующую атаку прорвутся на бросок гранаты».

Наверное, Чесноков сказал сестре, что его зацепило — сестра от второго танка бежала, пригнувшись, к нему, но пока она бежала, Ардатов представил себе командира немецкого батальона и злорадно сказал ему: «Дурак ты! Чего же не ввел третью роту?»

Сестра знала свое дело. Еще подбегая, она рассмотрела, что с ним все более-менее в порядке, но упав рядом, толкнув его сумкой, все-таки подбодрила:

— Сейчас я все — сейчас все сделаю! Пустяки, царапины. Натек-ка! — она дала ему попить, а когда он попил, посоветовала: — Перекур, товарищ капитан!

Ему и правда вдруг ужасно захотелось курить, он достал портсигар, тупо посмотрел на дырочку на крышке, открыл его, увидел, что две папиросы перерублены, сдвинул их, из внутренней крышки выковырял осколочек величиной с подсолнечное семечко и закурил.

— Повезло! — сказала сестра, беря у него из пальцев папиросу. — А могло быть...

Она два раза затянулась, отдала папиросу, скомандовала: «Курите, курите», — обмыла ему чем-то вроде перекиси водорода рану на голове, намазала йодом, сказав довольно: «Даже перевязывать не надо — никакого кровотечения!» — занялась боком, который, помыв и помазав, заклеила поверх марлевой подушки пластырем и быстро перевязала, оставляя четыре пальца свободными, руку.

— Хорошая свертываемость у вас, товарищ капитан, — похвалила его сестра. — У другого пустяковое, касательное, а кровит, как артериальный.

Ардатов, пока она перевязывала его, разглядел ее получше. Сестра была ширококостной — видимо, деревенской девушкой. С ее загорелого, курносого лица испуганно-озабоченно смотрели на него и по сторонам светло-голубые, как будто выцветшие глазки без ресниц, а брови и волосы у девушки были соломенные, даже чуть рыжеватые. Сестра все время суетилась, что-то делала, пряча за нужные и ненужные заботы свой страх. И курила-то она от страха, неумело затягиваясь, кашляя, смигивая слезы и отворачиваясь.

— Спасибо, — сказал ей Ардатов, когда она закончила лепить пластыри. — Теперь его, — показал он на Тырнова.

Тырнов бежал к ним, зажимая правой рукой ногу выше колена, наклонившись в эту же сторону, задевая повисшей рукой за полынью, а за ним бежал Щеголев.

— Не снимайте, резать надо! — сестра ловко расплосовала ножницами гимнастерку Тырнова от обшлага до ворота и, поднатужившись, разрежала и ворот и развела половинки, и перерезала лямку майки. — Проникающее, — отметила она, обрабатывая плечо Тырнова. — Пулю достанут в санбате. Потерпите минутку и достанут. Перекурите. Дайте, товарищ капитан, ему.

Ардатов зажег новую папиросу и сунул ее Тырнову в рот.

— Белоконь? — вспомнил он. — Как Белоконь?

— Цел, — ответил Щеголев, беря папиросу изо рта Тырнова. — Убит второй номер. В последние минуты. Казалось, все... Но они засекли нас... Я даже не видел, откуда. Мой второй ранен — хороший был парень. Жалко. Умрет. — Он затянулся так, что папироса сгорела до половины. — Дай-ка нам по целой.

— Нда-а-а... — сказал неопределенно Ардатов и дал им портсигар.

— А кого не жалко? Кого не жалко? Всех жалко, — быстро перебила их сестра. — Каждого. — Она закусила губу и продолжала бинтовать Тырнова, и когда обводила бинт вокруг его шеи, чтобы повязка с плеча не сползла, как будто обнимала его, нежно прикасаясь к его груди своей грудью.

— Сейчас они повременят. Сейчас они вряд ли полезут сразу — пока доложат, пока командир полка обдумает, пока переберосит что-то из своего резерва, пока снова сосредоточится, а может, он захочет подтянуть еще артиллерии, пока то да се — сколько-то времени у нас есть, — рассуждал Ардатов, решая за немцев. — Успех у них там, — он показал юго-восточней, откуда слышался далекий гул и куда все время летели немецкие самолеты. — И они, раз намечился успех, бросают все туда, чтобы пробить дыру глубже и раздвинуть ее пошире. Так что может им сейчас особо и не до нас.

— До поры до времени, — согласился Щеголев, наблюдая, как сестра пыталась зашпилить рукав Тырнова булавками. — Да обрежь ты его к черту! Не возись! — посоветовал он, но сестра не согласилась, возразив:

— Зачем же — обрежь? Я ведь его вдоль шва. Зашьют в госпитале. Чего же добро портить?

Она пришила рукав, чтобы он не болтался, к боку гимнастерки.

— Вася! Вася-кукурузник! — закричал Белоконь, перебегая к ним. Он кричал так радостно, как будто кукурузник мог их всех вывезти отсюда, как будто кукурузник за этим и летел. — Кукурузник! Ай да ну!

«У-2» (по тому, что обе плоскости у него были одинаковы, Ардатов определил, что это У-2, а не Р-5), подлетал к ним с левого фланга. Летчик то снижал самолет, то задирали его в горку, то опять снижал, причем, все время бросая его из стороны в сторону, и поэтому У-2 как будто плыл по штормовому морю.

Немцы стреляли по самолету, но летчик не набирал большой высоты, и Ардатов, определив, что У-2 пройдет над ними, командовал:

— Махать! Махать самолету! Подсумки вверх! Пустые подсумки вверх! Открыть подсумки! Показывать! Кричать: «Патроны, патроны!»

Когда У-2 прошел над ними, они, размахивая открытыми подсумками, тыкая в подсумки пальцами, орали что есть сил «Патроны! Патроны! Патроны!», и Ардатов заметил, что летнаб⁸, перегнувшись за борт кабины, кивнул им, как бы говоря: «Понял», «Понял — нет патронов».

[⁸ — Летнаб — летчик-наблюдатель.]

У-2, заложив вираж, сделал круг над танками, за которыми они прятались, над убитыми немцами, прошел еще раз вдоль траншеи, и летнаб опять покивал головой и швырнул горсть патронов, как бы подтверждая, что он точно знает их нужду. Эти патроны он, наверное, выдернул из ленты к пулемету, который торчал над ним, как палка, на поблескивающей турели.

Летнаба, когда он был против Ардатова, отделяли какие-то метров двадцать, Ардатов даже различил очки на его лице, парашютные лямки на плечах, как трепещут на ветру ремешки незастегнутого шлема, и Ардатов, крича по инерции «Патроны!», тыкая пальцем в пустой вздернутый над головой подсумок, позавидовал летнабу, который через несколько минут должен был быть у своих: сесть на свой аэродром, подкатить к таким же краснозвездным легким самолетикам, слезть к механикам и мотористам, пойти доложить командиру. Потом летнаб и летчик могли поесть что-то, передохнуть, покурить спокойно, все время находясь среди своих, в своей, человеческой жизни. А он, Ардатов, ничего этого не

мог — он должен был стоять тут насмерть, удерживая немцев. Но он подумал, что он со своими людьми загоразивает от немцев эту — человеческую! — жизнь, и ему стало чуть-чуть легче.

«Давайте, летите! — мысленно сказал он летчикам. — Счастливо вам, ребята».

* * *

— Дальше, голубчик? Что восемьдесят седьмая? Что Казанцев?

Летнаб, заглядывая то в свой планшет, то в блокнот с записями, продолжал:

— Казанцев докладывает, что когда они выдвигались к Дону, оба полка попали под бомбежку. Немцы сделали по ним полторы тысячи самолетовылетов. Но хотя потери в людях были незначительны — личный состав укрывался в балках и оврагах, — восемьдесят седьмая потеряла всю матчасть, весь арtpолк и очень много лошадей. Основные потери вчера — в результате атак танков и мотопехоты противника. С линии хуторов Бабурыкин — Власовка, — летнаб подождал, пока Нечаев взглядом нашел эту линию на своей карте, — отходят к Питомнику. Совместно с Орджоникидзеvским училищем. Петров ранен. Командование принял Чернышев. В семьдесят девятом полку — потери до сорока процентов.

— Та-а-а-к, голубчик, — протянул Нечаев, делая пометки на карте. — Садилась?

— Два раза, — признался летнаб. — Степь ведь. Сесть есть где. Что одно визуальное наблюдение, товарищ полковник, — добавил летнаб, как бы оправдываясь за то, что они с пилотом садилась и тем самым из двигающейся воздушной цели превращались в неподвижную земную. — Точных цифр, других данных, с воздуха не получишь. А тут — только сели у дороги, и, пожалуйста, сам Чернышев.

— Отчаянные вы головы! — сказал ему на это Нечаев. — Еще что?

— Еще... У Малой Россошки, километр на северо-восток, какая-то группа ведет бой на высоте 77,3. Группа до роты, точнее — до полуроты, — поправился летнаб. — Траншея. Перед ней четыре подбитых танка, много убитых немцев. Кто, какая задача — неизвестно. Нуждаются в боеприпасах — показывали пустые подсумки. Надо бы помочь как-то...

Нечаев нашел среди листов копии донесения начальника политотдела 87-й стрелковой дивизии, в котором говорилось, что в районе Малой Россошки 33 красноармейца во главе с младшим лейтенантом Г. Стрелковым и младшим политруком Е. Ефтимеевым остановили атаку 70 танков, 27 сожгли и подбили, уничтожили до 150 человек противника и отошли.

«Нет, это не они, то было вчера, — сообразил Нечаев. — Но такие же. — Он почему-то вспомнил об Ардатове. — Где он? Что с ним?»

Но летнаб, закрыв планшет, перебил его мысли:

— Разрешите быть свободным?

— Да. Этим, у Россошки, надо подбросить патронов. Доложите командиру, что это — приказ. Килограммов двести поднимете?

Летнаб смущенно переступил с ноги на ногу.

— Уже сделано, товарищ генерал. Пока я добирался к вам, пилот слетал. С летнабом с подбитой машины. Мы договорились.

— Спасибо, голубчик. — Нечаев подал летнабу руку. — Свободны.

От двери летнаб пояснил:

— Я не знаю насчет килограммов, сколько будет, но они должны были взять столько ящиков, сколько вместится в кабину.

Созвонившись с командиром полка штурмовиков, рассказав ему об обороняющихся на высоте 77,3, Нечаев не дал ему возразить, зная, что возражений у командира полка могло быть тысячу, и попросил, убеждая:

— Если мы и сегодня удержим Малую и Большую Россошки, мы выиграем там ночь. И без потерь выдвинем к ним все. Если отдадим Россошки, завтра днем придется развернуться восточнее. Сумеет авиация прикрыть завтра это развертывание? — Не дожидаясь ответа, который был явно отрицательный, Нечаев продолжал. — День еще долог. Они сожгли несколько танков, отбивают мотопехоту. Их обязательно надо поддержать. Если ты им поможешь, они, вероятно, удержат этот рубеж.

Вновь опережая командира полка, говоря почти за него, Нечаев закончил:

— Я знаю, что все брошено против их четырнадцатого корпуса. И все-таки подумай. Вот все, что я прошу. Эти, что рвутся к Россоскам, это, видимо, резервы для четырнадцатого, он нацелен на центр города, а из Россоски к Сталинграду не одна, а даже две дороги.

На той стороне провода не сразу, не вдруг, ответил командир полка штурмовиков: «Подумаю. Обещаю — подумаю», — но Нечаев большего просить не мог — 14-й танковый корпус немцев в районе Вертячего прорвался и вышел к Волге на линии Лотошинка — Рынок, разрезав оборону надвое. Минуту помедлив, чтобы сделать глоток остывшего кофе, закурить новую папиросу, Нечаев подумал, что поляки и французы были в Москве, а Россия выстояла. Выстояла же... Но он представил себе, как черпают котелками и флягами солдаты 14-го немецкого корпуса воду из Волги, как их фотографируют и снимают для кино, как эти солдаты улыбаются, как такие фотографии и кинокадры в спешном, экстренном порядке отправляются в Германию, где пропагандистская машина всю спекулирует ими, как грохочут аплодисменты в кинозалах немецких городов, когда, например, на экране показывают, что толстый повар заливает кухню волжской водой, и Нечаеву стало очень больно: в кухнях гитлеровцев волжская вода! Но эта боль и как бы подтолкнула его мозг — он перестал переживать, снова, в который раз думая, что все равно у немцев ничего не получится, ничего уже не получается, так как Роммель завяз под Эль-Аламейном, Лист на Кавказских перевалах, а Паулюс пробился к Сталинграду только за счет сил Кавказского направления, отчего там немцам главную задачу этого года выполнить будет невозможно.

Совсем не к месту, не ко времени Нечаеву представился Гитлер, тот несимпатичный внешне, манерный человек, которого до войны он видел в кадрах кинохроники, и Нечаев наполнился к нему презрением, как к какому-то гадкому, мерзкому выскочке, силою обстоятельств ставшему во главе страны, народа и дьявольски хитро использующему для своих целей всю эту страну, этот оболваненный им народ.

— Не получится! — твердо пробормотал себе под нос Нечаев. — Только малограмотный, упрямотупой человек мог, так принижая противника и так переоценивая свои силы, мог замыслить этот охват гигантского куска земли — Роммель через Египет и Суэц, Лист через Кавказ — Иран, чтобы сомкнуться где-то на Среднем Востоке, переводя войну в масштабы глобальной.

Как штабисту, сведущему и в оперативном искусстве, и в стратегии, Нечаеву было понятно, что дал бы немцам этот, удайся он, стратегический охват: отрезались коммуникации через Иран, по которым поступало в СССР снабжение союзников, закрыв Суэц, немцы бы перерезали кратчайший морской путь в Индию, заставив корабли огибать Африку, а нефть Малой Азии — значит бензин, масла, — топливо войны — не просто исключались бы из потенциала антигитлеровской коалиции, но и включались бы в потенциал Германии. Ради этих целей и задумал Гитлер все три одновременных удара — Роммеля в Египте, Листа на Кавказе, Клейста на Сталинград, с тем, чтобы со временем бросить вермахт из Малой Азии дальше на Восток, к Индии, а с Волги на Север — к Москве.

Можно было поражаться маниакальности Гитлера. Пожимать плечами, понимая, что все эти планы о мировом господстве все-таки бред сумасшедшего — нельзя силою оружия удерживать захваченное бесконечно, но пока все-таки немцам из вермахта и немцам из СС удавалось, выполняя волю Гитлера, продвигаться и в Африке, и на Кавказе, и здесь, к Волге. Они шли, сея смерть, оставляя после себя рвы с расстрелянными, пепелища, взамен которых устраивали аккуратные кладбища для своих убитых. Но чем дальше они уходили от Германии, тем слабее был их напор, и рано или поздно их должны были остановить.

— И отмерить той же мерой, что мерили они, — пробормотал вслух Нечаев. — И к злодеям причислить. На века. Пока жив род человеческий...

Он потребовал от телефониста разыскать начарта 35-й дивизии и, когда его соединили с ним, изложив вкратце о группе у Малой Россоски, приказал:

— ...Выдвините к ним, насколько возможно ближе, энергичного командира с тем, чтобы он управлял огнем в непосредственной близости от них. Сделать это надо немедленно. Отсечный огонь силою не менее артдивизиона по пехоте. На рубеже балка Мельничная — балка Западновская. За высотой 137,2 по дороге Котлубань — Малая Россоска подвижная группа противника силою до мехполка. Доложите комдиву. О принятых мерах по организации отсечного огня доложить не позднее чем через час. У меня все...

Казалось, солнце на чем-то висит, так медленно оно опускалось к горизонту, все так же немилосердно обжигая давно пересохшую степь, и в этой иссохшей степи ничто не двигалось, ничто не шелохнулось. Полынь и желтый сухой ковыль покрывали степь как толстый слой уже умерших растений, просто как полметра пепла, под которым умерла вся жизнь.

А где-то рядом — за каких-то три десятка километров — текла Волга, до нее был всего один дневной переход, всего один дневной переход до песчаного бережка, поросшего ивняком, в котором вовсю пели пичуги и летали стрекозы, до теплой, нежной воды, расплескавшейся на километр вширь и на сотни километров вверх и вниз, через всю Россию.

Ардатов представил, как хорошо было бы ходить босиком по этому песку, сидеть и лежать на нем, как чудно было бы входить все дальше и дальше в реку, чтобы она охватывала тебя сначала до колен, потом до пояса, потом по грудь, по подбородок и как отлично было бы, оттолкнувшись ногами от дна, поплыть, поплыть, поплыть, ощущая воду каждой клеточкой своего тела, а потом где-то на середине перевернуться на спину, так, чтобы уши были в воде, и, ничего не слыша, кроме глухого журчания, покачиваясь на легкой волне, лежать и смотреть в небо — в его бездоннейшую синеву, в которой идут чередой белоснежные, округлые горы кучевых облаков.

«Какая гадость эта война, — подумал он. — Гаже гадости не бывает!»

— Нам бы только дотянуть до ночи, — сказал Ардатов Наде. Надя сидела на ступеньке окопа, спустив ноги в траншею. Правая щека, переносица и правая половина лба у нее были закопчены пороховой гарью, а глаза смотрели устало и безразлично. — Нам бы до ночи, продержаться до ночи.

Ардатов сел на корточки рядом с Надей и покосился на ее руки — они, как будто поддерживая друг друга, лежали на ее коленях, были в глине, а правая еще и в пороховом нагаре.

Ардатов осторожно погладил эти руки — тонкие пальцы и запястья. Надя не отдернула их, Ардатов только почувствовал, что руки Нади настороженно замерли у него под ладонью, и он нежно пожал их.

— И что тогда? — спросила почти неслышно, как выдохнула Надя.

Ардатов подумал, а как ей ответить, что изменится, когда придет ночь, он и сам не знал, что изменится, ведь могло же ничего не измениться! И он сам был не очень уверен, что они доживут до этой ночи. Но ему надо было говорить Наде хоть что-то утешительное, не мог же он просто ничего не говорить!

— Ночью могут подойти наши. Или мы отойдем к ним. — Он сказал это тихо, чтобы слышала только Надя. — Что ты думаешь, там, — он махнул в сторону тыла, — нет частей? Там, знаешь, их сколько? Там, знаешь, сколько наших? Прилетал же самолет... Главное — мы их остановили. Вот что главное...

Самолет и правда прилетал. Тот самый У-2, Ардатов узнал его по большой треугольной перкалевой заплате на левой плоскости и по несколько разного размера круглым на правой.

Самолет прошел над их траншеей, и летнаб, как подарки, ронял им, перегибаясь из кабины, патронные ящики. Хотя самолет шел низко и летнаб старался уронить ящик так, чтобы он ударился углом, ящики все-таки разбивались и, отпрыгивая, вываливали из себя блестящие цинковые коробки. Но патронам ничего не делалось, они годились, и Ардатов, радостно суетясь, стараясь заметить, где упали все ящики, бормотал: «Вот молодец! Вот спасибо! Вот молодцы!...»

— Живем, братцы! Живем! — суетился и Белоконь. Он с помощью малой саперной лопатки вскрывал цинки и раздавал патроны. — Живем, братцы!

— Зажили! — передразнил Белоконя Просвирина, уже отойдя от него со своей долей. — Зажили! Собаку нажили. А то сами лаяли!

— Что? — мрачно протянул Белоконь. — Что ты сказал, дешевка? — Он в один прыжок оказался рядом с Просвириным и, схватив его за ворот гимнастерки, тряхнул так, что у Просвирина заболталась, словно наполовину оторванная, голова. — Как дам между рог — глаза выскочат!

Белоконь занес кулачище и если бы действительно дал в то место, где у человека могли бы расти рога, то и правда, у Просвирина глаза бы выпрыгнули.

Лицо Просвирина посерело, он хрипел, беспомощно хлопая глазами. Но Жихарев легким, вроде бы даже небрежным рывком дернул Белоконя за плечо, и Белоконь, отлетев, упал на ящик.

В их положении эти патроны значили очень много, возможно, все: последний шанс отбиться, продержаться до ночи. И в слове Белоконя «живем», употребляемом обычно по мелочам, сейчас был заложен прямой, главный его смысл — жить.

Белоконь, как разведчик, сотни раз ставил себя под смерть, и в нем постоянно и сильно, как ни в ком из них всех, жило светлое чувство солдатского товарищества. Рывок поисковой группы через ничью землю, скитания по ближним тылам фрицев — ночью ли, на раннем рассвете, в сумерках ли или страшно рискованно днем — день, два, три, пяток таких дней — делали всех в группе почти братьями. И тон Просвирина, смысл издевки как будто ударили Белоконя в лицо и в сердце.

По-кошачьему мягко Белоконь вскочил и, как будто где-то в немецкой траншее, как будто подбираясь к сонному часовому, чуть согнувшись, левым плечом вперед, слегка выставив левый локоть, пошел к Жихареву, поднимая правую руку с лопаткой.

О, это было отличное оружие — малая саперная лопатка. Ее короткий, отполированный солдатскими ладонями дубовый черепок был всажен в кованый раструб, приклепанный к стальному прямоугольнику. Крепчайшая, увесистая в хороших — сильных и ловких руках лопатка в рукопашной была страшным оружием. Лопаткой рассекали не только шею до позвонков, но и сами позвонки, словно стебель подсолнечника, она входила в череп, если не как в арбуз, то как в сухую глину. А у Белоконя и были такие руки — Белоконя, поди, инструкторы рукопашного боя сто раз учили, как действовать малой саперной.

— Отставить! Белоконь! Назад! — быстро скомандовал Ардатов. — Ко мне! Ну!

Белоконь опомнился. Он опустил лопатку, весь обмяк и, глубоко вздохнув, остановился и обернулся к Ардатову. На его лице беспощадность сменилась выражением растерянности, и скажи Жихарев сейчас ему: «Ладно, погорячились мы, извини, брат!» — и Белоконь, конечно, сразу же отошел бы душой, подхватил бы добрые слова. Он, наверное, сказал бы тоже что-то вроде: «Меня извини! Черт попутал!»

— Я, товарищ капитан... Вы видели...

— Ладно! — Ардатову не нужны были объяснения.

— Раскрывай, — приказал он, ткнув пальцем в сторону ящика.

Но ни Просвирин, ни Жихарев не сказали ничего, что могло бы как-то смягчить стычку. Наоборот, Просвирин, которого Жихарев подталкивал, как гнал перед собой, повертев в воротнике шеей, собрав рассыпанные патроны, не глядя никому в глаза, ушел, бормоча:

— Ну, погоди! Дай срок! А срок скор... Господи, да помоги ты мне!...

— Вы на него не обращайтесь внимания! — объяснительно сказал Жихарев Ардатову. — Чумной он! Кабы не я... — Жихарев сделал жест, который должен был означать полнейшую безнадежность, и чмокнул губами, подкрепляя этот жест. — Кабы не я... Ну, чумной и чумной! Что с него взять, товарищ капитан. Вы уж забудьте!

«А этот ничего, — решил Ардатов. — Нянчится с психопатом».

— Никуда не отлучаться. Ясно? — приказал он Белоконю. — Твое место здесь.

— Есть, — поборов новую вспышку, ответил Белоконь. — Но я этой чувырле...

— Брось! — отрезал Ардатов. — Не связывайся!

Ардатову было неприятно, что все это видел и Ширмер, он покосился на него, но Ширмер, поймав его взгляд, кивнул, слегка развел руками и в подкрепление к этому жесту скривил угол рта, как бы говоря: «Бывает. Чего на войне не бывает. Чего вообще на свете не бывает? А так, вообще, все, дескать, в норме...»

Была та пауза, которая наступает в бою, когда атакующие устали атаковать, а их командиры убедились в бессмысленности понуждать их делать это и должны были искать или иное решение, или усилить атакующих, на что в обоих вариантах требовалось время.

Ардатов, воспользовавшись этой паузой, перебросил всех, кто остался жив, с линии танков снова в траншею, потому что маленькие, разрозненные под танками кучки уже не управлялись и представляли по отдельности, как растопыренные пальцы, силу, крайне слабую. Он стянул всех в ту часть траншеи, которая примыкала к ПМП, где майорша и медсестра, насколько могли, обхаживали раненых, сняв с Ардатова эту заботу, прикрыл жидкой цепочкой из сорока шести найденных Белоконем мин подступ к этому куску траншеи, раздал бутылки с горючей жидкостью, усадил несколько красноармейцев набивать диски к майоршиному пулемету, который теперь для них оставался единственным, так как к немецким патронам было так мало, что он приказал эти патроны распределить тем, у кого были трофейные винтовки, и приказал Тягилеву, Васильеву, Таличу и еще двум красноармейцам похоронить или, во всяком случае, перенести подальше от теперешней их позиции убитых.

Это, конечно, было тяжкое дело, Васильев косо, почти зло, посмотрел на него, Талич отвернулся, оба других красноармейца хмуро уставились на свои сапоги, но Тягилев проявил такую странную готовность, что Ардаатов уверился, что все будет сделано в лучшем виде.

— Действуйте! Быстро! — приказал он.

— Как же иначе! Как же иначе! — Тягилев, как ненужную вещь, как помеху, отставил винтовку к стенке и всплеснул руками. — Земля еси, и в землю отыдеши... И все человецы пойдем! — Он остановился, сделал было два шага, и махнул на убитых немцев. — А энти бусурмане пушай так! Пока не засмердят!

Занимаясь с другими красноармейцами минами, Ардаатов видел, как Тягилев с помощниками сносят убитых в слепой, недорытый ход сообщения, как укладывают их там, присыпая землей со стен и брустверов, и слышал, как тонким голосом, каким-то детским, нежным дискантом поет, не переставая, два совершенно разных куплета Тягилев:

— Ай ду-ду, ду-ду-ду-ду! Потерял мужик дугу. На зеленом на лугу потерял мужик дугу!... Сударыня-барыня, отрежь полотенца, отрежь полотенца накрыть малыденца... — Дальше Тягилев колыбельной не помнил и, сказав, ласково строжась: — Спитя! Спитя все! Я вам ужотка! — начинал другую песню. — Эх, кожух, рама! Шатун с мотылем! Возвратная пружина! Приемник с ползуном!...

Через сколько-то времени к Ардаатову подошел Васильев. Он был мрачен, левый глаз у него как-то произвольно дергался, и Васильев должен был придерживать этот глаз грязным пальцем.

— С Тягилевым плохо. Кажется, он того... Увести бы его оттуда, товарищ капитан! — не предложил, а потребовал угрюмо Васильев.

— Уведите! — согласился Ардаатов. — Чесноков! — крикнул он. — Помоги Васильеву. Тягилова — к раненым. Пусть майор сделает ему укол.

— Сейчас! — Прилет самолета, патроны подействовали на Чеснокова возбуждающе. Он снова сиял, как будто это не его давил в окопе танк, как будто не его рвало после этого чуть ли не до желчи. Радость в Чеснокове была просто неистребимая.

— Знают, да, товарищ капитан? Значит, знают про нас? — переспрашивал его Чесноков, хотя Васильев и смотрел на него угрюмо. — Могут дать подкрепление, да? Да, товарищ капитан? А тут эти шипели, что мы брошены, мол, мясо мы пушечное и все такое. Жалко, Белоконь ему не двинул. В следующий раз вы, товарищ капитан, разрешите его немного проучить!

— Кто шипел? — быстро переспросил его Ардаатов. — Кто?

Чесноков махнул вбок, показывая направление, куда ушли Просвирин и Жихарев.

— Они, трепачи те же! Кто же еще. Жихарев да Просвирин. Дружки подобрались. Оправляться по двое ходят! Зато когда остаются сами, грызутся, как собаки. Я шел — они меня не видели — и слышу: «В другой раз, если пошлют опять с тобой, я тебя просто пришью и весь сказ!» Это так Жихарев говорил, а Просвирин ему в ответ: «Я тебя, вошь уголовную...» Что он хотел сказать дальше, не знаю, они меня услышали. Видели бы вы, как Просвирин смотрел потом! Живьем готов был проглотить! Нет, товарищ капитан, их надо проучить! Не так чтоб очень, а немного надо. Тут про нас знают, тут патроны, тут мы их, — он кивнул на убитых немцев, — удерживаем, а они трепятся!

— Он так и сказал: «вошь уголовная?»

— Ну да, — закивал Чесноков, — «Я тебя...» Нет, — уточнил он. — «Я тебе, вошь уголовная...» Так он сказал.

— Пошли, пошли, — сказал ему Васильев. — Пошли же! Выполнять! — сказал он тоном Ардаатова.

«Ну, а что я могу с ними сделать? — соображал Ардаатов. — Предположим, они не те. Разоружить? Допрашивать? Отделить их, обыскать тщательно? Белоконь, Щеголев, я, Чесноков, — прикидывал он, кого привлечь к этому делу. — "Вошь уголовная", — повторил он про себя. И такой отобран для службы в контрразведке! Хотя, конечно, он просто рядовой — стоять на посту, конвоировать. Велик ли с него спрос? Самый мелкий исполнитель. А может, он служил в охране лагерей уголовников и эти словечки оттуда... Но только не на глазах Ширмера», — решил он.

* * *

«Лихо! Ай-да лихо!» — думал Ардаатов, следя в бинокль за тем, как из Малой Россоски, петляя по степи, к ним мчится, газуя вовсю, мотоцикл с коляской. Мотоцикл кидало на кочках, но мотоциклист-водитель, не сбавляя хода, гнал, припав к рулю, словно на какой-то сумасшедшей гонке, врезаясь в

попынь и ковыль, сбивая с них пыль, оставляя за собой хвост дыма и этой пыли, отчего казалось, что мотоцикл от натуги горит.

Немцы запоздало ударили по нему из минометов, но мины рвались или далеко сзади него, или в стороне, или слишком впереди, и Ардатов, представив себе, как торопливо-зло крутят ручки наводки немецкие минометчики, с издевкой сказал им: «Промажете все равно, сволочи!» Конечно, немцы стреляли по мотоциклистам и из винтовок, но тот, кто сидел за рулем, бросал машину влево, вправо, как будто выполнял сложные повороты в этом бензиновом слаломе.

Ардатов знал, что мотоциклистам за ревом мотора не слышно пуль, прикинул, что в таких гонщиков и из винтовки не очень-то попадешь, и сказал опять, на этот раз немцам-стрелкам: «И вы промажете, сволочи! Конечно же, промажете!... А снайпер бы сбил! Со второй, с третьей, но сбил бы, — подумал он. — Хорошо, что его самого сбила Надя! Молодец девочка!»

Все нераненные и те раненные, кто мог, выглядывая на секунды из траншеи, смотрели, как приближается к ним мотоцикл и, конечно же, у всех на душе полетчало, все обнадежились, потому что сам дымно-пыльный след этого связного был для них ниткой, которая соединяла их со своими.

— Наши! — кричал, радостно приплясывая, Чесноков, забывая, что высовываться нельзя, и выставяясь под пули. — Наши! Как жмет! Подкрепление! Подкрепление будет!

— Пригнись! — крикнул ему Ардатов. — Голову!

Когда до них оставалось с полкилометра, мотоцикл вдруг резко остановился, тот, кто ехал в люльке, махая в стороны руками, что-то — Ардатов не мог разгадать именно что — что-то поделал, потом отшвырнул какой-то предмет, мотоцикл снова по-суматошному рванулся, как будто не то нахватался нужного ему воздуха, не то накопил новых сил, и сделал это как раз в пору. Немцы целились в него с упреждением на скорость, и во время остановки мотоциклистов мины немцев веером легли значительно впереди него, но за остановку наводчики довернули прицелы, и, обожди мотоцикл на месте еще мгновения, они бы накрыли его. Но пока мины летели по поправленной траектории, мотоцикл умчался вперед, и они ударили за ним.

— Лихо! — снова сказал себе Ардатов, хорошо уже различая и того, кто припал к рулю, и того, кто лежал животом на задней части люльки, спиной к ним, удерживая в руках телефонную катушку, следя за тем, чтобы при всех бешеных эволюциях машины провод сматывался с нее равномерно, — оборвись этот провод, и надо было бы останавливаться, чтобы стачать его, и, наверное, немцы бы уже с такого расстояния не промазали.

«Они останавливались, чтобы срastить провод, когда кончилась первая катушка, первые полтысячи метров кабеля. Ну, живем! — радостно подумал Ардатов. — Связь есть, теперь есть связь!» Но он все-таки быстро покосился на солнце — солнцу до горизонта еще оставался порядочный кусок неба.

Мотоциклисты на предельном газе подлетели к траншее, водитель, рванув руль, заложил вдоль нее дугу и, дернув декомпрессор, зачихал цилиндрами, отчего мотоцикл потерял сразу скорость, и оба мотоциклиста не спрыгнули, а свалились в траншею. Еще падая, один из них, тот, кто вел мотоцикл, крикнул:

— Осторожней, телефон!

— Вроде все цело, — сказал он, стоя на одной ноге, поднимая, как гусь, другую простреленную в икре, и осматривая телефон.

Это был молоденький лейтенант, у которого на петлицах рядом с кубиками были эмблемки из старинных пушечных стволов.

— Связь! Дать связь! — приказал он своему пассажиру, сержанту, упавшему в траншею с катушкой, на которой оставался последний и неполный ряд кабеля.

Сержант быстро присоединил провод к клемме и крутанул ручку.

— Есть связь! Есть! — доложил он и сказал в трубку: — Еще бы полсотни метров, и все впустую!

— Мотоцикл вниз! Быстро! — приказал всем Ардатов.

— Расширить траншею! Землю только вниз! Не демаскироваться! Вызвать сестру!

Оставленный на виду мотоцикл был вехой, давал немцам точный ориентир, где проходит траншея, поэтому те, кто стоял ближе всего к мотоциклу, начали лихорадочно резать, копать, рубить стенки, и очень скоро Белоконь, лежа на животе за мотоциклом, подталкивая его сзади, и еще несколько красноармейцев, подтягивая мотоцикл на себя, свалили его боком в образовавшуюся яму, так что теперь мотоцикл, как и все, кто был в траншее, стал невидим для немцев.

— Тпру, лошадка! Тпруу! — похлопал мотоцикл, как шею лошади, Белоконь. — Передохни, милая. Спасибо, что довезла нам...

— Молись, святое воинство! Молись, пехота! — перебил его связист, передавая трубку лейтенанту. — Молись, чтоб связь не рвалась, и будете, как за каменной стеной.

Все еще захваченный ожесточенным ритмом, лейтенант закричал в телефон:

— Ухо! Ухо! Ухо! Ухо! Я — глаз! Я — глаз! Вы? — горячо и радостно спросил он кого-то на том конце проволоки, видимо, хорошего своего знакомого или товарища. — Видели? Да, жал газ до предела. Я же говорил! Ого-го! — вдруг сказал он по-иному. — Больно, ломит.

Из согнутой ноги лейтенанта, чуть выше голенища хромового сапога из маленькой дырки в брюках быстро капала кровь.

— Нет, не вам, — крикнул лейтенант в трубку. — Это я так.

Он, изогнувшись, секунды разглядывал свою продырявленную ногу, как капает из нее кровь и как эта кровь смачивает утоптанное глиняное дно траншеи.

— Готовы? — спросил в трубку, отвернувшись от ноги, лейтенант и, передав трубку связисту, дернув кнопки чехла бинокля, подкрутив барашек резкости, начал командовать:

— Репер номер один! По реперу!...

— По реперу! — повторил связист, привычно устраиваясь полусидя, полулежа на дне траншеи.

— Гранатой, взрыватель осколочный, угломер 42–80, прицел 64, уровень 30–00. Первому, один снаряд... Огонь!

— Гранатой! Взрыватель!... Угломер!... — эхом откликнулся связист, передавая команду на батарею.

Снаряд разорвался правой и дальше крайнего, того самого танка, который Ардатов подбил первым, этот танк и служил лейтенанту репером.

— Ай-я-яй! — пробормотал лейтенант и дал поправку: — Левее 0–06, прицел меньше 4. — После второго снаряда он приказал: — Стой! Записать установки!

— Действуй! — сказал сестре Ардатов, когда она протиснулась, приподняв над головой сумку, между мотоциклом и стенкой. — Ножницами. Пусть пристреливается. И побыстрее, ладно? Сейчас они опять полезут!

— Ясно! — Сестра, поддернув юбку, стала на колени у ноги лейтенанта, мелькнули ножницы, сестра ввела одну их половинку в пулевую дырку на штанине, надавив на каблук, положила носок сапога себе на юбку, и полоснула ножницами брюки сначала вверх-вниз, а потом поперек, так что мокрый кусок брюк обвис, и обнажилась сухая мальчишеская икра.

— Репер два! — скомандовал лейтенант, но тут сестра положила на икру тампон, и лейтенант обернулся. — А-а-п-п! — сказал он, как будто подавился воздухом, и сразу же изогнувшись, подул на икру, как дуют на ушибленный палец! — Нельзя ли поосторожней?

— Нельзя! — Сестра сдвинула по бинту второй тампон так, что он прикрыл выходное отверстие. — Не в детской поликлинике! Командуй! Командуй! Да не дергайся. — Она туго обвела бинт вокруг икры.

— А-а-а-п! — снова задохнулся лейтенант, поглядел растеряно на Ардатова, дескать, что это за такое отношение, дескать, это никуда не годится, но не встретив сочувствия, проглотил возмущение и продолжал командовать:

— Репер два! Угломер... Прицел...

Чтобы лейтенанту было легче переносить боль, сестра, когда он, пристреливая второй репер, делал паузы, бинтуя, говорила ему:

— Разве это ранение? Фи! Тебе просто повезло. Другой бы позавидовал, а ты еще... Как фамилия, имя, отчество? Мне надо тебя записать. На фронте не только артиллерия записывает установки!...

Лейтенант удивленно посмотрел ей на затылок, потом вновь на Ардатова, как бы спрашивая: «Что, на фронте все сестры так себя ведут, так пренебрежительно разговаривают с комсоставом?» Но тут следующий пристрелочный ударил уже хорошо, и лейтенант, перехватив у связиста трубку, закричал в нее:

— Записать установки! Да, все! Привет канонирам-бомбардирам! Ладно, не маленький! Отставить разговорчики!

— Так как же твоя фамилия, имя-отчество? — переспросила его сестра, завязывая концы бинта бантиком. — И номер полевой вашей почты.

Лейтенант, цепляясь за стенки, неловко сел.

— Рюмин, Всеволод Васильевич Рюмин. 236-й отдельный полк АРГК — артиллерии резерва главного командования. Полк, особо отличившийся под Тулой. Правда, лично я там не участвовал, но...

Несмотря на боль лейтенант все еще внутренне мчался на мотоцикле, и тот гоночный темп пока звенел в его душе, потому что этому лейтенанту было всего года на три больше, чем Чеснокову, — было двадцать один, двадцать два, — и, судя по его «хромочам», специально укороченной гимнастерочке, фуражечке с крошечным козырьком и заниженной тульей, несомненно, сделанной на заказ где-то в тылу, судя по тому, как он залихватски носил ее, — по-кавалерийски, ремешок под подбородок, — лейтенант и в войне был еще очень зелен.

«Ничего, — смирился с этим Ардатов, прощая Рюмину и его шик, и его зеленость, и его хвастовство, прозвучавшее в словах "артиллерия резерва главного командования". — Лишь бы стрелял хорошо!»

— Заградогонь по рубежам, — объяснил лейтенант Ардатову, хотя этого и не требовалось, это и так было понятно. — В случае необходимости — целым дивизионом. Сейчас они вычислят для первой и третьей батарей. Они это быстро сделают: какие-то минуты, успеют. Вы тут здорово держались. С ПНП⁹ мы видели, но без приказа... — Рюмин, как бы извиняясь, пожал плечами. — У нас полтора БК, так что если полезут... Огонь дивизионом — это знаете... будет крепко! — Он посмотрел на повязку. — Черт, не повезло. И надо же!...

[9 — ПНП — передовой наблюдательный пункт]

Огонь, заградогонь дивизиона, — это и правда могло быть крепко, если еще учесть, что у него было полтора боекомплекта, и предположить, что командир дивизиона не станет трястись над каждым залпом.

Ардатов наклонился, назвал себя и подал лейтенанту руку.

— Из какого училища? А, слышал, Первое Ленинградское — хорошее училище. Наверное, досрочный выпуск? Сиди, сиди, тебе пока и надо сидеть. Когда полезут, тогда и встанешь. И зря над бруствером не торчи.

— Да, досрочный! — подтвердил лейтенант. — На четыре месяца раньше. И весь взвод — в один артполк! Здорово, правда? Все ребята — свои!

Что было там, в этом полку АРГК, Ардатов знал — взвод таких лейтенантов разлетелся по дивизионам и батареям полка, как парашютики с одуванчика. Но за короткую формировку, еще более короткую дорогу к фронту все эти новенькие лейтенанты не вошли еще в иную для себя ипостась — командиров. Они во многом все еще оставались вчерашними курсантами, которые между зубрежкой перед выпускными экзаменами гоняли на плацу в футбол, вечерами удирали на часок в самоволку к девушкам, а попавшись, отхватив за это наряд вне очереди, драили полы казармы. И, служа в полку, служа честно, со рвением юности, стараясь делать все на «хорошо» и «отлично», эти лейтенанты пока жили не его жизнью, а жизнью училища. Встречаясь, они говорили о нем, писали письма преподавателям, еще видели его во сне. Что ж, это училище стоило того, чтобы его помнить — отличное в Ленинграде здание, традиции, великолепный преподавательский состав.

И для таких, как Всеволод Рюмин, курсантов довоенного набора, комсомольцев и значкистов до единого, эвакуация из Ленинграда и выпуск там, на востоке, не играли роли. Они были ленинградцами и в Кирове, и в Свердловске, и в Уфе.

— Вы мне связь обеспечите? Обеспечите, товарищ капитан? Главное — связь! — сказал Рюмин, все-таки поднимаясь. — Ого! — поделился он тем, как больно ему ступать. — Если будут обрывы, я не смогу управлять огнем.

Ардатов помнил фамилии двух связистов и, не видя поблизости, крикнул:

— Варфоломеев! Николичев!

Ища их, он заметил за спинами столпившихся в траншее сосредоточенное лицо Жихарева. Казалось, Жихарев решает в уме какую-то важную задачу, но как только Жихарев встретился с ним взглядом, его лицо сразу же приняло выражение подчиненного, готового слушать и слушаться.

Николичев был легко ранен, осколок рассек ему кожу на шее, и он был перевязан так, как будто мучился ангиной. Но его руки-ноги были целы и для задачи он годился.

— Поступайте в распоряжение лейтенанта Рюмина! — сказал Николичеву и Варфоломееву Ардатов. — Все его приказы — выполнять беспрекословно! Задача — обеспечить связь! Ясно? Поищите, может, где-нибудь есть обрывки кабеля. Пригодятся.

— Да, уж если он на лапшу порубит — тачать придется. Пошли, — сказал Николичев товарищу, и они ушли искать эти обрывки.

— Я свободна? — спросила Ардатова сестра, он кивнул, и сестра, обернувшись, поздравила лейтенанта: — С первым боевым ранением! Кость цела, вена тоже. Сделают тебе рассечение, и через месяц будешь танцевать вальсы.

— Что это еще за рассечение? — огорчился Рюмин, не зная, конечно, что сквозную рану икры в ППГ¹⁰ рассекут у входного и выходного отверстий, чтобы не было газовой гангрены, да сделают это под местным наркозом, так что ему придется покряхтеть, да протянут через рану — насквозь икры — кусок смоченной чем нужно марли, да в ГЛР¹¹ будут эту марлю время от времени менять, не давая скапливаться гною, так что Всеволоду Рюмину на перевязках без всяких наркозов придется не только покряхтеть, но и постонать; словом, Рюмин еще не видел, что его ждет впереди, что ждало впереди каждого раненого, если он благополучно выбирался из зоны боев и по дороге в тыл не попадал под бомбежку.

[10 — ППГ — полевой передвижной госпиталь]

[11 — ГЛР — госпиталь легко раненых]

Но дело было совсем не в этой боли, которую Рюмину предстояло испытать. Огорченный тон лейтенанта объяснялся другим: уж очень быстро он отвоевался — какие-то минуты на мотоцикле, и все для него кончилось. Он, знал Ардагов, наверняка хотел побыть в боях дольше, он, наверное, и письма еще не успел отправить, в котором в верхнем углу мог бы поставить слова «Действующая армия». Ему, конечно, хотелось, чтобы такие письма получили и его родители, какие-нибудь почтенные ленинградские папа и мама, если они не умерли от голода, в блокаде, если эвакуировались еще до голода. Хотелось, конечно, Рюмину, чтобы и девушка, с которой он гулял, ходил на танцы, целовался во время нечастых увольнений из казармы, тоже получала такие письма и переживала за него, а он бы, между прочим, писал так, пустяки — о товарищах, например, о погоде, о том, что читать совершенно некогда, о своих подчиненных, писал бы все так, чтобы военцензоры не могли придаться, но чтобы между строк сквозили бои и сражения и его, Всеволода, непосредственное участие в них. И чтобы девушка читала такие письма подруге и чтобы ответы девушки приносили прямо на боевую позицию его батареи.

А тут вдруг — в первый же день! — на тебе, ранен. Да не в первый же день, а в первый же час! И может же так человеку не повезти! Так быстро отвоеваться! Да ведь зайдя разговор о том, как и где, в каких боях ты был ранен, и рассказать стыдно! Вернуться в тыл, так быстро вернуться не то что без ордена, а даже без медали! Позор! Позор! Как людям-то на глаза показываться? Ардагов знал, что Рюмин думает так или примерно так — не первого такого лейтенантика он встретил.

— Нельзя ли без него? Без этого рассечения? Мне оно ни к чему! Как рыбе зонтик, — огорченно спросил лейтенант.

Сестра, старая фронтовичка, переглянулась с Ардатовым: «Приехал мальчик поиграть в войну, а война-то, оказывается совсем не то, что ему представлялось... Получил пулю в икру и возмущается. А если бы в лоб? Или в область живота? Или в горло?»

— Там решат. Может, и не будут делать. Тогда вальс через три недели. Хотя и прихрамывая. Сойдет?

Сестра, конечно, говорила это просто так, как говорят все сестры раненым — для поддержки, чтобы человек не раскисал, но Рюмин не раскисал, в такой поддержке по молодости не нуждался, воспринимал все это всерьез, больше того, как панибратство.

— При чем тут вальсы! — сердито возразил он. — Свободны. Можете идти, старшина. Спасибо.

Он крутнул телефон.

— Ухо? Ухо? Я — глаз! Проверка связи...

Ардатов заглянул к нему в блокнот, запоминая установки. Он знал азы артиллерии, разбирался достаточно, чтобы при нужде, по готовым данным, имея блокнот лейтенанта перед глазами, передать команды на батарею. Прицел 60 означал самый дальний рубеж заградогня, прицел 58 приближал разрывы на сотню метров, так как каждое деление прицела равнялось на местности полусотне. По команде «Прицел 54» снаряды должны были рваться всего в каких-то ста с небольшим метрах от траншеи, а чтобы они ударили по ней, надо было всего лишь скомандовать «Прицел 52!». И только. Всего ничего.

— Как там? Как у вас? — спросил он сестру, отвечая ей взглядом: «Они в тылу не знают, что такое война, и очень хорошо, что не знают, иначе их трудно было бы послать сюда, иначе им трудно было бы прийти сюда. А так они, видишь, приходят. И помогают нам, кто уже все это знает и сами узнают, и становятся такими же, как мы, приобщаясь к фронтовому братству, где ты стоишь не столько, сколько у тебя рангов, а столько, сколько в тебе мужества и товарищества. Простим ему это мальчишеское

самомнение — он ведь вроде ничего. Пока вроде ничего — держался хорошо и вроде бы и дальше будет так держаться. Видишь, хоть и дует на рану, зато говорит: "Вы мне связь обеспечьте!"»

— Одного потеряли. — Сестра разровняла носком сапога комочки глины у себя под ногами. — Проникающее осколочное в печень. Тяжело отходил... А что в этих условиях можно сделать? Когда пантопона каждый укол на счету? Иглы обжигаем в спирту.

— Что ж, отмучился, — сказал Ардатов о том, кто тяжело отходил из-за проникающего осколочного в печень, думая, а, может, было бы лучше, если бы все люди знали, что такое война, знали так, как они, фронтовики, которые не раз, а миллионы раз проклинали ее и вслух и про себя, потому что война не заслуживает ничего, кроме проклятий. Знай все люди, что такое война, как фронтовики, быть может, войн на земле никогда бы не было. Нет, решил он, человечество странная штука, поколения не принимают эстафету прошлого, а живут каждое своей историей, хотя и выходит из этого прошлого. Как из семечка дерево, для которого прошлое — это земля, это ведь в ней зародилось оно, дерево, но все, что над ней, над землей, смены года, суток, ливней, ураганов — дерево должно испытать само.

«Эк тебя занесло! — остановил он себя. — В абстрактное философствование. "Поколения не принимают эстафету прошлого!" — передразнил он себя. — Да они рождаются друг из друга! И всегда последующее — умнее предыдущего, потому что и знает, и понимает, и, может, больше. Поэтому-то человек и идет по восходящей. От члена стаи, через рабство, через эксплуатацию одного другим к обществу свободных — равных. К земле людей, к земле равных и свободных людей. А эти фрицы, — он опять поправился: — эти гитлеры и гитлеровцы — хотят остановить человека! Хотят на тысячу лет сделать мир, землю миром, землю господ и рабов. И — Германия превыше всего! Deutschland, Deutschland uber alles! Тьфу!»

Разговор о спирте, наверное, натолкнул сестру на дельную мысль.

— Вы хоть что-нибудь ели? Ели, товарищ капитан?

— Что? Ел? — Он вспомнил. — Нет.

— А есть еда-то?

— Есть. Целый мешок. («Надо раздать. — подумал он. — Надо накормить людей»). Поможете? — спросил он.

— Нет, — ответила сестра. — Нечем. Так, с полвещмешка сухарей, да пара банок сгущенки. Спирта вам принести? Грамм триста, наверное, можно выделить. Еще остался. Принести?

— Несите, — сказал Ардатов, он вдруг почувствовал, что и правда хочет есть так, что сосет под ложечкой. — Неси все, что можешь. Сухари тоже еда.

«От шестидесяти до пятидесяти четырех! — повторил про себя Ардатов. Нет, до пятидесяти двух. — поправил он себя, но тут же отогнал эту цифру, сказав себе, — Может, не придется! Может, не, придется!»

— Связь обеспечу! — сказал Ардатов лейтенанту, думая, что, первое, Рюмин будет держаться молодцом, что на такого можно вполне положиться, и, второе, что для того, чтобы ему обеспечить связь, надо будет все время следить, чтобы когда Николичев и Варфоломеев выйдут из строя, у Рюмина были бы под рукой другие люди, кого он мог бы посылать чинить линию.

«Если даже каждый связист продержится по полчаса, — прикидывал Ардатов, беря очень сомнительное число минут, которые может прожить бегущий, ползущий по линии связи красноармеец, когда немец бьет беспощадно и рвет не то что человеческое тело, распластанное в открытой степи, но и попадает осколками в тонкий кабель, — если даже по полчаса, то надо минимум десяток человек. Но все-таки связь — главное. Без нее все пропадем. А вот когда солнышко сядет...»

— Репер один, это танк, так? Где репер два? Репер три? — спросил он, все еще вглядываясь в ровные, твердо написанные цифры в блокноте Рюмина.

Мины немцев ложились у самой траншеи, то чуть не долетая, то чуть перелетая ее, и когда их веер рвался, швыряя свистящие осколки, Ардатов и Рюмин наклоняли головы к блокноту еще ближе. Но в паузу им пришлось высунуться.

— Репер два — почти середина высоты, там, где видите, она изгибается, где вроде бы заливчик без воды. Крайняя, дальняя от нас точка этого заливчика была точкой пристрелки. Третий — правее двести метров. Видите две воронки, одна возле другой? Да, вроде восьмерки. Левая из них — репер три. А зачем это вам? — спросил Рюмин, закрывая блокнот. — Стреляющий я. Я буду вести огонь. Так положено.

— Будешь, будешь, — успокоил его Ардагов. — Вот это мне не нравится. — Он показал на пролетевший над ними «костыль». — Пошел искать ваши огневые. Догадаться, что ты пристреливался. И если он найдет дивизион, он вызовет по рации «Юнкерсы».

— Не найдет! — уверенно возразил Рюмин. — У нас полный комплект масксетей, батареи зарыты и замаскированы. У нас делают все как надо! У нас отличный командир! Капитан Белобородов. Он, знаете...

— Ишь ты? — восхитился Ардагов. — Все как надо? Ну, дай бог. Но раз «костыль» полетел, раз они теперь ищут батареи, сюда они не полезут, пока или не найдут их, или не перестанут искать. Полчаса мы имеем. Может, минут сорок. Передохни. Белобородов, говоришь? Капитан Белобородов? Хорошо. Запомним. Передохни!

— Я не устал, — не согласился Рюмин. Он все смотрел на свои репера. В профиль он казался еще моложе — так, паренек, нацепивший для форсу фуражку да еще затянувший ее под подбородком ремешком. — Вы тут здорово... — Он показал блокнотом на срезанных из пулеметов немцев. — С мотоцикла их как-то не было видно.

— Теперь видно? — спросил Щеголев. — Панорама что надо. Почти как защита Севастополя в ту, турецкую, кажется, войну. Не видели панораму?

— Мы старались. Рады стараться, товарищ лейтенант, — доложил Белоконь. — Знали, что приедут экскурсанты. Мы...

— Неси мешок мой, — приказал ему Ардагов. Он не хотел, чтобы Рюмин почувствовал отчуждение Белоконя и Щеголева, они были пехотинцами и сто раз слышали насмешливое «Эй, пехотка, не пыли!» Артиллеристы, не говоря уже о танкистах, так подсмеивались над пехотой, оттесняя ее с дороги к обочинам.

Конечно, артиллеристам на маршах было легче — всегда можно было подъехать на зарядном ящике, или на станине пушки, даже если их везли лошади. Если же артиллерия была на мехтяге, то расчеты ехали на машине. Глядя с них — сверху вниз — на растянувшиеся роты, отоспавшиеся в кузове артиллеристы посмеивались над пехотой: «Пехота, не пыли!» Пусть даже хлестал дождь или на дороге лежало полметра снега. И, конечно, Рюмин, в представлении Белоконя лейтенант-картинка, мог получить сейчас от него все то, что полагалось расчетам на грузовиках.

— Развязывай. Доставай. Дели! — сказал Ардагов, когда Белоконь принес вещмешок. — Порцию лейтенанту. Чесноков, помоги.

Рюмин, поморщившись, сел и вытянул раненую ногу вдоль стенки. Он следил, как Белоконь режет финкой хлеб, как Чесноков ложкой кладет на ломти горочки консервов, стараясь, чтобы горочки получились более-менее одинаковыми.

— На меня не надо, — заявил Рюмин. — Я сыт. Здорово заправился. У нас на завтрак была перловка с мясом. По полкотелка. У нас в дивизионе хороший повар. Хорошо моет котел. Каша пахнет, как каша. А чай не пахнет кашей. Или баней. — Так как Белоконь и Щеголев могли сомневаться, говорит ли он правду, что сыт, или миндальничает, он повторил: — Честное слово, я сыт. Вот бы чаю, хотя... — Он поправился: — Откуда здесь чай! Но воды... Вода есть у вас?

Белоконь теперь мог управиться сам, и Ардагов сказал Чеснокову:

— Сбегай на ПМП, принеси свежей. Скажи, если могут, пусть дадут сухарей, хоть сколько-нибудь.

— Сестра обещала спирту, — как бы между прочим вставил Белоконь.

Ардагов обошел вопрос о спирте.

— Пошли сюда Надю, — только и сказал он.

Это дало право Белоконю подмигнуть Чеснокову и передать ему еще одну пустую фляжку.

Надя пришла как раз тогда, когда Белоконь доскребывал последнюю банку консервов. На сложенной вдоль плащ-палатке лежало двадцать пять порций. Порции получились — так себе, пятиклассников ими еще можно было бы накормить.

«А мешок казался здоровым, — подумал Ардагов. — Да, где пекарь? Может, он поделится?»

— Тырнов, — крикнул он. — Тырнов? Где этот, пекарь? Как его... Ленько? Где он?

— Лунько, — поправил Тырнов. Он сидел почти у конца их траншеи, у самого поворота в такой же позе, как Рюмин. — Убит. Зачем он вам?

— Так, — неопределенно ответил Ардагов. — Так... Просто...

Но Тырнов, видимо, вспомнив их ночной разговор, видимо, сообразив, что Ардагову нужно, договорил:

— Если мешок, он здесь. Кто-то принес. Кажется, в нем есть сухари.

Белоконь, ломая сухари, приложил каждую их порцию к хлебу, так, чтобы было видно, какие куски сухарей к какому ломтю. Еще у пекаря нашлось с полкило копченой колбасы и мешочек сахару, тоже с полкило. Остальное место в мешке занимали новый комплект обмундирования, заготовки на яловые сапоги, две пары белья и три куса мыла. Но это было несъедобным, как и кое-какая мелочь пекаря — писчая бумага, конверты, бритвенный прибор, три химических карандаша, пачка писем из дому, плотно перевязанная бинтом. Все это Белоконь небрежно затолкал обратно.

Вспомнив, что он говорил Лунько ночью насчет ног, Ардатов подумал: «Раз зимних портянок нет, значит, он все-таки намотал их. Значит, он лежит в двух парах. Что за глупость!» — отогнал он от себя эти мысли.

По цепи уже прошел разговор, что делают еду, и к тому месту тянулись красноармейцы, которые утром докладывали Тырнову, что у них нет продуктов. Не очень теснясь, деликатничая, они незаметно посматривали, как действует Белоконь, и когда он неловко понес ложку с консервами и консервы упали на землю, ближний к Белоконю красноармеец выдохнул: «У!», — было сделал движение — выбросил ладонь лодочкой, чтобы подхватить на лету консервы, но, не успев все-таки, смущенно отступил.

— Бери, — сказал Ардатов Наде. — Три порции. — Он уже заметил, что из двадцати с утра беспродуктивных у него осталось половина — сколько-то было ранено, а раненому с сутки обычно плевать на еду, и сколько-то не пришло, потому что навсегда лишились забот о еде. — Бери, — повторил он. Он хотел, чтобы Надя побыстрее ушла.

Она смотрела, закусив губу, прижав руки под грудью и, как будто что-то перетирая, тихо-тихо терла ладонь о ладонь и то смотрела, как Белоконь на доске от патронного ящика режет финкой колбасу и ловко втыкает ее ломтики, чтобы не сваливались, прямо в консервы, то смотрела в лица ожидающих еду красноармейцев, то себе под ноги, то снова на всех их. Глаза у Нади блестели от слез. Она было хотела что-то сказать, но Белоконь скомандовал ей:

— Брать с краю. Все одинаковые. Как в аптеке на весах. — Он вытер финку об доску, потом об голенище и ловко, не глядя, сунул ее в чехол. Чехол у него висел сзади, над правым бедром так, чтобы, если надо было упасть или ползти, финка не мешала бы, а выдернуть ее было легко.

«Хорошо, что Наде никогда не догадаться, для чего еще он использует эту финку! — подумал Ардатов. — Скольких фрицев он ею заколол?»

— Если Чеснок приволокет сухарей, мы тебе выделим пайку, — пообещал Белоконь. Он сделал широкий жест, как бы не то собираясь сказать речь, не то приглашая полюбоваться на его дележку. — Бери, пока мы не передумали. И цени пашу доброту. Сахар, объявил он всем, — в кружки. — Он развязал мешочек. — Ложки по две хватит. А тебе сахар куда? — спросил он Надю. — Да хоть в косынку, — решил он за нее. — Снимай косынку. Быстро! — сказал он как Ардатов.

Красноармейцы, все деликатничая, лишь переступили поближе, видимо, ожидая, когда Надя возьмет свои порции и отойдет, и тогда можно будет, не стесняясь, им тоже получить и, отойдя в сторонку, поесть.

— Не берите! Минутку! — сказала вдруг Надя! — Я сейчас! Только пусть никто ничего не берет! Я сейчас!

Она рванулась туда, где был Старобельский и примчалась от него, обнимая свой рюкзак. Порывисто, в одно движение, она шмякнула рюкзак на бруствер, порывисто же, в одно движение, рванула застежки, выхватила полотенце и бросив его как скатерть, выложила, действуя все так же стремительно, здоровый кусок сала, обернутый в чистую тряпицу, неполную банку меда, горку пресных лепешек и десяток луковиц.

— Вот! Это наш вклад, — сказала она стеснительно и радостно. — Это, — она прикоснулась к банке, — тувель, мой бальный тувель. Нам за них дали две банки, одну мы съели и вторую тоже начали, так что это даже не целый тувель, а без каблука. Это, — она потрогала лепешки и раскрыла тряпочку, чтобы показать сало, — это дедушкины часы. Вот! — Она выхватила из кармашка куртки заднюю крышку от больших серебряных часов. — Вот, — показала она Ардатову, Щеголеву и Белоконю крышку так, что они могли прочесть «Г.В. Старобельскому. За труды на пользу товарищей». Буквы были каллиграфические, со старомодными завитушками. — Понимаете, в хуторах не продают еду, то есть кто продает, но многие не хотят денег, не верят уже в них, а на вещи дают. А крышка как раз отломилась,

ну я... Им же надо часы, а не надпись, — объяснила она. — Я хотела, чтобы дедушкина память осталась. — Надя закрыла клапан рюкзака и отступила. — Режьте. По сколько получится. А мед можно тоже ложкой.

Белоконь посмотрел на Надю, на Старобельского, который, взяв у нее крышку и относя руку подальше от глаз, шевеля губами, прочитал посвящение, много лет назад сделанное ему его товарищами инженерами-путейцами. Лицо Старобельского стало сосредоточенным и довольным, как если бы он только вчера получил дарственные часы с такой красивой надписью и еще не успел к ней привыкнуть. Потом Белоконь посмотрел на Ардатова.

Ардатов чуть покачал головой: «Нет».

Белоконь завернул сало и потянул у Нади рюкзак.

— Ты очень сознательная, это понятно, как же ты можешь быть несознательной, если комсомолка, мы все это понимаем, но... — Белоконь взял сало и начал засовывать его в рюкзак. — Побереги-ка ты это все на потом. Давай, давай, не отталкивай. Слушайся старших! Ну же!... Вот ведь какая упрямая!...

Надя вдруг уронила рюкзак, и, переступив через него, дернувшись к Ардатову, стала вплотную к нему, так что ее поднятое сейчас к нему лицо было совсем близко, на какую-то ладонь от его подбородка (он даже чувствовал им тепло ее дыхания) и, качая от отчаяния головой, все так же стиснув руки под грудью, глядя на него полными слез глазами начала умолять:

— Ну возьмите же, ну возьмите! Ну пусть возьмут! Я понимаю, Константин Константинович, я вела себя гадко, я вела себя просто отвратительно, когда говорила всякие глупости, что нет пушек, нет пулеметов и все-все остальное! Но вы простите меня, простите, а, Константин Константинович? Я понимаю, я обидела вас, всех обидела, но я была глупой, и вы простите меня... А, простите, пожалуйста, простите, простите меня... Пусть возьмут! Пусть возьмут!

Глянув поверх ее головы, Ардатов видел, что Старобельский точно так же, как Надя, судорожно стискивая пальцами крышку от часов, держал руки под грудью.

«У них в семье все так, — подумал он. — И ее мать, и брат тоже, наверное, так делают. Делали», — поправится он.

— Режь. Дели, — приказал он Белоконю. — Дели!

— Мы же от души, от чистой души! — уверял Белоконя Старобельский, помогая ему развернуть сало. — Как перед богом! А вы — такое! Святое дело, уверяю вас, святое дело. Да как бы мы могли?..

«Да, они бы потом долго бы не могли опомниться, если бы мы отказались. Это — как удар в сердце. Шрам навсегда, только вспомни», — подумал Ардатов, все еще опасаясь посмотреть в мокрые глаза Нади.

— Спокойно, — сказал он ей. — Спокойно. А где Кубик? Ага, пришел! Дадим и тебе, дадим. Обязательно дадим. Ты хороший? Ты хороший? Ах ты, пес! — Он потрепал его по затылку, и Кубик, прижавшись головой к его ноге, замер, перестав даже махать хвостом. — Ах ты, добрый пес!

— Ему бы сейчас сахарную кость кило на два! — помечтал за Кубика Белоконь, полосуя сало. — Эх, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!

— Хлеб да соль, — услышал Ардатов голос Просвирина.

Он стоял за последними красноармейцами. Раньше его не было, он только подошел. Он стоял, пританцовывая, с ухмылочкой, словно бы ничего между ним и Белоконем не произошло.

— Ем да свой, а ты рядом постой! — как обрубил Белоконь. — Или ты тоже принес в общий котел? Что молчишь? Нечего? Видел я ваши сидора! Жмоты! Кулачье!! — Он и раз, и два, и три покосился на Просвирина, раскладывая сало и куски лука, и то, как он косился, обещало Просвирину безрадостное будущее.

— Да известно, вы все глазастые: видите, знаете, понимаете, — отшутился Просвирин.

«Изобьет же до смерти, — подумал Ардатов, — и сделает так, что и свидетелей не будет. Разведчик же!»

— Как хорошо! — сказала ему Надя. — Спасибо, Константин Константинович. Вы тогда приняли нас, но сейчас... Сейчас тут легко, — она погладила там, где у нее было сердце.

«Но сначала ты спасла мне жизнь», — вспомнил Ардатов, как она застрелила фрица-спортсмена, который, не выстрелив в него Надя, заколол бы его, заколол, как пить дать. У него от шеи к поясице побежали мурашки, а на боках выступил холодный пот. «Но вот спасу ли я тебе жизнь, я не знаю, — мелькнуло у него в голове. — И удержу ли этот кусок земли, до ночи удержу? Но все-таки надо удерживать!» — приказал он себе.

— Вон Чеснок, товарищ капитан, вон Чесноков! — перебил его мысли Белоконь. — Давай, давай, Чеснок, а то не достанется, — подзадорил он Чеснокова, который одной рукой тащил в вещмешке совсем немного сухарей, а в другой руке несколько фляжек с водой и, как потом оказалось, одну со спиртом.

— Порцию еды — пленному! — приказал Ардатов Белоконю. Он не не смотрел на Ширмера. — Бери, Надя. Спирт? — переспросил он Чеснокова. — Как они все там — майор, остальные? Ничего? А Тягилев? Ну, пусть спит. Дай-ка кружку. Лей, хватит. Теперь воды. Щеголев, хлебнешь? Тырнов? Зря. Ты, лейтенант? Хотя нет, тебе надо светлую голову, а то еще перепутаешь репера. Вообще не пьешь? Что ж, тогда извини нас... Ну, будем все живы!...

Спирт был противным — теплым, и пить его было просто гадко. Но потом, минут через пять, когда он подействовал, стало хорошо — как-то спокойней, равнодушной.

Они — Ардатов, Щеголев, Белоконь, Тырнов, Чесноков сидели все на дне траншеи, опираясь спинами о ее стенку, и ели, держа еду на коленях.

— Ну, что «костыль»? Чесноков, глянь, где он, — попросил Ардатов, опуская голову и все медленней дожевывая, отгоняя дрему.

От спирта и еды захотелось спать, и Ардатов, подумав: «Дьявол с ним, со всем!... Хоть десять минут!» — прилег, опираясь на локоть, и закрыл глаза, только теперь начиная ощущать, что он устал, как собака. «Ночь топали, не присел спокойно, — оправдывал он себя. — Пошло оно все к дьяволу!»

— Не видно! — доложил Чесноков. — Еще не видно. Где-то стороной пролетел. А может, его сбили! И горит где-нибудь, сволочь! А летчика зацапали! — помечтал Чесноков. — А, товарищ капитан? Как думаете? И поволокли в плен! Допросят, где их аэродромы, сколько каких самолетов, а потом в тыл — пусть повкальвает где-то на лесоразработках. Ведь правильно же? Да, товарищ капитан? — Белоконь дал Чеснокову глотнуть спирта, и от этого глотка Чеснокова бросило в разговоры. — Или на строительстве железной дороги. Или еще где нибудь, но пусть повкальвает на нас! Правда, Белоконь?

— Правда, правда, — снисходительно заверил Чеснокова Белоконь, поливая из фляжки сухарь и откусывая от него половину. — Святая правда! Тебе бы, Чеснок, в пропагандисты. Пойдешь? Попросим за него, товарищ капитан?

— Ну тебя, — пробормотал Ардатов. — Продолжать вести круговое наблюдение! Щеголев, ты артиллерию знаешь? В том смысле, что если придется передать данные на батарею?

Щеголев вяло дожевывал. Он тоже хлебнул спирту и его тоже клонило в сон.

— По блокноту смогу. Но я еще потолкую с Рюминым.

— Ага, — решил, наполовину засыпая, Ардатов. — Пусть растолкует. Главное — запомни установки на последний рубеж. Если от прицела еще отнять два — будет на сотню метров ближе. Каждое деление прицела равно полста метрам на местности. В случае чего — на себя.

— Угу! — мрачно согласился Щеголев. — Если они выбьют нас отсюда в степь, перестреляют, как котят. А так... Так, может, кто останется.

— Правильно, — кивнул Ардатов. — Другого выхода нет. Сначала положат пулеметами, а потом, лежащих, добьют минами.

Ардатов повернулся лицом к передней стенке, так что почти касался ее носом, и сразу же запах земли, дьявольски приятный, несильный запах перебил вонь горелого пороха, взорвавшегося тола, подгорелой, там, где рвались мины, бомбы, снаряды, полыни.

Немцы перестали по ним стрелять, наверное, ожидая, считал Ардатов, что сообщит им «костыль», «Шторх» - вспомнил он название этого самолета. Было тихо, и Ардатов спал хорошо, сладко, — наверное, это было от спирта, а может, и от запаха земли. Расслабившись в душе, — ему казалось даже, что он чувствует, что она внутри него как-то отмякла, разнапряглась, как пружина отзвеневшего будильника, — Ардатов уснул и за каких-то десять минут насмотрелся снов, причем, никакого отношения не имеющих к войне. Ему зачем-то виделись зенковские дома в Алма-Ате — продовольственный магазин на улице Горького и бывшее офицерское собрание рядом с парком, чуть выше его дом архиерея, и зенковский же собор. После него он зачем-то долго блуждал по берегу Казачки за зоопарком, где почему-то были волейбольные площадки, очень похожие на площадки школы, и сама школа, в которой его отец преподавал географию, и в которой он учился. Он увидел даже класс, свою парту, как он сидит за ней, и удивился во сне, что возле доски, спиной к многочисленным схемам и рисункам по истории, стоит Старобельский, который им говорит:

— Есть люди, и их много, особенно среди старой нашей и заграничной нынешней интеллигенции, которые давно отчаялись в человечестве...

«Ай да дед! Ай да дед! — подумал во сне Ардатов. — Ишь, о чем он!...»

— Весьма похвально, — продолжал Старобельский, — что людям свойственно стремление понять себя. Осмыслить тот мир, в котором они существуют, его законы, понять смысл и предназначение в нем человека. Но прискорбно то, что много отличных умов приходят к неверному выводу. Они говорят, что обезьяна, которая спит в каждом из нас, в конечном итоге, побеждает. История дает много примеров, как бы подтверждающих все это, и то, что творится сейчас на земле, тоже как бы подтверждает, что человек творит зло, как пчела творит мед! Что на земле нет страшнее врага у человека, чем он сам, что он — этот враг, непобедим. Что предназначение человека — извечная борьба с самим собой, в которой, чем дальше мы уходим от животного, тем чаще будет побеждать зло...

* * *

Ардатов проснулся, помигал, разглядывая глину, которая была прямо перед его глазами, по глине ползали какие-то странные букашки, и он глупо спросил себя: «А что они едят?» И повторил: «Человек творит зло, как пчела творит мед».

Он даже вздрогнул, когда очень четко услышал, очень четко, негромкий голос Старобельского, который продолжал:

— Сейчас, когда немцы, когда их фашизм творит ежечасно, ежесекундно, в миллионах точках земли зло, казалось бы, подтверждается заключение тех, кто считает, что человек болен, обычный — любой человек — болен врожденной склонностью к злу и зверству.

Ардатов представил, как Старобельский и Надя сидят за поворотом траншеи, как Старобельский грустно все это говорит, как грустно же она его слушает, и как его слова, отталкиваясь многократно от стенки к стенке, затихая, падают к нему.

— ...Что человек расплачивается за первородный грех и будет вечно в долгу у него, что человек, оторвавшись от природы, выпал из ее разумной необходимости, стал худшей ее частью, средоточием порока, жестокосердия, бессмысленности и поэтому, кроме того, что его бытие бессмысленно, оно еще и ступок тьмы...

После консервов хотелось пить, от короткого, полупьяного сна голова была тяжелой, в ней уже заскакали мысли о том, что вот-вот снова ползут немцы, что осталось мало людей, что сумеет ли их прикрыть рюминский дивизион, что надо бы, не откладывая, пройти по всей позиции, посмотреть, что и как, поддержать, подбодрить людей, что солнце, как проклятое, будто его кто держит на нитке, все стоит на месте, не опускается, но Ардатов, снова сказал себе: «А пошло оно все к дьяволу!» — закрыл глаза, прислушиваясь:

— Зло живет в человеке, как какие-то гормоны. Человеческий организм вырабатывает зло, как, предположим, пот. А коль скоро природа человека неизменна, неизменно и вечно и зло в ней... — говорил Старобельский. — Но это не так, но это, Надежда, не так! — начал говорить он быстрее и напряженней, как бы опасаясь, что ему не дадут досказать. — Зла, несомненно, в человеке много, в каждом из нас оно есть — эгоизм, жадность, жестокосердие, но ведь сколько в человеке добра! Как велик он! Сколько светлых, прекрасных дел он свершил и свершит! Ведь, если есть фашизм, фашисты, то ведь есть и мы — не так ли? Есть эти люди, с которыми мы... мы, быть может, вместе... сегодня...

Он пропустил это страшное слово, но Ардатов догадался: «Умрем...»

— Ты слышишь, как он чешет? Слышишь, Чеснок? «Сколько светлых и прекрасных дел он свершил и свершит!» Как по писаному. Как в клубе на лекции, — забубнил у Ардатова почти над ухом Белоконь, и Ардатов пропустил все то, что шло за словом «умрем».

— Не чешет, а говорит, — возразил Белоконю Чесноков. — У тебя такая красивая фамилия, а говоришь ты некрасиво: «Чешет!», «Шухры-мухры».

Белоконь хлопнул Чеснокова по плечу. Ардатов вздрогнул.

— Ах, ты мой красавчик! — На Белоконю спирт, видимо, подействовал просто подбодряюще. Белоконю тоже хотелось потреться. — Не ходи ко мне матаня. Не заглядывай в окно. По утрам моя маманя варит свежее толокно, — пропел он.

Ардатов сел.

— Кончай!

— Есть кончать! — согласился Белоконь, и Ардагов услышал еще отрывок из того, что говорил Старобельский Наде:

— Но что главное во всех добрых и светлых делах человека? Что основа в них? — Старобельский сделал паузу, как бы давая время Наде подумать. — Стремление служить не себе, а другому, другим. Человек, Надя, велик только тогда, когда он не живет ради себя. Именно тогда и умирает в нем обезьяна, и начинается человек. Когда он готов за друга живот положить...

Конечно, больше нескольких секунд Белоконь молчать не мог. Спирт требовал разговоров.

— Мне он, этот дед, кажется, товарищ капитан, как король трэф. Такая же бородача, и смотрит так же: как-то сразу и строго и добро. Только тощий, несчастный какой-то. Но что он наш — ручаюсь. Хотя и из благородных. Это видать. Но ведь теперь голубая кровь, как говорится, нужна только для заправки авторучек.

— А может, как король Лир, — возразил Чесноков. — Тот тоже несчастный.

— Лир? — переспросил Белоконь. — Такой масти я не знаю. Это что, пятая? Как значок у муззвода? Он меня разыгрывает, этот Чеснок? Да, товарищ капитан?

Белоконь, соблюдая одновременно и почтительность к старшему, и в то же время некое равенство, созданное обстоятельствами, в которых они все — по большому счету — были равны, ждал разъяснения насчет этой пятой масти. Он даже наклонил голову чуть набок, и Ардагов должен был ответить.

— Нет, это не масть, не карты — Лир был человек. Старик. Не живой, а герой одной книги. Вернее, драмы Шекспира. В общем, был порядочный человек, который жил среди подлецов.

— Не читал, — признался Белоконь. — Нет, не читал. Даже, не слышал. Я ведь из лесорубов. — объяснит он, как бы извиняясь. — Вообще-то хорошо почитать интересную книжонку, но, бывало, так надергаешься за пилу, намахаешься топором, что рад добраться до барака да на нары.

— А в отпуске? — запальчиво спросил Чесноков. — Эх, ты, темнота!

— А что в отпуске! — возразил Белоконь. — Отпуск ость отпуск. Значит отдых. Охота и прочее. Но разик я съездил в санаторий. По путевке. Эх-ма! — вспомнил он. — Ливадия, Алупка, Черное море. Шашлычок по-карски. Винцо: пей — не хочу.

— Да!... — мечтательно протянул Белоконь. — Другой раз вспомнишь и не веришь, что была такая жизнь. Вы-то сами были на море? — спросил он Ардагова. — Нет? Но может, еще побудете. Как в сказке. Едешь себе в купе, в окно поглядываешь, пивко потягиваешь, а у самого пачка денег, а впереди — черт знает что и эта штучка с ручкой. Станции, вокзалы, буфеты. Публика по перрону прогуливается... И радио объявляет: «Граждане, едущие в отпуск — ресторан направо.

— Граждане, едущие из отпуска, кипяток налево! — вставил Щеголев.

При всей нелепости этого объявления, при всем несоответствии его к их нынешнему положению, Ардагов не мог не усмехнуться.

— Ну, что ж...

— И целый день в одних трусах на берегу. Ходишь среди купальщиц самоваром!... — делился своими воспоминаниями об отпуске Белоконь.

Положив руки на бедра и оттопырив локти, он изобразил этот самовар.

— Кто ты там — директор, летчик или кэкэпэ — не важно. Там, у моря, не это главное...

— Кто это, «кэкэпэ», — спросил, не поняв Чесноков.

— Сам ты темнота! Чернорабочий. «Кто-куда-пошлет», — объяснил Белоконь. — А вечером — на бульвар, туда, где все тебе, словно опились травы для присухи, косоротят любовь! Знаете, есть такое, говорят, приворотное зелье, бабки варят. Знаешь, Чеснок? Нет? Берегись ого! Имей ввиду, присушит какая-нибудь кикимора, и — пропал ты!...

— Там сейчас, в Ливадии, фрицы, — бросил Ардагов. — Они ходят самоваром.

С лица Белоконя сбежало выражение беспечности, он насутился, но все так же держа руки на бедрах, посмотрел в сторону немцев и сплюнул.

— То-то и оно, что не мы! Мы тут вроде кротов. Не до шашлычков. — Он еще раз сплюнул. — Но ведь и нельзя же им такое подарить насовсем! Больно жирно жить будут! Как бы у них от жиру печень не заболела! Говорят, жир для печени вредный. Ничего, капитан. Отобьем...

— Отобьем, — согласился Ардагов, думая, что, конечно, они рано или поздно, но и Крым отобьют, как и все остальное, но в то же время никак не будучи в силах избавиться от нелепейших слов Белоконя насчет приворотного зелья, насчет того, что кто-то кого-то может опоить или присушить к себе.

«А если она, Валентина, именно опоила меня? — глупо подумал он. — Да нет, глупость. Но ведь не все и так просто, не так-то легко и понять все это!»

* * *

Понять, и верно, было трудно.

С Валентиной он сблизился в госпитале. Она пришла с шефами от школы, пришла в палату с дюжиной старшеклассников.

Все в его палате уже не считались тяжелыми, то есть могли ходить, садились к длинному столу, который занимал центр палаты, обедать, резаться в домино, вечером добирались до клуба, где им крутили кино или давался концерт силами самодеятельности.

Если кому-нибудь делали повторную операцию или делали третью или четвертую, то оперированного помещали в другую палату, к таким же беднягам, чтобы ему никто не мешал настонаться и чтобы он не мешал выздоравливающим спать.

Так как каждый проходил этот путь, то ничего обидного в нем не усматривалось: за неделю, кто и раньше, человек приходил в себя — боль спадала, муки заканчивались, и его переводили на прежнюю койку. На ней он и лежал еще сколько-то: месяц, два, три, пока его или не списывали из армии или не выписывали в часть или в резерв. Словом, жить было можно, если бы не заедала скука.

Как раз дней за десять до прихода шефов Ардатов был переведен из послеоперационной на свое место и, как говорила одна нянечка, вновь увидел свет. Раны уже не болели так сильно, они просто ныли, к этому можно было притерпеться, а если человек, выбрав удобное положение, не дергался резко, то боль почти затихала, и жизнь становилась вообще сносной.

Когда Ардатов добрался до этой ипостаси раненых, пришли шефы. Он нуждался в книгах и был рад шефам, хотя ему, как и всем в палате, было неловко от того, что детвора так старалась для них. Детвора шила кисеты, добывала махорку, чтобы насыпать в эти кисеты, пекла домашнее печенье из пайковой муки, на пайковом же жиру жарила рыбу, которую ребята ходили ловить специально для них.

Шефы с запалом читали им стихи про войну, про преданность Родине, про то, как надо умирать, а не сдаваться, и про то, что они готовы, когда придет их черед, ехать на фронт, где, доказывая преданность своей Родине, будут умирать, но не сдадутся...

После стихов девочки и ребята смущенно рассказывали про субботники и воскресники в фонд обороны. Раненые уступали им места за столом, но так как вся детвора не помещалась на стульях, кое-кто, отнекиваясь сначала, сел и на кровати.

К Ардатову сели две девочки, робко устроившись на самом краешке, и ему было и смешно и трогательно их видеть так близко. Ему все хотелось погладить их по детским головкам, по хрупким плечикам.

Кто-то из раненых предложил вместе поужинать, предложение всей палатой было поддержано, на кухню отправилась делегация с требованием разложить ужин раненых на число всех ртов. Дежурный по кухне сдался, и хотя порции получились микроскопическими, печенье плюс жареная рыба плюс эти порции составили неплохой ужин, который присутствующими был съеден без остатка.

Раненые смотрели, как, скрывая голод, уничтожала еду детвора, и подвигали ей кусочки покрупней.

Когда детвора ушла, палата всем вдруг показалась странно большой, странно тихой и очень пустой.

Потом, уже не так официально, а проще и не в таком количестве, а сменными тройками, пятерками детвора навещала их раз-два в неделю. К ней привыкли, узнали многое о ее житье-бытье, с ней сжились, как с какими-то не то мелкокалиберными друзьями, не то племяшами и племянницами. Если же шефы почему-то долго не появлялись, все начинали испытывать беспокойство, обсуждали причины задержки, потом кто-то пробивался к телефону начальника госпиталя, названивал в школу, говорил, что соскучились, просил прийти.

Что ж, это тоже была человеческая жизнь, и Ардатову было жаль расставаться с ней. Ему было горько, что в следующий приход шефов кто-то из них, увидев, что его место занято другим, скажет: «А Константин Константинович?.. Выписался?» И, быть может, пожалеет, что его уже нет, что он далеко, но пожалеет не надолго, на какие-то секунды, потому что на Ардатове не кончалась же жизнь. Ее дела, ее заботы были бесконечны, и к одному чему-то свести ее было нельзя, к тому же детвора не свойственно жить прошлым и, конечно же, никто из вихрастых, худых мальчишек и никто из худеньких девочек, не

вспоминал его с грустью. А вот он вспоминал их так. Для него они были страничкой жизни. Он дорожил этими страничками, потому что сами по себе они были прекрасны и потому что сколько оставалось вообще страничек в его жизни, было неизвестно.

Так вот, там, в госпитале, и началось все с Валентиной.

Он нуждался в книгах. Еще в первое посещение шефов он попросил Валентину принести книг, она пообещала, выполнила обещание, потом регулярно или приносила их сама или пересылала с учениками.

Когда он стал выходить из госпиталя, они как-то случайно встретились. Было неудобно отделаться простым «Здравствуйте», и Ардатов пошел проводить Валентину. Как позднее она призналась ему, она искала встреч с ним и, конечно же, находила такую возможность. Крохотный городок обойти не представляло труда, да и главным местом гуляний была железнодорожная станция, куда вечером сходились раненые и местная молодежь. Там, возле рельс, пахнувших дорогой, паровозами, мазутом, короталось время в танцах под гармошку, в ухаживаниях, в прогулках к семафорам и за них, через поле, к роще.

Ардатов был как все, разве что не танцевал лихой фокс «Моя красавица мне очень нравится, с походкой легкою, как у слона», но «дамский вальс», торжественно объявляемый гармонистом, не мог отказать Валентине.

Дамский вальс представлял девушкам шанс показать, кто им нравится, и Валентина не теряла этого шанса.

Кружась с ней по асфальтовой площадке, разговаривая, он видел, что нравится Валентине, он чувствовал, как она доверчиво держит свою ладонь у него на плече, как нежно лежит у него на руке. На станционном асфальте кружилось много пар, их толкали, и на секунды Ардатов ощущал своей щекой ее лицо, и ее грудь своей грудью. От этого начинало колотиться сердце, а впереди были длинный летний вечер, беззаботность, шумящие кроны деревьев, тишина, уединенность, покой нетронутых войной усыпанных лесными цветами полей.

Валентина жила на окраине в узком двухэтажном домике, который нескладно торчал над остальными. Этот дом был тоже деревянный, и все в городке называли его «скворешник». В «скворешнике» на втором этаже Валентина занимала просторную комнату с окнами в двух стенах, и ночью, через окно в комнату смотрело мною звезд.

Их отношения приобрели странные очертания — ни он, ни Валентина не говорили о завтра. Все их слова касались или конкретных дел, связанных с приготовлением ужина, или госпитальных событий, или школьных забот, или сводок с фронта и вообще разговоров о войне.

— У тебя есть семья? — лишь однажды спросила Валентина.

— Есть, — ответил он.

Вот и все, что они сказали на эту тему.

Он мучался потом, думая, что все-таки это, видимо, плохо — не быть верным жене. Его не трогали шуточки ребят, когда он на рассвете лез через окно в солдатскую палату, чтобы, пройдя через нее, подняться на второй этаж в свою. За две недели до выписки он вообще приходил утром, когда госпитальная дверь открывалась. Никто ничего не мог ему сделать — госпиталь был наркомздравовский, из военных в нем служил лишь контуженный комиссар, который понимал фронтовиков. Ардатов ждал резерв, за ним — дорога в часть, в конце этой дороги — фронт. Чем же его могли испугать?

— Это не очень красиво, — как-то сказал ему начальник госпиталя, тонкогубый маленький горбун. — Конечно, многие это делают, но тем не менее это не очень красиво.

— А год не видеть жену — это красиво? — спросил его Ардатов. Горбун был женат на громадной зубной врачихе, известной в госпитале под именем «Торпеда». — Подайте рапорт по начальству, чтобы выздоравливающим делали уколы от любви, уколы от всего, что в них есть человеческого, — добавил Ардатов презрительно. Горбуна-начальника не любили за способность бесшумно появляться в укромных местах, где раненые очаровывали сестер и санитарочек. Горбун, появившись вот так бесшумно, обычно не делал замечания, а здоровался, кривя губы в улыбке, и справлялся, все ли у сестры или нянечки на работе благополучно. После такой заинтересованности девушки пулей летели на свои места.

Для Ардатова дело было не в официальной морали. Он должен был решить для себя: худо это или не худо? Он как-то любил Валентину и видел, что она любит его, их отношения были отношениями возлюбленных, но ведь, в конечном итоге, считал Ардатов, отношения мужа и жены это тоже отношения возлюбленных, лишь законченные.

Ардатов готов был дать голому на отсечение, что Валентина могла бы быть его женой, если бы они встретились до войны, до того, как он стал семейным. Что же аморального было в их отношениях? Ардатов не находил ничего, кроме неверности жене. Но в этом была повинна война. Протivoестественная по своей сути, она сломила, исковеркала естественную жизнь миллионов, но была неспособна изменить, исковеркать человеческую природу, жажду человека жить по-людски.

Война расшвыряла семьи по разным концам страны, отгородила супругов сотнями, тысячами километров, месяцами, годами разлуки, и тем самым истончила нити, связывающие жену и мужа, рвала эти нити, подставляя взамен соблазны.

Как же было грешному человеку, человеку, а не фанатику, устоять против них? Ведь длинный вечер в чистой тихой комнате, немного спиртного, скромный ужин, ночь, женщина, которой ты дорог и которая поэтому нежна с тобой, чистая постель, стук крови в висках от того, что рядом с твоим плечом, рядом с твоим бедром ее бедро, плечо, объятия, от которых хрустят ее косточки, шепот: «Ты мой, ты мой, люблю тебя всего, люби меня...» — долгий сон рядом, — ее руки заброшены тебе на грудь, лицом она уткнулась тебе в шею, и доверчиво спит, растворенная тобой, твоим телом, твоей силой, и лишь слабо пытается тебя удержать, когда ты пошевелишься, — как можно было отказаться от всего этого, как можно было лишать себя всего этого, если впереди Ардатов видел только войну, не зная, когда и как она кончится для него.

Эти вечера для него могли быть последними. Эти ночи могли быть тоже последними. Эта женщина могла быть для него последней.

Он был виноват перед женой, но невиновен перед жизнью, которую вот-вот у него могли отнять.

Иногда он думал, а как бы он отнесся, если бы поменялся местами с женой, и как бы ни было ему горько, он решил, что не осудил бы ее.

Поменяться местами с ней означало, что и она, его жена, мать его дочери, должна была попасть в число всех их — фронтовиков. В число приговоренных к смерти. Ведь все они — фронтовики были приговорены к смерти, хотя приведение в исполнение приговора зависело от случая. Случай решал, кому и когда надлежало быть застреленным, разорванным снарядом, раздавленным танком, кому остаться жить искалеченному, кому посчастливится выйти из войны целым. Включив жену в число фронтовиков, мог бы он судить ее за какие-то крохи радости, за какие-то щепотки человеческой жизни, даже если бы эти крохи, эти щепотки давал бы ей кто-то другой, в то время как смерть висела бы над ней, как сейчас над ним, над его товарищами, над миллионами, живущими во фронтовой полосе?..

Нет, он не осудил бы жену.

Он считал, что кто-то, может, многие, наверное, смотрят на все это иначе — осуждающе, что многие видят в этом его понимании жизни слабость, но он не был таким сильным, как они.

«Не все же могут быть одинаково сильными, — говорил он себе. — Может, я слабее их. Конечно же, слабее. Что ж, куда теперь денешься?»

Думая над всем этим, он, ненавидя войну, ненавидел немцев еще глубже. Но ненависть была чувством, а рассудок говорил ему, что только смерть немцев может изменить его жизнь, жизнь его семьи, жизнь людей, с которыми он был рядом и которых он и в глаза не видел, и потому он должен воевать, воевать, воевать, пока последнего немца не застрелит он или его товарищ по армии или не выбьют у этого последнего немца из рук оружие. В этом был смысл войны вообще. А смысл войны здесь, у Малой Россошки, сводился для него сейчас к приказу, который он отдал себе и всем, кто был с ним: «Продержаться до ночи! Удержать эту высоту!»

Она ведь тоже составляла часть его земли, отдавать ее было нельзя. Везде, куда лезли немцы в его стране, в Африке, в Европе — везде надо было удерживать каждый клочок земли, потому что из этих клочков и слагались страны, на каждом этом клочке надо было убивать немцев, чтобы потом идти и отбивать у них, опять же истребляя их, все то, что немцы успели захватить, подмять под себя, что они топтали своими сапогами, угрожая каждому пулей или виселицей. И хотя и его, Ардатова, могли убить, он гнал мысль о своей смерти, отодвигая ее необходимостью делать что-то конкретное в каждую конкретную минуту его войны.

* * *

— Да нет, все это, с Валентиной, не так просто, — пробормотал он.

— Что не просто? — переспросил его Чесноков. — Что не просто, товарищ капитан?

Загудел зуммер, и Рюмин поднял трубку.

— Да? Да! Гавриков? — Он поморгал, соображая. — Гавриков? Боеспособных?

— Пятьдесят шесть! — подсказал Ардатов.

— Пятьдесят шесть! — передал Рюмин. — Всего четыре. Два раненых. Я немного. — Он посмотрел на Ардатову. — Вообще-то немного все ранены. Ничего. Отрезок метров четыреста и столько же вперед фронтом и, может, столько в глубину.

— Кто это? — Ардатов понял, что Рюмина расспрашивают об их положении.

Рюмин протянул ему трубку.

— Капитан Белобородов.

Ардатов, назвавшись, спросил у Белобородова:

— Кроме БК у тебя что-то есть? Неучтенное? — Он знал, что артиллеристы всегда занижают количество имеющихся снарядов, выставляя в строевках всегда чуть завышенный расход. — Ладно, ладно, будем считать, что ничего, кроме какого-то десятка-другого нет. Но обещай, обещай, что все, что есть лишнее, пустишь в дело. Обещаешь? Хорошо. Нам тут кисло.

Белобородов на это сказал ему, что «наверху» интересовались ими, что рубеж надо удержать, и что поэтому он, Ардатов, может на него, Белобородова, положиться, что главное, чтобы сами они, Ардатов и его люди, не дали себя выбить.

— Счастливо! — сказал Белобородов на том конце провода. И вдруг спросил:

— Как ты считаешь, фриц нас слышит?

— Вряд ли, — усомнился Ардатов. — Они всю эту снасть, — он имел в виду оборудование для подслушивания, — еще не подтянули. Наверняка не подтянули. Это тебе не оборона.

— Вообще, да! — согласился Белобородов. — А даже если и слышит, то... то хрен с ними!

— Вот именно! — поддержал Ардатов.

— Мы им, с-с-сукиным детям, всыпем, — заверил его Белобородов.

— Вот именно. Как «костыль»? — вспомнил Ардатов. — Был?

— Был!

Новое питание в телефонах давало хорошую связь, и Ардатов слышал, как дышит Белобородов, как он затягивается дымом папиросы.

— У нас один солдат ему голый зад показывал, и то не заметил. Они думают, что умеют все только они. Ишь, сволочи! Ничего, у нас все впереди.

Белобородов сделал новую затяжку. Ардатов слышал, как хлопнули его прокуренные легкие.

— Ты держись там. Я им дам, как под Тулой! Мы там Гудериану зубы выбили? Выбили?! И тут они получают по первое число! Главное — не уходи. Не давай ты им, сволочам, ни метра. Ладно? А я тебе обещаю — как под Тулой. Ладно?

— Ладно, — согласился Ардатов, хотя смутно представлял, как это Белобородов сделает то, что он делал под Тулой. Там он, наверно, жег и колол танки прямой наводкой, но здесь-то все было по-другому! Здесь попадать в танки Белобородов мог лишь случайно, потому что стрелял с закрытой позиции, но пехоту отсечь он мог, а у Ардатову на душе полегчало.

— Не уйду! — пообещал он.

— Правильно! — пробасил Белобородов. — Пока, друг! Тут у меня такие бомбардиры-канониры, что закачаешься. Считай, что тебе повезло, считай что ты счастливчик, раз я с тобой.

Ардатов невесело усмехнулся — счастливчик! — но ему было все-таки приятно слышать эти добрые слова, да и подбадривали они хорошо — без оснований этот Белобородов ими не разбрасывался бы.

— Пока, друг.

— Ну, будь жив!...

— И ты.

— Клади трубку.

— Кладу.

Ардатов почувствовал, что что-то теплое, мохнатое тычется ему сзади в ладонь, догадался, что это Кубик, потрепал его голову, погладил за ушами, сказал: «Ах, ты, Кубик, Кубик! Такой большой, добрый пес!», — приказал Рюмину: «От телефона — никуда!» — и пошел, пропустив Кубика вперед...

Ардатов, сидя на корточках, пил и пил холодную сладкую воду из котелка, который ему подала сестра, а майорша докладывала:

— Всего прошло через пункт, включая и вас, тридцать шесть человек. Из них сейчас здесь безнадежных два, тяжелых семь, средней тяжести шесть. Боеспособных нет. Кроме ездового. Оружие, кроме личного, две винтовки. Боеприпасов, кроме как в подсумках, нет. Медикаменты на исходе, осталось на десяток перевязок. Продуктов тоже нет. С кило сухарей и все... Чем порадуете вы, напитан? На что надеетесь? Только честно: чем порадуете? Мы ведь на вас как на бога...

Ардатов, поставив возле себя котелок, придерживал его рукой, как бы показывая, что будет еще пить.

— Всех средней тяжести — в цепь! Разместить так, чтобы могли лежать, но, когда надо, стрелять. Вас прошу тоже в цепь. Сестра, помогите майору. — Он пояснил: — Осталось очень мало людей.

— Но они перестреляют раненых! Без нас... — возразила было майорша.

— А с вами они их не перестреляют? Вы их уговорите не делать этого? — не дал ей больше ничего сказать Ардатов. — Сделайте для них все, что можете, и в цепь.

— Да что мы для них можем сделать? Что? — уже без запала, но с отчаянием спросила его майорша. — Скажите, что?

— Стрелять! В цепи! — Ардатов встал, собираясь уходить, но его позвали, его, конечно, позвали:

— Товарищ капитан! А, товарищ капитан!

И под Уманью, и под Вязьмой, и в других местах он насмотрелся таких вот тяжелых и безнадежных, которых вывезти было нельзя. Прямо ли в спелой пшенице, под прошлогодним ли стожком, в овраге ли, на опушке или поляне такие тяжелые, очень мало зная об обстановке, но как-то чувствуя ее, спрашивали каждого, кого могли, не бросят ли их. И, конечно же, тут его тоже об этом спросили:

— Не кидайте нас! Вы уж не кидайте нас. За ради Христа, — говорил ему рыжий, крупный красноармеец. Он лежал на спине и из-под гимнастерки виднелись полосы бинтов, которыми были замотаны его грудь и живот. Он дышал тяжело, хрипло, в груди у него булькало простреленное легкое. — Пропадем ведь, коль кинете. Пропадем, — убеждал он Ардатову. — А у меня дома пятеро, а старшему и шашнадцати нет. К зиме только будет. Нужон я им, товарищ капитан. Ведь когда позвали в армию, пошел же я, дня лишнего не потерял. Как же теперь нас кидать! Не за ради себя мы изнегодились, так что...

— Брось! Брось плакаться! — перебил его один из тех четверых, кого Ардатов не подбирал по дороге от мостика, кто был ранен еще накануне, кого докторша не довезла ночью.

— Жмет? Жмет он, товарищ капитан? Как думаете, удержимся? — спросил еще кто-то.

— Остались считанные часы. Ночью отойдем. Вывезем всех. Спокойней. Сдайте патроны сестре, — сказал всем Ардатов, в том числе все еще спавшему по-младенчески после укола Тягилеву.

«Как пчела творит мед», — бормотал он, возвращаясь от раненых и рассеянно натыкаясь на углы ходов сообщения.

Ах, дед-дед! Да ведь не так все, хотя и сказано красиво. Не человек вообще, а конкретный персонаж. Потому что зло и добро не существуют вообще. Они конкретны, как... как истина конкретна. «Что есть истина?» Хотя бы то, что ты понимаешь под добром и злом. Кому хочешь добра. Кому несешь зло. Вот для этих гитлеровцев — он смотрел на серо-зеленые тела убитых немцев — было добро дойти сюда, а для тебя, дед, — и для меня — это — зло. А ты абстрактничаешь. Эх, дед — дед! Прожил столько, и все во святом младенчестве. Нет, дед, что добро для нас — это не добро для них. Они сейчас творят, как змея творит яд!

«Но я им сотворю! — ожесточенно подумал он о немцах. — Только бы не убило сегодня, — подумал он. — Только бы добраться до полка да получить батальон... Как пчела творит мед!... Но если они прорвутся в траншею, они, гады, перестреляют раненых...»

У него в голове мелькнули всякие разговоры тех, кто был у немцев в плену и вырвался, как они, эти пленные, рассказывали о том, что делали немцы с ранеными. Одни говорили, что немцы пристреливали раненых, другие, что когда были здоровые пленные, немцы заставляли здоровых забирать раненых с собой. Но что-то он не вспомнил, чтобы кто-то из бывших пленных рассказывал, что немцы сами заботились о раненых пленных.

— Только бы добраться до полка! — пробормотал он вслух, отчего Чесноков, который шел за ним, спросил:

— Вы это мне? Не понял, товарищ капитан.

Чесноков покраснел от стеснения.

— Не понял? А что ты вообще понимаешь? Что? — Чесноков смотрел на него так растерянно, то у Ардатова оттаяла душа. — Ладно, не сердись. Это я так. Собери всех людей. Раненых тоже — кто может. Туда, где телефон. Быстро! Бегом!

Он пошел дальше и выругался, услышав опять нелепости Талича.

— Ванятка! Ванятка! Ваня-я-ятка? — тонко, по-козлиному, блеял Талич. — И где это ты запропастился? Ванятка!

— Ась? — ответил за Ванятку сам же Талич. — Я здесь, маменька.

— Иде здесь? Иде здесь? Нигде тебя не видать.

— А вы на антресоли гляньте! Я тама. Тамочки. С Машенькой. Уж коль ее сегодня к венцу повезут, уж коль все так сложилось, хоть напоследок с сестрицей посижу.

— Чай наревелись там, на антресолях, — недовольно сказал басом за папеньку Талич. — В церковь с зареванными глазами разве гоже? Чего люди-то скажут? Не по воле, мол, идет! У, дура стоеросовая!

Когда Ардаатов, еще в овраге, у моста первый раз услышал, как разговаривают Талич и Васильев, и понял, что Талич — актер, что он все время играет в какую-то другую жизнь, в жизнь своих персонажей, тех людей, в которых он перевоплощается, говоря театральным языком, он почувствовал раздражение; все эти диалоги, весь этот театр показались ему явно не к месту и не ко времени, но, подумав, он в душе махнул рукой. «Пусть себе! Не мешает же это ему делать все, что он обязан делать — идти с ним к переднему краю, то есть быть солдатом на войне, а то, что он остается еще и актером, в какие-то минуты живет не солдатской жизнью, это его личное дело, на которое он, как и каждый человек, имеет право».

«Пусть! — подумал тогда он. — Даже как-то веселее. Нельзя же только и думать о немцах. Так с ума сойдешь. Нет, пусть он играет, пусть оба играют. С ними смешнее жить».

Он тогда подумал еще, что вообще все актеры просто не живут, что профессия актера заставляет их играть и в жизни — они и к ней вроде бы на большой сцене, они и в ней то и дело видят и слышат себя со стороны и поэтому то и дело подправляют себя, чтобы сыграть лучше.

«Как для летчика жизнь — это небо, на земле он или только слетел с нею, или должен лететь в него, так для артиста жизнь — сцена, и он все время должен играть на ней», — решил он.

Но то было в овраге, поздним вечером, вдали от немцев, поэтому было как-то объяснимо, а игра в Ванятку здесь, в траншее, перед убитыми немцами и своими, ну никак не оправдывалась.

— Так и так не по воле, — возразил Талич. — А за денешки, за копеечки, за бумажечки... Бу! Бу! Бу! — заревел он за Машеньку. — Не хочу жениться, а хочу учиться!...

— Кончайте! — сказал Ардаатов, еще не доходя до Талича. — Кончайте! — Он подошел к Таличу вплотную. — Балаган какой-то! — Он вглядывался в лицо Талича, но Талич выдержал его взгляд.

— В уставе это не записано — «балаган». И вы бы, товарищ капитан, — Талич усмехнулся, — вы бы повежливей все-таки. А то от «балагана» до мата одни шаг, а от мата до кулака тоже один. Вы что, хотите, чтобы я отвечал вам: «Виноват, ваше благородие?»

Ардатов смигнул, посмотрел в сторону, и Талич совсем по-другому попросил:

— Закурить не угостите?

Талич был молод — ему только-только минуло двадцать, он не был злопамятен, и, почувствовав, что Ардаатов не хвалит себя за этот «балаган», беря у него папиросу, он, наверное, чтобы исправить неловкость, проиграл Ардаатову еще одну сценку:

— Наливай!

— Что угодно-с?

— Пару пива!

— Сей секунд-с!

— Наливай!

— Чего угодно-с?

— Раков!

— Сей секунд-с!

— Наливай!

— Чего угодно-с?

— Моченого гороху!

— Горошку нет-с. Поиздержались. Не угодно-с ли семужки-с?

— Как нет гороху?! — захохотал Талич. — Трактир это аль нет? Хозяин! Да от вашей семужки одна изжога!...

— Ну ладно, ладно, — остановил его Ардагов. — Тебе бы в ансамбль. А здесь, понимаешь, все-таки не к месту все это.

— Понимаю, — вдруг согласился Талич. — Это я от страха. Ведь жуть! — Он показал на сгоревшие танки и убитых немцев. — Все эти декорации! Тут, брат, тут товарищ капитан, не шекспировские драмы. Тут они покрупней!...

Видимо, и правда Талич трусил. Но трусил пристойно, не теряя лица, как не теряли лица многие, почти все — один сосал погасший окурок, другой углублял окоп, чтобы чем-то занять себя, третий наводил ненужный порядок в вещмешке, перекладывая там мыло, портянки, полотенце, запасную пару белья, четвертый ни к чему перетирал патроны — каждый прятал страх, загонял его подальше в себя, стыдился его, старался сдерживать дрожь пальцев, сжимал зубы, чтобы не тряслась челюсть, стискивал в кулаке саму душу, и в этом-то и было настоящее мужество — подавить в себе ужас, который рождало все то, что было перед глазами каждого, «перед смертоубийством», как определил войну Просвирина.

— Ничего... — протянул Ардагов.

— Как думаете, продержимся? — спросил Талич, разглядывая носки своих ботинок. Голос у него задрожал, и он, сразу же откашлявшись, поправил голос и повторил тверже: — Продержимся?

— Это будет зависеть от нас. От всех нас. — Ничего другого Ардагов сказать не мог.

— И от них, — уточнил Талич, кивнув на подбитые танки, как на представителей всех тех, кого он назвал, сказав, «от них».

— Тоже верно, — согласился Ардагов. — Но главное, не недооценивай себя. Ведь стоят же! — Ардагов повторил жест Талича, кивнув на танки.

Всего в каких-то пяти шагах от Талича и Васильева в лисьей норе, не помещаясь в ней, так что ноги до его колени были наруже, лежал убитый. Кто-то, может быть, даже сам Талич, прикрыл его шинелью.

Талич посмотрел на этого убитого.

— Стоят. Это верно. И лежат. — Он сложил руки на груди. — Не так ли?

Ардагов оперся спиной о бруствер, пососал погасшую папиросу и, прикуривая ее от папиросы Талича, предложил:

— Есть другой вариант.

— Какой? — быстро спросил Талич, а Васильев, переступив два шага, придвинулся поближе.

— Отойти.

— Куда? Куда отойти? Когда? Правда, есть такой вариант? Куда отойти?

Ардагов пожал плечами.

— Сначала за Волгу. Потом к Уралу. Потом к Лене. Потом к Охотскому морю. Если раньше японцы не загонят к Верхоянску.

Талич отодвинулся и отодвинул Васильева.

— Этот вариант не подходит. И так — «заманили» куда!

В этом «заманили» звучало не только то, что Талич слышал ночью, но и пренебрежение к тем, кто «заманивал».

— Тогда о чем разговор!

Ардагов тяжело посмотрел поочередно на каждого из них. Они молчали. Ардагов должен был что-то добавить. Он, повторив усмешку Талича, приподнял подол своей гимнастерки, так что задрался и ремень и над брюками открылась майка.

— Здесь тоже нет пуленепробиваемого жилета. Моченый горох, раки!... Ты покажешь, как не надо «заманивать»?

Он пошел, и Талич и Васильев потеснились, пропуская его. Но, передумав, Ардагов остановился.

— Как гобой? — спросил он Васильева. — Цел?

— Цел. — Васильев пожал плечами. — Гобою что...

— Поиграли бы, — предложил Ардагов. — Так, не очень громко, но все же... Надо подбодрить людей. Устали все...

— Но что? — Васильев повторил его слова. — К месту ли все это — музыка?..

— К месту, к месту, — подтвердил Ардагов. — Так что прошу, поиграйте.

— Но что? Что? Марши? Бодрые песни? — не знал Васильев.

— Решайте сами. Подумайте, что вы можете сделать для людей — для всех нас...

Возле Старобельских его встретил Кубик. Он ткнулся в ноги и замер, требуя, чтобы его потрепали.

— Ну, ну, ну! — гладил его Ардатов. — Нам бы с тобой в лес! Ну, ну, ну! Эх, Кубик, Кубик. Кто ж виноват, что все так получилось!...

— Она не ела, она почти ничего не ела! — сказал ему Старобельский. — Как я ни уговаривал, вот, — он показал на Надину еду, которая лежала на бруствере, прикрытая тряпочкой от пыли. Тряпочку, чтобы не отдувало, прижимали две обоймы с патронами. — Повлияйте на нее, Константин Константинович, — попросил Старобельский. — Нужны силы, как же без пищи. Я тоже кое-как проглотил, но все-таки...

— Зря, Надя, зря. Надо поесть, — поддержал Старобельского Ардатов. — Впереди еще много чего. Поешь.

Надя покачала головой.

— Нет.

— Может попозже?

— Может.

— Кубик небось все слопал!

Надя улыбнулась.

— То Кубик!...

— Ты молодец. Ты хорошо воюешь. Спасибо. И дальше так, только так! А если можешь, лучше! — сказал он ей.

За этот неполный день Надя как будто выросла, как будто в минуты и секунды этого дня она пережила сразу несколько лет — лицо ее осунулось, глаза запали, в углах скорбно сжатого рта легли складки. Она рассеянно крутила кончик косынки.

— Пожалуйста, — автоматически ответила она. — Как все-таки это все ужасно!

— Нда!... — протянул он. — Что ж, война есть война. И добро не должно быть пассивным. Как вы считаете, Глеб Васильевич?

Старобельский шевелил бровями, то поднимая их вверх, отчего ого лицо сразу приобретало выражение нерешительности, безвольности, скорби, то сдвигал их к переносице, и тогда на лбу у него прорезалась поперечная складка, на виске надувалась вена, и лицо приобретало волю, сосредоточенность, силу. Но он тоже основательно сдал за этот день. Он весь как-то обвис — голова была опущена, плечи тоже опустились, глаза полузакрылись, а борода как-то странно, как-то наискось, растрепалась, и все он делал медленно: поднимал ли голову, руку ли, открывал ли глаза. К тому же у него на одной сандалиии верх оторвался от подошвы и из-под ремней торчали старческие пальцы с желтыми ногтями.

— Как христианин, гм, гм, я, извините, Константин Константинович, против убийства. Да!... — твердо сказал Старобельский. — Но эта война, на мой взгляд, святая. Мы, Надя, обороняемся как от татарского нашествия, как наши прадеды, мы же говорили об этом. Посему... Посему от меча и погибнут...

— Все равно все это ужасно!

Мысли, заложенные в словах и деда и его, Ардатова, сейчас как будто облетали Надю, ее ум не воспринимал их, потому что был отодвинут, загорожен чувствами. Эти чувства следовало смять, выбить.

Ардатов обнял Надю за плечи, сильно прижал к своему боку, к груди, почувствовал, как все в Наде бьется, и жестко сказал:

— Не раскисать! Ты сказала, что пришла защищать Родину. Сказала? — Он приподнял, взяв Надю за подбородок, ее голову. — Будь же достойна своих слов! Никто тебя сюда не посылал, не звал. Но раз пришла, раз с нами — будь как все! Как все! И чтоб никаких жалоб! Вот так! Ты для нас — только снайпер. И спрос с тебя будет, как со снайпера. Помни, ты защищаешь не какую-то отвлеченную Родину, а вот это, — он взял в горсть землю с бруствера. — Их! — он показал на красноармейцев, потом постучал себя пальцем в грудь. — Меня. А эти, — он кивнул в сторону убитых немцев, — получили то, что им положено. Или тебе теперь и их жалко? Нет? Что ж, может, и жалко, может, среди них были хорошие, добрые люди — рабочие, крестьяне, учителя. Но с той минуты, когда они стали гитлеровцами — они наши враги. Насмерть! Насмерть! Надя! Вспомни мать! Вспомни Кирилла!... Вспомнила?

Она кивнула, подтверждая, что все понимает, что полностью с ним согласна, что вспомнила мать и брата, но, освободившись от его руки, все ниже опускала голову, и слезы капали ей на тапочки и на глину.

— Ладно, друг! — сказал он ей так же, как Белобородову, и, потрепав по плечу, повернувшись уходить, приказал:

— Товарищ снайпер! Приготовиться к бою!

— Товарищи! — начал Ардагов, посмотрев в обе стороны по траншее и в ход сообщения, где сидели вплотную все, кто остался. Их осталось, как доложил Чесноков, сорок шесть душ.

— Товарищи!...

У этих сорока шести душ были усталые, грязные от пота, пыли, порохового газа лица, почти равнодушные ко всему глаза. Они сидели молча, многие, уронив головы, опустив руки на колени, на окопную глину. В перепачканном, раздерганном обмундировании, многие без пилоток, а кое-кто и без ремней, они не очень-то, на первый взгляд, были похожи на красноармейцев-орлов и совсем уж не напоминали тех плакатных, сильных, чистых, подтянутых воинов, которых дети и женщины призывали: «Спаси!». Но все они пришли с оружием, которое или стояло рядом с каждым или лежало на коленях, и для Ардагова это был главный показатель. На все остальное сейчас можно было наплевать.

— До заката, до захода солнца осталось часа два, может, чуть больше. Но может, и всего два часа. Как только стемнеет, мы берем раненых и отходим. Направление движения — на северо-восток. Туда, — Ардагов показал, куда. — Всем меня слышно?

Он подтолкнул под ноги пустой патронный ящик и встал на него, покосившись на бруствер. Бруствер не закрывал половину головы, и он наклонил ее. Но и так ему было лучше видно их всех. Красноармейцев: Щеголева, Васильева, Белоконя, Талича, сестру, которая стояла на коленях рядом с майоршей, Рюмина, неловко вытянувшего ноги, Старобельского и Надю, смотревших на него с каким-то особым вниманием, старавшихся не пропустить ни одного его слова.

— Слышно!

— Чего там! Слышно, — ответили ему.

— В темноте отойдем к своим. На соединение к своим. За ночь мы обязательно к ним выйдем. Да что там за ночь! — поправился он. — За какие-то два-три часа. Как говорит лейтенант, — он показал на Рюмина, — километрах в десяти за Малой Россошкой много наших частей. Так что если считать от сейчас, от этих минут, часа через три, самое позднее, четыре, будем у наших.

В траншее, в ходе сообщения пошевелились, прошло какое-то общее движение — кто удобнее сел, кто поправил оружие, и Ардагов в паузе, которую он сделал, услышал то, что знал, что услышит.

— До заката он еще сто раз... Надо дожить до заката-то...

Он подождал, давая возможность им высказаться, вытолкнуть из себя, как опростать душу от того зловещего, что было у каждого в душе — что до заката им не продержаться.

— А у кого есть другие предложения! — вдруг выкрикнул Белоконь. — Говори! Может, дельное что скажешь? Нету? Тогда сдохни, а держись! Вон, видите?

Над ними, на бредущем, прошла четверка Ил-2. Защитного цвета, с круглым туловищем и горбатой от кабины стрелка-радиста спиной, они проревели над траншеей, и воздух, отброшенный их винтами, сбивал на ее дно комочки подсохшей глины.

— Музыка — туш!

Ошалело, во все легкие, сбиваясь с такта, Васильев повторил два раза туш, но потом выравнялся и, лишь грустно всхлипнув гобоем, заиграл «На сопках Манчжурии».

«Ну, родные! — сказал мысленно Ардагов самолетам, глядя, как сжимаются они, удаляясь, — всыпьте им! Мы уж как-нибудь, а вы им — дайте! Вот так!» — похвалил он чуть позже, когда Илы, заложив вираж, начали бить по чему-то, что было за высотой, из-за которой и лезли на них немцы и танки, и что не было видно ему. Но по черному дыму, поднявшемуся из-за гребня сразу в нескольких местах, каждый мог догадаться, что Илы не мазали.

— Еще! — подбадривал Ардагов летчиков. Еще заходик! Хорошо! Еще один! Так! Ага, и там загорелось! То-то! — Он обернулся к Васильеву. — Играйте! Играйте, Васильев! Отличная музыка! Талич! Ты тут? Хорошо. Играйте, Играйте, Васильев, играйте. Ах, дьявол!

— Товарищи! — крикнул он всем. — Вы видите, нас прикрывают! Нас поддерживают! И помните, за спиной у нас артдивизион — десяток пушек, которые не подпустят к нам немцев. Помните, каждый на своем месте — до последнего патрона! Мы должны продержаться до ночи!

С ящика он видел, как его люди, стоя вплотную у передней стенки траншеи, напряженно следили за тем, что делали Илы, и никто ему на все его слова ничего не ответил, да он и не ждал ответа, не в ответах было дело.

Конечно, чем дольше бы висели Илы над немцами, тем было бы лучше, — тем меньше бы у немцев осталось бы времени, чтобы атаковать. Но каждая лишняя минута, что Илы были над целями, могла стоить летчикам жизни: немцы наверняка сообщили на свои аэродромы, и, может быть, к этому месту уже жали их истребители. Четверка тихоходных штурмовиков, которые могли отбиваться всего лишь четырьмя же пулеметами, потому что пушка стреляла только вперед, была бы для них легкой целью. Но и судя по тому, что штурмовики все летали над небольшим участком за высотой, они, наверное, тоже нашли лакомый кусок, и они работали там на бреющем, летая друг за другом, и Ардатов слышал, как далекие хлопки, выстрелы их пушек.

За высотой горело в десятке мест, и Ардатов, радуясь этому, тревожно оглядывая горизонт, не подходят ли немецкие истребители, начал уже говорить про себя летчикам:

«Все! Все, ребята! Ходу, ходу, домой!»

Будто послушавшись его, штурмовики все вдруг сделали разворот на восток, сблизившись, стали в две пары и двумя парами пролетели чуть правее их.

«Счастливо добраться, — пробормотал им вслед Ардатов. — Спасибо вам, ребята! Час? Полтора? — подумал он о том, на сколько Илы задержали атаку немцев. Было без двенадцати шесть. — Черта с два они дадут тебе полтора часа! — сказал он сам себе. — Они вот-вот полезут. Что их там, мало осталось?»

* * *

Немцы полезли через пятьдесят минут.

Это были все те же Т-3 и Т-4. «Вшивенькие танки!» — вспомнил Ардатов, как их оценивал один старший командир-генштабист, с которым он ехал в санпоезде. Генштабист был на фронтовой стажировке, попал под бомбежку, получил сразу два осколочных ранения, одно тяжелое — в бедро, и катил теперь вместе с фронтовиками в глубокий тыл. Его сгрузили в Кирове, а Ардатова тогда завезли в Кез, на маленькую станцию в Удмурдии. К Валентине. Но дня три они лежали в одном купе и, отоспавшись, конечно же, говорили о многом, в том числе и об этих танках.

— Вшивенькие же! — убеждал генштабист. — У Т-3 пушченка всего или тридцать семь миллиметров или пятьдесят, бронь — пятьдесят, а на бортах — тридцать. У Т-4 — хотя и пушка в семьдесят пять миллиметров, по короткоствольная, значит, с малой дистанцией стрельбы. Бронь чуть-чуть толще. Это же — противопехотные коробки, только! Ни на что больше они не годны! Наши Т-34 и КВ в начале войны кололи их, как орехи!

Штабист говорил верно. Ардатов сам видел в Полесье, на Украине, как в первых танковых боях наши Т-34 и КВ кололи эти средние немецкие танки, как жгли их. Длинноствольная пушка Т-34 позволяла начать стрельбу раньше, ее снаряд имел большую начальную скорость, а значит, и большую пробивную способность, что же касается КВ — тяжелого нашего танка, у которого пушка была калибра «85», то для Т-3 и Т-4 он вообще был неуязвим. Крытый тяжелой броней, КВ расправлялся с немецкими танками, как с движущимися мишенями.

Незадолго до окружения под Уманью Ардатов однажды наблюдал, как шел танковый бой. Какой-то немецкий мехполк наткнулся на целенький еще наш танковый батальон, и хотя немцев было раза в два больше, этот батальон разнес их в пух. Как потом Ардатов узнал, этот батальон, прибыв из резерва, аккуратно разгрузился ночью на станции, сделал короткий марш и занял исходное положение в лесочке, где утром ни «костыли», ни «рамы» его не заметили.

Получив «добро» от своей авиаразведки, — дескать, станцию удерживает только беспомощная пехота, — немцы, побомбив нашу артиллерию, развернули мехполк, рассчитывая смять оборону и возле станции и южнее ее. И вот тут-то на них и рванулись две роты Т-34 и рота КВ...

Ардатов с тоской посмотрел по сторонам и в тыл, как будто где-то там мог прятаться такой вот батальон из резерва. Но ничего, конечно, он не увидел, не было ничего из резерва, во всяком случае, здесь, около них, ничего из резерва не было. Был он, и еще сорок шесть гавриков, как назвал его людей Белобородов, считая, что фрицы, если они подслушивали, могут и не понять, что такое «гаврики»: то ли пулеметы, то ли ПТР, то ли ящики боеприпасов. Откуда фрицам было знать такие тонкости русского языка?

Так вот, здесь был он, были его гаврики и Т-3 и Т-4 — одиннадцать штук на расстоянии до километра.

А там, у той станции, две роты Т-34 и рота КВ, когда немцы подошли на дистанцию стрельбы наших пушек, остановились, чтобы стрелять поточней, и с места начали колоть и жечь вшивые фрицевские Т-3 и Т-4, такие же, какие шли сейчас на него и до которых оставалось уже менее километра. Те немцы, под Уманью, конечно, сразу не поняли или не пожелали понять, что их дело швах, и перли, не считаясь с потерями, стараясь сблизиться на расстояние выстрела своих пушек, и наши их все кололи и жгли, а когда немцы сблизилась все-таки на эту дистанцию, командир батальона бросил вперед сначала тяжелые КВ — как конец тарана, а чуть сзади и с флангов пошли тридцать четверки, и этот клин, наваливаясь с фланга, шел через весь боевой порядок немцев, и, конечно же, снаряды КВ, попав в бортовую броню Т-3 или Т-4, пробивали их, как коробки. На участке шириной километра два тогда горело штук тридцать Т-3 и Т-4, и не то фрицевский командир полка дал команду отходить, не то его танкисты сами не выдержали такую избиения, но вдруг остатки полка развернулись и, газуя вовсю, через несжатые хлеба, стали драть к своим тылам, под защиту ПТО. Но ведь и ПТО тогда у фрицев была такая же вшивенькая — главной в ней была все та же 37-миллиметровая пушчонка. Что она могла сделать КВ? И рота этих танков, и две роты тридцатичетверок били фрицевские танки в их же тылах и давили пушки ПТО, пока у наших полностью не кончились боекомплекты...

Но то было тогда! Но то было тогда, когда, как объяснил тот же генштабист, когда еще мехкорпуса сражались на Украине, когда немцы не успели уничтожить их с воздуха. Именно с воздуха — главные потери танковые части и несли от бомбежек. Генштабист, покачиваясь в такт вагону, лежа на спине, жестикулируя над лицом руками, объяснял ему:

— Они сначала выбили нам истребительную авиацию. Они за первые сутки войны уничтожили больше тысячи наших самолетов. Причем, процентов восемьдесят на аэродромах. Не дав даже подняться в воздух. И получили в воздухе преимущество. А потом, пользуясь этим преимуществом, и господство. Как получалось? Они бросают «юнкерсы» на какой-то объект, мы, чтобы прикрыть его, бросаем истребители. Но так как у них численное превосходство в истребителях, они против наших истребителей бросают в два раза больше своих. А иногда и в три, а иногда и еще больше. И попробуй подерись, когда на твою авиапушку их три или четыре пушки. Даже при равных потерях, преимущество, полученное в первые дни войны, сохраняется. Когда же в западных округах наших истребителей осталось совсем мало, мы, чтобы поддержать свою пехоту, чтобы, предположим, пробомбить их наступающие дивизии, бросали бомбардировщики, их истребители жгли эти бомбардировщики, а прикрыть их было нечем. И мы теряли и теряли бомбардировщики, а они свои сумели сохранить — конечно, не без потерь, но в основном сумели сохранить, — так что, когда наши мехкорпуса, наши танки вступали в бой, эти «юнкерсы» и долбили их. Так и получилось — сначала они, сначала фрицы завоевали господство в воздухе, потом с воздуха выбили очень много наших танков, а потом, бросая против пехоты свои легкие и средние Т-3 и Т-4 получали преимущество и на земле. А если даже этих Т-3 и Т-4 много, то и они делают успех. Конечно, Т-3 и Т-4 вшивенькие против Т-34 и КВ, но если Т-34 и КВ нет? Если их нет? Если они разбиты пикировщиками? И если пикировщики дезорганизовали, раздавили систему ПТО — как пехоте держаться? Ведь против пехоты и Т-3 и Т-4 — грозное оружие... Как их удержать? Как? Только как панфиловцы — гранатами и своим телом...

— Рюмин! Связь! — крикнул Ардатов.

— Есть связь!

Рюмин — он снова стоял в петушиной позе, на одной ноге, подняв раненую, — навалившись на бруствер, разглядывая в бинокль немецкие танки, определяя по делениям бинокля дистанцию до них (Ардатов видел, как чуть дрожат его руки с биноклем), — Рюмин быстро наклонился к телефону и крутнул ручку.

— Связь есть! Дистанция восемьсот! — крикнул он Ардатову.

— Спокойно! — крикнул Ардатов ему в ответ. — Не перепутай репера!

— Нет! — крикнул Рюмин. — Что я, не понимаю? Товарищ капитан Белобородов! — крикнул он в трубку. — Белобородов! Готовность? Да! Хорошо!

«Понимать-то ты понимаешь, а если перепутаешь, если от мандража перепутаешь — нам конец!» — подумал Ардатов и побежал по траншее проверить, что и как.

— Они слепые! Они ни черта не видят! — объяснял он красноармейцам, останавливаясь. — Танк качается, что танкисты видят через щели? Только местность! Разве твою голову заметишь через щель?

Все это было почти верно — различить пригнувшегося человека в глубокой траншее, через подпрыгивающую смотровую щель было делом дьявольски трудным, поэтому-то хрупкий, как козявка, по сравнению с танком, человек, если он не терял мужества, в траншее обладал такими преимуществами, что сам был страшен танку. Человек лишь должен был перебежать по траншее так, чтобы танк прошел рядом, чем ближе, тем лучше, и швырнуть на заднюю часть его, за башню, на жалюзи мотора бутылку с КС. Бутылка разбивалась, и если жидкость попадала на мотор, танк, как правило, загорался.

Для танкистов же было главным задавить или застрелить такого человека, но сначала следовало задавить его мужество — грохотом гусениц, пулеметными очередями выгнать человека из траншеи и, когда он побежит перед танком, всадить в его спину очередь из курсового пулемета или, сбив гусеницей, размолотить траками его слабые косточки, растереть его всего по земле. Поэтому-то и никак было нельзя выскакивать из траншеи.

— Не бойсь! Главное — не бойсь! — втолковывал Ардатов, перебегая от красноармейца к красноармейцу. — Пехоту мы положим, а этих — бутылкой. Подпускай ближе! Не трать зря бутылки! Они для нас — золото! Жизнь! Не бойсь! Без паники! Это их последняя атака! Как только стемнеет — отходим! Ясно! Отходим! Ясно? Ясно?

Он остановился рядом с Васильевым и Таличем. Васильев, натянув теперь пилотку по самые уши, как бы для того, чтобы лучше защищать лысину, спрятав гобой в нишу под бруствером, держал в руках бутылку с КС, а у Талича была противотанковая граната.

— Не промажете? — громко спросил Ардатов, хотя все они были рядом. — Только метров с двадцати! С пятнадцати! А лучше с десяти! С пяти! Не имеете права промазать! Или, — решил Ардатов, — отдай! — Он хотел было забрать у Васильева бутылку, но тот вдруг спрятал ее за спину.

— Не дам! Не промажу! — тоже закричал Васильев. — Сам не промажь!

— Мы не промажем! — подтвердил Талич, он ошалело смотрел на Ардатова, а у Ардатова мелькнуло в голове: «Он меня стукнет этой гранатой».

— Ладно! — крикнул он уже на бегу. — А вы что! — накинулся он на Просвирина и Жихарева, у которых он не увидел бутылок. Но заметив, что перед каждым из них лежит по паре гранат, махнул рукой. — Ладно! Станьте шире! Иначе одна очередь и...

— А нам и так хорошо! — рывкнул на него Просвирин и дернулся к нему, а потом схватился за винтовку.

«Ах, сволочь! — подумал Ардатов, отбегая дальше. — Бандитская рожа!»

— Не промажешь? — спросил он Белоконя, у которого было три бутылки. — Смотри за этими! — приказал он, показав в сторону Просвирина и Жихарева. — Если попробуют драпать — бей! Понял? Ясно?

— Связь? — спросил он, добегая до Рюмина. — Есть? Хорошо! Сейчас не будет.

Он знал, что как только танки подойдут примерно на полкилометра, немцы сделают артналет, а потом начнут садить минами, чтобы никто не мог высунуться из траншеи, давая тем самым возможность танкам подойти к траншее — если кругом рвутся мины, не очень-то точно прицелишься из ПТР, даже если в обороне они и есть. И этот артналет и мины, конечно же, должны были перебить кабель. Надеяться на то, что он будет целым, было бы глупо, поэтому-то Ардатову и надо было быть рядом с Рюминым.

Недалеко от них — от Рюмина, Нади, Старобельского — между красноармейцами устраивались у брустверов раненые. Им было больно шевелиться, и Ардатов видел, что когда они примеряют винтовки, приспособливаются стоять у них поплотней, раненые морщатся.

— Прибыли! Явились! — доложила ему майор, когда он остановился около нее. — Остальные... — Она махнула пистолетом... — Остальные не могут. Ну, капитан!... — Майор, наверное, хотела сказать что-то отчаянное, она была совершенно бледна, как если бы из ее лица ушла вся кровь, бледна, как побелка, как снег, как простыня. В общем, все для нее стало ясным.

— Спрячьте! — приказал он, ткнув в пистолет. — Только в ближнем бою. Чесноков! Майору винтовку и патронов! Держаться, товарищи! — крикнул он всем. — Держаться! Нас прикрывает артдивизион! Держаться! Спасибо, что пришли! Держаться, товарищи!... Как стемнеет — всех выведем, вынесем. Только держитесь! Бейте их, гадов! Прицел «300»! Беречь патроны — бей наверняка! Спокойней, Софья Павловна, — сказал он тише. — Спокойней!

Эти раненые были, конечно, воинством слабым, но все же они обороняли десятка три метров траншеи — из этого куска они могли вести пусть не очень прицельный, пусть не очень плотный огонь, но

все же... Для атакующих немцев-пехотинцев и этот клочок земли оборонялся, а ведь немцы не знали, что его удерживает инвалидная команда, поэтому и три десятка метров тоже в общей обороне играли свою роль.

— Не кучно! — крикнул Ардатов Софье Павловне, уже отбежав. — Побольше интервалы! — Он не объяснил ей и остальным, зачем надо интервалы пошире, — ударь снаряд прямо в траншею и, если люди сбились в кучку, не досчитаешься многих.

Но ни артналет, ни мины, ни даже эти Т-3 и Т-4 были страшны Ардатову, страшно было то, что на танках сидела пехота и пехота же бежала за ними.

— Рота! — подумал он. — Больше. Но уже не две!

— Что? — переспросил Рюмин. — Какая рота?

— Это я не тебе!

«Собрал последнее, что было, — подумал он о немецком комбате. — Эх ты, вояка! — презрительно добавит он. — Затянул, вовремя не бросил все! Считал, так, мол, управлюсь! Оправился! Если Белобородов, как сказал, даст по первое число, мы еще посмотрим. Белобородов ссадит пехоту, положит ее, а эти коробки мы уж какнибудь...»

Ударил сразу серия снарядов, они веером легли у самой траншеи, и следующая серия легла перед ней, и следующая, потому что немцы помнили, где их встретили в последний раз.

— Хорошо! — обрадовался Ардатов. «Здесь кабеля нет!»

— Что хорошо? — опять спросил Рюмин, но Ардатов лишь отмахнулся от него, но когда немцы ударили минами, и мины легли и впереди, и сзади, и прямо по траншее, он бросил Рюмину:

— Связь?

— Связь есть!

— Хорошо! Хорошо, Рюмин! Помни, вся надежда на тебя да на Белобородова!

Танки шли чуть-чуть левее, чуть-чуть южнее их левого фланга, целясь туда, где днем был пулемет Щеголева.

«Вот сейчас бы их и колоты! Сейчас бы! — подумал Ардатов. — Дивизион бы сорокопятки! Хоть пару батареек! Вот оттуда! И оттуда! — прикинул он позиции для пушек. — Ах, елкин корень! Ну, ничего! Костями так костями! — вспомнит он слова полковника Малюгина. — Не всюду же так! Не всюду же!»

— Связь?! — повторил он после повой серии мин.

— Связь есть!

— Хорошо! Хорошо, Рюмин! Считай, что мы на маневрах. Красные мы, а они — синие!

Было видно, как жмутся к башням танков десантники и что танки, чтобы пехота не отставала, сбавили ход.

«Сейчас бы!» — вновь с тоской подумал Ардатов. Но вспомнив ту бригаду тридцатьчетверок, которую получил полковник Малюгин, он повторил себе: «Не всюду так!» Он представил себе на миг, как эти тридцатьчетверки где-то потрошат такие же Т-3 и Т-4, обрадовался, как если бы это было не на участке Малюгина, а здесь вот, и скомандовал:

— Рюмин, приготовиться! Пехоту положи! Понял? Пехоту положи!

— Репер один, — крикнул Рюмин в трубку. — По ре-е-перу! — протянул он, давая немцам выйти на рубеж поражения. — Четыре! Гранатой, беглым — огонь! Четыре, беглым — огонь! Четыре, огонь!

«Четыре» означало, что каждое орудие Белобородова после каждой команды делало по четыре выстрела, а так как между ними проходили лишь секунды, нужные для перезарядки, взрывы сливались в непрерывающийся гул.

Те полста метров рубежа поражения — полста, потому что осколки от взрыва поражали на такую дистанцию, были для немцев, конечно, адом. До этого рубежа они бежали дружно, прижимаясь к танкам, но когда снаряды накрыли их, они смешались, и многие легли, и танки оторвались от них. Конечно, случайно, но одна граната попала в гусеницу танка, сорвала ее, и танк, развернувшись от инерции бортом, остановился.

«Ах, как бы в него вмазать сейчас!» — шально подумал Ардатов.

— Репер два! — было скомандовал Рюмин в трубку, но Ардатов рывкнул на него:

— Отставить! Пехоту держи! Пехоту! Не давай, не давай встать! Чтоб головы, сволочи, поднять не могли! Понял? Понял, Рюмин? То-то!

Пехоту надо было держать. Да как держать!

Но и немцы были не дураки лежать вот так, под разрывами. Им надо было коротким и быстрым рывком вырваться с этого рубежа, и они сделали этот рывок, и Ардатов крикнул Рюмину:

— Переноси!

— Прицел 62! Гранатой, четыре, огонь! Огонь! Огонь! Прицел 60! Гранатой! Четыре — огонь! Огонь! Огонь!

Солнце опустилось так низко, что светило прямо в глаза, и целиться было плохо — немцы прятались в этот свет, он был у них за спиной, мушка и прицельная планка отсвечивали, и Ардатов мазал.

— Дьявол! Дьявол! — ругался он, стреляя из винтовки. Он видел, что немцев падало мало, потому что плохо попадали все, кроме, наверное, Нади, и если бы теперь у них не было Рюмина, эту атаку они бы не отбили.

А Рюмин все в той же петушиной позе командовал:

— Прицел!... Четыре, беглым!... Огонь! Огонь! Огонь!

Чтобы лучше видеть, он вставал на носок, высовываясь из траншеи по грудь. Захваченный боем, той ролью, которую он играл в нем, Рюмин забыл, что все это не ученье красных и синих, что он рискует получить пулю в голову, и когда снаряды его дивизиона хорошо накрывали цель, он кричал в трубку:

— Отлично! Поражение! Ай-да молодцы! Ай да бомбардиры-канониры!

«Это от Белобородова, — понял Ардатов. — Там все, весь дивизион "бомбардиры-канониры". Значит, они его любят. Уважают. А он, наверное, большой, толстый, усатый. Судя по басу...»

— Прицел... Беглым, четыре, гранатой... Отставить, — тянул Рюмин, давая возможность немцам закончить перебежку. Но когда они, передохнув, набрав воздуха в грудь вскакивали, Рюмин резко командовал: — Огонь! Огонь! Огонь!

Снаряды рвались или чуть перед изломанной цепью немцев, или в ней, и так как каждый такой снаряд-граната был начинен сотнями стальных шариков, которые, разлетаясь с немислимой скоростью, убивали и ранили немцев, перебежка ломалась, немцы снова падали на землю, чтобы, втискиваясь в нее, спастись от шрапнели.

— Огонь! Огонь! — кричал восторженно Рюмин. — Мы держим их, товарищ комдив! Мы держим их, этих гадов!

«Рюмина — к ордену! — сказал себе Ардатов. — Напишу прямо Нечаеву. Накатаю такое представление, что не смогут не дать. И про мотоцикл! "Под огнем противника, проявив мужество и отвагу, не щадя своей жизни..." — начал сочинять форму представления Ардатов. — То-то радости у него будет в госпитале!»

Что-то будто толкнуло Ардатова — а может, он увидел боковым зрением — но он, забыв про немцев, которые опять легли, про танки, совсем уже близкие, но без десанта, потому что пехотинцев с них белобородовскими снарядами как сдуло, он повернул голову налево и мгновенно нагнулся, — вскинув винтовку, через изломанный кусок траншеи в Рюмина целился Просвирин.

— Гад! — крикнул он никому, мгновенно услышав, как хлопнул выстрел и, дернув пистолет и.) кобуры, бросился по траншее к Просвирину, слыша, как хлопнуло еще несколько выстрелов, как рванули сначала одна, потом вторая гранаты, но все-таки запоздал.

Рюмин лежал, навалившись на телефон, свесив голову, с которой взрывом сорвало пилотку. Рука Рюмина сжималась и разжималась — она как-будто или искала телефонную трубку, или как-будто с кем-то, а, может, со всеми прощалась.

Выдернув из другой его руки блокнот, Ардатов столкнул Рюмина с телефона, схватил из-под его колена трубку и крикнул в нее:

— Белобородов! Белобородов! Репер один! Прицел 58! Беглым, гранатой, огонь! Огонь! Огонь! Прицел 56, левее 2! Огонь! Огонь! Огонь!

Немцы все-таки не знали точно, в каком куске траншеи находятся Ардатов и его люди, и танки вышли левее, к пустой части, где уже не было никого, потому что все сбились плотней к телефону, к Ардатову. Когда же танкисты определили ошибку и стали разворачиваться правее, танкам пришлось идти перед обороной, как раз там, где Белоконь и остальные напратили мин, и два танка подорвалось сразу же, потому что одно дело проскочить поперек редкой цепочки мин, а другое поехать по ней или рядом. Тут шансов подорваться много, и два подорвались.

Но другие танкисты дернули свои машины за траншею и развернулись там, и, сминая ходы сообщения, стреляя из пулеметов, катили, урча, на них, и Ардатов с ужасом подумал, что вот сейчас

какой-нибудь из них порвет кабель, и если пехота в это время поднимается, удержать ее без Белобородова они не сумеют.

Теперь, когда танки были за траншеей, они атаковали сзади и с флангов и, держа под огнем все пространство, прижимали всех к земле, не давая поднять головы. Именно в этом и заключалась помощь танков пехоте, которая должна была добежать до окопов, закидать их гранатами и, растекаясь по ходам, добить уцелевших, а кого-то, кто бросит оружие и поднимет руки, пощадив, взять в плен.

Потом бы танки отошли, а пехота осталась бы, и этот кусок земли тоже оказался бы там — уже у немцев.

Такой маневр, такое взаимодействие часто срабатывало. Но в нем был один уязвимый фактор — давя ходы сообщения, пересекая траншей, танки в эти секунды теряли свои преимущества, которые давали им расстояние, броня и вооружение. Маленький пехотинец с большим и отчаянным сердцем, судорожно зажав гранату или бутылку, плохо видимый, то исчезающий совсем под землей, все время примеривался, чтобы угадать, где пройдет танк, и угадав это, затаившись, ждал его, прижавшись к стенке окопа, и, дождавшись нужной дистанции, кидал гранату или бутылку из мертвого пространства, где его не могли достать ни пулемет, ни пушка.

Белоконь и был таким пехотинцем с отчаянным сердцем.

Пехотинцем с отчаянным сердцем!

Подтянувшись вперед, навалившись грудью на бруствер, распластавшись на нем руками, Белоконь быстро, вертя головой, переводил взгляд с одного танка на другой, и, забывшись, в какой-то отрешенности от всех, в сосредоточенности до рассеянности ко всему, даже не задумываясь над тем, что он делает, сначала что-то насвистывал, как человек, который все никак не может решить, что же предпринять, а потом, пробормотав с напевом: «За рекой стоит туман. Печалится чалдоночка: вся любовь твоя обман, окромя робеночка...», — метнулся к Ардатову:

— Сейчас я вон того, копченого... Сейчас раз — и квас! И — пламенный привет! Воображает сволочь, что... Капитан, держи пехоту, мать ее!... Их семь, — сказал он о танках, — только семь... Что мы, пальцем деланы? Чеснок! Ты тоже! Не будь сволочью! Хоба! — скомандовал он себе как будто перед прыжком через деревянного коня на спорт-занятиях и юркнул, согнувшись, в ход сообщения. Дна раза мелькнула его пилотка, а потом, когда танк только пересек этот ход, Белоконь высунулся, как-то уж очень спокойно замахнулся и швырнул бутылку на него, и бутылка, разбрызгивая сгустки огня, подошла к танку. Конечно, танк все еще шел, ведь он был цел, и его пулеметчик стрелял, но Ардатов знал, что в этой железной коробке уже паника.

— Надя! Танкистов! — крикнул он, когда танк тормознул и можно было ожидать, что вот в его правом борту откроется люк и, как только гусеница остановится, между катков ползут, торопясь, танкисты. Но они не полезли, танк пошел-пошел-пошел по ходу сообщения, и курсовой пулемет бил по нему, потому что там еще мелькала пилотка Белоконоя.

— Репер два! — крикнул Ардатов в трубку. — Прицел-Огонь! Огонь! Огонь! Давай, Белобородов, давай! Держи пехоту, мать ее... Репер два! Прицел 54! Осколочным — огонь! Прицел 52, правее четыре! Огонь! — кричал Ардатов. — Репер три!...

— Держу! Без паники! Как на правом? — ответил Белобородов.

Там, на батареях, потные артиллеристы, работая, как сумасшедшие, заряжая, стреляя, отбрасывая стреляные горячие и вонючие гильзы, подтаскивая новые снаряды, успевали выстрелить за две или три секунды, только когда Ардатов, все время держа глазами весь кусок земли, на котором атаковали немцы, давал поправки: «Прицел, меньше два! Левее 0–20!» — только тогда между взрывами получалась чуть большая пауза.

Две мысли бились в голове Ардатову: вдруг почему-то Белобородов перестанет стрелять из своих пушек — то ли кончатся снаряды, то ли он пожалеет их и, вторая, — это, что без него, привязанного к телефону, не смогут отбить, сжечь эти семь оставшихся танков, и тогда он и все пропадут.

— Белобородов! Белобородов! Капитан! — кричал он в трубку после своих команд. — Не жалея! Не жалея ничего! Сейчас они драпанут, вот-вот! Честное слово! А без тебя — пропаду! Все пропадем! Не жалея бэка!

— Как у тебя на правом, на правом фланге, говорю? — басил взволнованно Белобородов. — Мы привязываем все хозяйство. Держись! Сам держись! Подходят?

— Да, рядом! Прицел 58! Беглым — огонь!

«Сволочь! Гад! Дерьмо собачье!» — как-то одновременно ругался мысленно он, думая о Просвирина, который, застрелив Рюмина, прилепил его к телефону.

— Щеголев! — крикнул он. — Щеголев!

Щеголев перебежал к нему. На Щеголеве не было ремня, а ворот гимнастерки был разорван чуть не до пупа, и на его поросшей между сосками груди темнели какие-то кровоподтеки.

— Второй готов!

Не отрывая трубки от уха, Ардатов скомандовал:

— Бери всех! Кого сможешь! Останови их! — он выбросил свободную руку в сторону танков. — Иначе!... Давай! Нет, — оттолкнул он Щеголева, когда тот было бросился к его бутылкам, и Щеголев побежал, почти не пригибаясь, крича:

— Все ко мне! Все ко мне!

И тут связь и оборвалась.

— Белобородов! Белобородов! Белоборо-д-дов! — шептал уже Ардатов, холодея, потому что трубка вдруг как умерла, — тот обычный шорох, писк, низкий, чуть слышный фон, который давала целая линия, исчезли. — Белобородов! Белобородов! Белобородов! Белобо...

Он швырнул трубку на рычаг.

— Связь! Живо! Пулей! Ну! — прохрипел он Николичеву, и так как Николичев чуть замешкался, всего на секунду, он выдернул пистолет. — Ну! Ты — тоже! — рывкнул он на Варфоломеева. — Ну!

Хватившись за кабель, Николичев побежал, пропуская кабель через кулак, а Варфоломеев, выпучив глаза, все никак не мог сдвинуться с места.

— Связь! Вперед! — рывкнул на него Ардатов и, дернув за плечо, толкнул за товарищем. — Кабель! — хлестнул он вдогонку, и Варфоломеев, упав на колени, схватился за кабель. — Вперед! — снова как хлестнул его Ардатов, но тут его кто-то толкнул, он увидел, что это Талич с гранатой и Чесноков с бутылкой КС, которую он держал за горлышко.

— Белобородов! Ухо! Ухо! Ухо! — еще раз заорал он в трубку и, выругавшись: «А, дьявол!» — цапнув противотанковую гранату и вторую бутылку, побежал за Чесноковым.

Ему мешали убитые и раненые, он так же, как Талич и Чесноков, прыгал через их ноги и плечи, и еще только один раз вспомнил о замолчавшей трубке, еще один раз похолодело у него на душе, а потом, пока он бежал за Чесноковым, за его выцветшей от солнца, но теперь грязной от окопной глины гимнастеркой на спине, не упуская ее из поля зрения, он видел и другое — берег Весновки, жену, дочь, отца, их дом, горы, Нечаева, госпиталь в Кезу, Валентину, командирский резерв, сталинградские улицы, шофера с сожженной машины, Старобельских, майоршу, рассвет здесь и ружье ПТР — и весь этот день, который заканчивался так плохо, потому что связи с Белобородовым уже не было, потому что оставалось драться с немцами самим, а это дело было, конечно, безнадежным.

У Талича не получилось, не получилось у него ни черта. Не умел он это делать, не успел научиться: он, поди, и ни разу не проходил обкатку танками. Талич выбежал в маленький, только начатый ход сообщения, с разбегу не замечая, что ход становится все мельче, то есть, что сам Талич на бегу все больше вырастает над его стенками, а значит, все больше подставляет себя под пули. И он получил куда-то пулю или несколько, потому что — Ардатов хорошо это видел — Талич вдруг споткнулся, но он тут же снова выпрямился, и уже по земле, так как ход сообщения кончился, побежал навстречу Т-3, но не добежал, упал, Т-3 проехал через него, а граната не взорвалась.

— Гад! — крикнул Чесноков. — Вы — того! — скомандовал он Ардатову и побежал наперерез металлическому Т-3.

«Ага! — обрадовался Ардатов, высунувшись на мгновение, чтобы посмотреть на пехоту немцев. — Лежат!» — Он не сообразил, что немцы лежат потому, что Белобородов там, на ОП, крича тоже в замолкшую трубу, глядя то в свой блокнот, то на карту, бьет и без его, Ардатова, команды по рюминским реперам, то приближая снаряды к траншее, так что они рвались в сотне метров от нее, то удаляя на два деления прицела и укладывая серию за серией взрывов, не дает пехоте подняться, закрывает Ардатова и всех от нее.

«Ну же! Ну же! Ну же! — говорил Ардатов своему Т-3, стоя на колени и прижавшись лбом к стенке хода сообщения. Земля была теплой, жесткой, приятной. Он чувствовал лбом, как она все сильнее дрожит, передавая лязг и сотрясение гусениц. — Я тебе сейчас... Ну же!»

Когда грохот и лязг приблизились так, что в них уже различался звон металлических пальцев, скрепляющих звенья, когда дыхнуло соляркой, когда земля, содрогаясь, загудела, когда грохот заглушил даже разрывы снарядов, когда как будто даже потемнело, Ардатов резко выпрямился, одновременно дернув полотняную лямку предохранительной чеки на ручке гранаты и резко отвел с ней руку назад.

Курсовой пулеметчик дал по нему длинную очередь, наверное, этот курсовой пулеметчик ахнул в душе, потому что сразу же понял, что он бессилен, что все для него кончено — Ардатов был в мертвом пространстве так близко, что видел, как отблескивает начищенная об землю сталь траков, как они сбегают с верхней точки гусениц вниз, роняя набившуюся между ними глину.

Пули прошли высоко над ним. Но его увидел и механик. Он рванул танк в сторону, так что танк занесло, но и для механика теперь все было поздно.

— На! — крикнул Ардатов, швырнув гранату в ленивец, и согнулся под брусстер.

Его ударило по затылку воздухом, воздух был таким плотным, что затылок заныл, как от удара валенком, но Ардатов, схватив бутылку, сделал два прыжка влево и, снова высунувшись, швырнул бутылку.

— На! — крикнул он опять и побежал к Чеснокову, чтобы отнять у него бутылку. Но Чеснокову не повезло. Чесноков поджег танк, но танк погнался за ним, став обеими гусеницами так, что ход сообщения был под его дном, и пулеметчик, поймав Чеснокова в прицел, всадил ему в спину целую очередь. Чесноков, как будто его ударили по позвоночнику ломом, сначала перегнулся назад и вскинул вверх руки, а потом упал на лицо, на свое курносое мальчишеское лицо.

Пока он падал, держа над головой руки, он встретился взглядом с глазами Ардатова, и Ардатов как будто услышал, как кричат его распахнутые сейчас от боли и от ужаса, что вот-вот он умрет, глаза. «Не надо!... Не надо!... Не надо!!!» — успели крикнуть они, прежде чем лицо Чеснокова ударилось об землю. Земля и погасила и этот последний страх Чеснокова, и погасила и боль в его худой, нескладной, юношеской спине.

Этот танк, не сбавляя хода, дымя, проскочил их оборону туда, где лежала немецкая пехота и остановился. Танкисты в горящих комбинезонах заволошно выскакивали из его люков, но кто-то, наверное, Надя, перестрелял их всех.

Когда два оставшихся танка развернулись и покатали назад, к пехоте, Ардатов вернулся к телефону.

* * *

Он ждал, когда починят связь, и сидел рядом с Рюминым. Передохнув чуть-чуть, он приподнял Рюмина, положил его удобней, на спину, так что Рюмин мог бы видеть небо, вынул из его карманов документы, письма, какие-то бумаги и затолкал все это в полевую сумку. Рюмин еще не заостенел, и когда Ардатов укладывал его, руки и ноги Рюмина хорошо слушались. Поправляя правую руку, Ардатов чуть пожал его ладонь, как бы говоря: «Мы держимся. Благодаря тебе. Спасибо».

— Вы мне не доверяете? Не доверяете, геноссе капитан? — спросил его Ширмер. Он сидел на корточках, наклонившись грудью к коленям.

— Откуда вы это взяли? — хмуро бросил Ардатов. Они были еще вдвоем. Рюмин в счет не шел.

— Вы мне не доверяете оружие. Заставляете лежать.

— Это не так. — Ардатов отвел со лба Рюмина волосы. Они были ссохшиеся от пота и пыли.

Ширмер не понял.

— Но я лежу. Все атаки лежал.

— И будете дальше лежать. Я приказываю, — подтвердил Ардатов. — И никакого оружия. В траншее — лицом вниз, руки на затылок! Вам ясно?

Ширмер молчал.

— Вам, Ширмер, ясно? — повторил еще жестче Ардатов. — Я вам, кажется, объяснил, что к чему?

— Ясно, — лицо Ширмера стало сосредоточенным. Он сел плотнее к стене, взял механически несколько комков глины и начал растирать их.

— Я подчиняюсь. Приказ есть приказ. Но...

— Никаких «но»! — оборвал его Ардатов. — Отрабатывайте легенду, где, как, почему вы попали в плен. На случай, если... если мы не удержимся. Ни один... — У Ардатова чуть не вылетело «ни один фриц», но он вовремя остановился, подыскивая слово, которое не обидело бы этого Ширмера, не оскорбило бы его, и вставил термин из пропаганды... — Ни один гитлеровец не должен видеть вас с

оружием. Вы — пленный, только пленный. Поэтому — лицом вниз, руки на голову! Вы — трус. Понятно? Пусть ваши дознаватели услышат от нескольких гитлеровцев: «Он лежал на дне траншеи лицом вниз! Как последняя трусливая собака!» Это сработает на вас.

— Да? Да... — протянул Ширмер, наконец соображая.

— Будем надеяться, что вы выпутаетесь и в следующий переход вам больше повезет.

«Неужели все сложится именно так?» — подумал Ардатов, высовываясь из траншеи, чтобы увидеть солнце. Оно было низко, очень низко, ладони на три от горизонта, так что полынь за бруствером отбрасывала длинную-длинную тень.

«А если его отправить с Белоконем? — подумал Ардатов. — Вдвоем, незаметно, они проскользнут. — Он колебался, хотя этот вариант был заманчив: ползком, ползком, по-пластунски, скрываясь в полыни, осторожно извиваясь в ней, два здоровых, достаточно сильных человека, чтобы ползти три сотни метров, могли незаметно уйти. Но он вспомнил Стадничука. — Еще минут двадцать!» — решил он и крикнул:

— Белоконь! Сержанта Белокопя ко мне!

Ширмер подвинулся к нему:

— Геноссе капитан! Я должен сказать вам... Я решил... Мало ли что может быть, что случится со мной...

— Да? — Ардатов обернулся. Ширмер был прав — если бы они не удержались, если бы Ширмер попал к фрицам, еще не известно, выпутался бы он, и в этом случае все, с чем он шел к нам, пропало бы. «Тю-тю! Кошка съела!» — сердито подумал Ардатов.

— Что вы предлагаете? Быстрей! Они могут опять полезть.

Совсем не сбивчиво, четко, как по-писаному, не раз, видимо, обдумав все, что он будет говорить, Ширмер рассказал ему:

— В Виттенберге — это между Лейпцигом и Берлином — в Виттенберге спаслась подпольная коммунистическая организация. Часть ее. Группа действует оторвано, имеется опасность дальнейших провалов. Работа группы — саботаж, небольшие диверсии, но, главное, сбор информации, полезной для Красной Армии и ее союзников.

— Да? Вот как? Это, знаете ли... Большая группа? — совсем неумно спросил Ардатов, так как ему не следовало бы этим интересоваться — большая ли, маленькая ли, — не его это было дело, — а Ширмер не должен был в конспиративных целях рассказывать ему это. Обстоятельства вынуждали Ширмера раскрыться ему, но лишь в минимально необходимом объеме, доверить все Ширмер не имел права.

Ширмер сделал вид, что вопроса не было.

— Мы имели план через пленных связаться с кем-то, но это рискованно — Гиммлер имеет своих людей и в ваших лагерях, — Ширмер поправился, — и в лагерях ваших пленных, — и подставляет их антифашистам, и контакт с пленными не решает главного вопроса — связи с вашей разведкой.

— Да, — согласился Ардатов.

— Группа имеет серьезную информацию уже сейчас: размещение новых военных заказов, отработка моделей новых видов оружия, в частности, нового вида тяжелого танка, имеется один человек, который сейчас в Норвегии, который связан с флотом. Группа считает, что эта информация будет ценной для Красной Армии. Потом, имея вашего резидента, группа могла бы активизировать работу. Этим немецкие коммунисты вложили бы и свою долю в борьбу с фашизмом.

Ардатов быстро посмотрел в лицо Ширмеру. Оно было спокойным и немного торжественным.

— Узнав, что моя часть выезжает на восточный фронт, группа поручила мне сдать и доложить все вашему командованию, — закончил Ширмер.

Конечно, Ширмер должен был бы докладывать все это какому-нибудь ответственному лицу, у которого все нити в руках, которое могло бы приказывать кому-то из наших разведчиков выйти на связь с группой Ширмера, конечно, все должно было быть так, а не так вот, как сейчас, думал Ардатов. Он здесь был бессилен, что он мог сделать?

Пока Ширмер говорил, Ардатов чувствовал, как груз, который кладет ему на плечи Ширмер, все тяжелеет. Ему думалось, что все фрицы, которых они убили сегодня, все эти Т-3 и Т-4 не стоят и крохи того, что сказал ему этот Ширмер. Что даже он сам, оставшиеся его люди, весь этот перерытый кусочек его земли, перед которым лежал тот бронейщик и на котором лежала также неподвижно половина от его собранной с бору по сосенке роты, тоже не стоят этой крохи, потому что по большому счету войны, по счету, в котором рота в сто человек — это так, пылинка, потому что по такому счету войны информация

Ширмера ценится куда выше. Разведывательная сеть в сколько-то ячеек, причем, не наемных агентов, не купленных, не завербовавшихся по каким-то другим причинам, а группа коммунистов-антифашистов, работающая на общее дело от сердца, от ума, это, конечно, стоило много.

«В самой Германии! У них под боком! Да один наш разведчик с передатчиком и, господи! — данные в Москве! В Наркомате обороны! И так не раз, не два, а всю войну! Или пока... пока не поймают! Мы сделаем все, а этого Ширмера...» — лихорадочно обдумывал Ардатов.

Но Ширмер пока не сказал главного, и Ардатов спросил:

— Как связаться с вашей группой? Пароль, отзыв? Место? Время?

Ширмер тоже понимал, что это самое главное. Слова о группе оставались словами — ищи ее, пойдика — найди. Стоило Ширмеру умереть, и что он говорил, что не говорил — было все равно. Он медлил, еще раз обдумывая.

— Подожди! — сказал Белоконю Ардатов, когда тот подошел, досасывая окурочек, но не выплевывая его, хотя окурочек уже жег ему рот. Вынуть окурочек он не мог, потому что обе руки его были заняты лентами и немецким пулеметом и немецкими же гранатами и консервными банками: Белоконь успел слазить в какой-то танк и выпотрошил его.

— Там старший лейтенант Щеголев и лейтенант Тырнов, — объяснил ему Белоконь. — Лейтенант Тырнов ходить не может, так командует с четверенек. Заворачивают всем этим, — он кивнул на свой груз, — делом. Он все-таки выплюнул окурочек, потому что окурочек мешал ему говорить. — Осталось полчаса, да, капитан? Черт не выдаст, свинья не съест! А король треф, то есть Лир — приказал долго жить. Слева над ухом. Там Надя, вы бы сходили, товарищ капитан. Как бы с ней чего, ну, в общем... Увести, что ли, оттуда или как-то иначе... — Он показал на консервы: — Не шашлычок по-карски, но все же... Заправимся на ходу, да, капитан?

— Быстро к Щеголеву! Чтоб сейчас же ко мне! — приказал Ардатов. — Брось все тут. И чтоб все оружие и все боеприпасы были собраны! Быстро! Быстро, сержант! Да бросай так!

Они со Щеголевым проверили пулемет, и пока они занимались этим делом, Ардатов в двух словах передал Щеголеву то, что сказал ему Ширмер.

— Вы передумали? — Ардатов поставил пулемет на бруствере и зарядил. — Вы, Ширмер, не имеете права передумывать. То, что вы знаете, не принадлежит вам. Явки! Быстро! Место, время, пароль, отзыв! Они вот-вот полезут. Видите, готовятся.

— Живей, Ширмер! Шнеллер! — приказал ему Щеголев.

— Запоминайте! — Ширмер кивнул. — Явка один — восточное крыло вокзала, восточная дверь. Обусловленность — у нашего связного в левой руке, заголовком вниз газета «Фелькишер беобахтер». Сложена так, что читается только «Фелькишер». Ваш пароль: «Где здесь надежное бомбоубежище?» Отзыв: «В Виттенберге все бомбоубежища отличны». Запомнили? В отзыве не «надежны», а «отличны».

— Повторите! — приказал Ардатов. Ширмер повторил, и Ардатов прошептал все это про себя: — Время?

— Каждое число, имеющее единицу — 1-го, 11-го, 21-го, 31-го. С пятнадцати до пятнадцати пятнадцати. Запомнили?

— Повторите, — приказал Щеголев. — Так. Несложно. Запомнил, капитан? Я тоже.

Наблюдая, как немцы скапливаются, перебегая к одному рубежу, Ардатов быстро, сосредоточившись, так что заломило в висках, несколько раз про себя повторил все эти данные. «Не очень хотят!» — подумал он о перебегающих немцах. Немцы, наверное, и правда, не очень хотели идти в атаку — день ведь кончался, за этот длинный день и они устали и насмотрелись, как погибали такие же, как они, у них тоже были измотаны и мышцы и нервы, а впереди их ждала ночь, отдых, еда, сон — всех — и солдат и офицеров — хоть по несколько часов, но ночь должна была дать им передохнуть, и поэтому последняя атака, почти уже в сумерках, атака по приказу старшего командира, не очень-то им улыбалась, и все они тянули время, это можно было видеть по тому, как недружно, как не быстро перебегали те, кто должен был атаковать, и как коротки были их перебежки. Не перебежки, а так себе — несколько шагов и опять на живот!

Ардатов крикнул ближнему к нему красноармейцу.

— Ко мне!

— Прибыл по вашему прика... — хотел было доложиться по уставу этот красноармеец. Он был, наверное, ровесник Чеснокова. Или на несколько месяцев моложе. Такой же тощий, длинношей, нескладный.

— Огонь с дистанции четыреста метров! — перебил его Ардатов. — Бегом всем передать! Огонь с четырехсот! — повторил он. Надо было удержать немцев еще там, на дальнем рубеже, надо было с самого начала, как только они поднимутся, убить у них мысль закончить день и встретить ночь в этой траншее, надо было пулями забить в них мысль, что заночевать они должны там, где они и были сейчас.

— Минутку! — остановил он Ширмера, который уже сказал: «Явка два...» и сдернул трубку с гнезда. Ширмер правильно торопился досказать все до конца, но если бы немцам удалась эта атака, все ширмеровские данные могли пропасть — что было бы толку в «явке два», если бы немцы убили за эти двадцать последних минут и его и Ширмера?

— Белобородов! Готов? Молодец, друг! Да, был обрыв. Садил, сволочь, минами! Репер один! Прицел 54, угломер 42! Взрыватель осколочный! Погоди!... Так... Пусть накопятся! — медлил он скомандовать «Огонь!»

— Пожожу! Пожожу! — басил там Белобородов. — Тебе осталось чуток. Каких-то полчаса. Всего ничего. Держись и все. И эти полчаса пролетят — не заметишь. Держись и все, понял? Хорошо. Вот так и держись! Дай-ка мне Рюмина.

Ардатов промолчал.

— Дай Рюмина! — повторил Белобородов.

Ардатов опять промолчал.

— Дай Рюмина! Ты слышишь? Связь! Связь! Глаз! Глаз! Ардатов! Ты слышишь? Что за черт. Слышишь!

— Слышу.

— Так какого же... Где Рюмин!?

Молчать дальше было нельзя, по тону Белобородова было ясно, что Белобородов понял.

— Рюмина нет.

Теперь молчал Белобородов. Потом он сказал.

— Что ж вы!... Что ж вы...

Ардатов услышал недоговоренное «не уберегли».

— Извини.

— Как же, черт подери, так, а?

— Извини.

— Как же так, а?

— Извини.

— Хороший был мальчик.

— Да. Извини.

— Всего один день!

— Да. Всего один день.

— Неполный даже день!

— Да. Неполный.

— Как он... как он хоть держался? Ах, черт!

— Отлично держался. Я хотел представить его к ордену. Я бы выбил ему этот орден. Веришь? Он отлично держался. Лучше не бывает. Отлично держался. Веришь?

— Верю... Как его?..

Ардатов знал, о чем Белобородов спрашивает. «Как его?» было формой вопроса о том, как кого-то убили, как кто-то был убит, но эти слова «убит», «убило» не включались, их заменял тон, и всем фронтовикам эта форма «как его?» была понятна.

— Сразу. В голову.

— В голову, — повторил Белобородов. — В голову... Слава богу, что хоть не мучился.

— Нет, не мучился, — подтвердил Ардатов.

— Что я напишу его старикам! — загорюнился на той стороне Белобородов. — Я же их знаю, я у них бывал. Они живут на Охте... Ах ты, горюшко-горе...

— Внимание! — перебил его Ардатов. Немцы, поднакопившись, поднялись. — Белобородов, внимание! Готов?

— Есть!

— Репер два, прицел пятьдесят четыре!

— Репер два, прицел пятьдесят четыре! — подхватил Белобородов.

— Гранатой, четыре... Огонь! Огонь! Огонь!

— Явка два... — сказал он Ширмеру, когда немцы снова легли. Ширмер было встал к пулемету. — Нет. Нет. Укрыться! Потом, потом! Явка два?

— Явка два — гомеопатическая аптека Цильмеха. Время то же — между пятнадцатую и пятнадцатую пятнадцать. Дни — каждое число с семеркой — седьмого, семнадцатого, двадцать седьмого. Обусловленность та же. Пароль: «Не знаете ли вы хорошего средства от ревматизма?» Отзыв: «Считаю, что лучше чем аспирин средства нет».

— Повторите! — Щеголев морщился, запоминая.

Пока Ширмер повторял, немцы опять поднялись.

— По реперу!... — крикнул Ардатов в трубку. — Прицел... Огонь! Огонь! Огонь! Огонь!

Теперь знали о группе в Виттенберге, если считать и Ширмера, трое. Но, следя за тем, как Белобородов удерживает немцев, командуя ему поправки, не упуская из поля зрения и тот последний кусок траншеи, куда сбились остатки его случайной роты, Ардатов лихорадочно обдумывал: что же делать дальше с этими сведениями.

Немцы, словно их кто-то подхлестывал, все лезли и лезли, перебегая, скапливаясь в цепочки, группки, и когда Ардатов накрывал их белобородовскими снарядами, не отходили, а, оставив убитых и раненых, проскакивали рубежи, по которым он бил, и создавали новые цепочки и группы.

Сзади зашуршало, и Ардатов дернул туда ствол пистолета, но вовремя задержал спуск.

— Тааш капитан! Ваше приказание выполнено! Обрывы... — доложил ему Варфоломеев, сползая, как гусеница, с бруствера в окоп. — В нескольких местах. Лапша. — Он, перебирая по стенке руками, уперся в дно головой и стащил зад и ноги. Обе ноги у него были прострелены, и через обмотки текла кровь.

— На обратной дороге, — бормотал он, разглядывая эти обмотки. — А Николичев там. Остался. Совсем... Приказ выполнен, тааш капитан, — пропуская опять в слове «товарищ» середину, повторил он. — Но я теперь — вне. Сикось-пакось. Отбегал. Два борта в среднюю. Оставалось каких то полсотни метров... Уже думал — повезет!... И сюда тоже. — Связист показал себе на бок.

Стреляя из пулемета, Ардатов все время чувствовал за спиной какую-то возню, как будто за его плечами что-то происходило, но у него не было времени оглянуться, а понять по звукам он ничего не мог. Но когда немцы легли, он все-таки, перезаряжая наощупь, оглянулся.

Ширмер, стоя на коленях, перевязывал Варфоломеева своим, немецким, серо-желтым бинтом.

— Так, фриц! — подбадривал его Варфоломеев. — Если бы чуть раньше! А то крови много потерял. Так! Анекдот — один кокнул, другой спасает. — Он выругался. — Вас всех надо перевешать.

Ширмер кивнул.

— Ладно. Ладно. У тебя есть бинт? Нет? Почему нет? Тебе не выдавали бинт?

— Почему-почему-почему!... — Варфоломеев слабел, потеряв много крови. По... — он выругался, — ...да по кочану! Отдал товарищу. А ты чего это по-русски болтаешь? А, фриц?! Тааш капитан, а как это фриц по-русски? Это вы его научили? Вы? Что-то больно быстро! Но все равно их надо перевешать! До единого!

Ширмер оглянулся, как бы ища, чем перевязать связисту ноги.

— Ладно, ладно. Пусть и по кочану...

— На! — Ардатов бросил ему свой санпакет. — На! — обернулся он еще через минуту, подавая ему свою полевую сумку.

Немцы все-таки легли, потому что Белобородов дал по ним, видимо, всем дивизионом, всем хозяйством, как назвал Рюмин, свой дивизион.

— Записать! Все записать! — Ширмер непонимающе смотрел на него, наверное, думая, что конспирация не позволяет этого делать, но решал теперь все Ардатов. — Все о Виттенберге, о группе. Отправим с разведчиком. Он и вы отойдете. Отойдете сейчас. Рискнем, Ширмер. Рискнем!

«Убьют Белоконя с бумажкой, ты ее уничтожишь и поползешь дальше. Убьют тебя, Белоконь поползет... Двух сразу не убьют! А убьют потом Белоконя, что ж, риск есть риск! Только вряд ли немцы будут тщательно обыскивать покойника-сержанта. Так, пошарят по карманам. Но ведь не в карман же положит Белоконь записку! Но куда?» — подумал Ардагов.

Немцы лежали. Наконец-то они снова лежали. По траншее опять ударили их минометы и артиллерия. «Вот сволочь! Не навоевался? Не навоевался? — спросил он мысленно фрицевского комбата. — Тебе всыпят за сегодняшнюю неудачу. За такие потери. — Он мысленно же ухмыльнулся. — Что, подавился, собака. И собаке не всякая кость по зубам!»

— Мелко! Мелко пишете! — приказал он, перехватив у Ширмера конец бинта и завязывая узел на ноге связиста. Но бинт промокал, и Ардагов окровавленной обмоткой затянул жгутом ногу связиста выше колена.

Ширмер, пристроив сумку на патронном ящике, быстро писал.

— Белоконя сюда! — приказал Ардагов Щеголеву. — Сам останься там! Нет, — сказал он сестре, которая запоздало перебежала к ним, чтобы перевязать связиста. — Поздно.

Это был не первый умирающий у нее на глазах, не первый вообще, не первый сегодня, и сестра ничего не ответила.

— В цепь! — приказал ей Ардагов.

— Вот что, — сказал Ардагов Белоконю. — Этот фри... немец — наш. Он пишет ответственные данные. Задача: как только они перестанут бить, вместе с ним — туда, — он показал себе за спину. — Доставить к нашим. Требуешь, чтоб сразу же в штаб, в любой штаб. Чем выше штаб, тем лучше. — Ардагов встретил Белоконя в нескольких шагах от Ширмера и мог говорить, что хотел сказать.

— Ясно! Ясно! — кивал Белоконь. — В ближних тылах не задерживаться. Как будто веду пленного. Пройду. Черт не выдаст, свинья не съест!

— Донесение понесешь ты. Он и так все знает. Это — на случай. Спрячь как следует, чтобы, если...

— Ясно! Ясно! Чтоб ушло со мной, — понял Белоконь. — Может, к гранате прикрутить — и если что — в куски? Себя и его? Или лучше их и его?

— Нет! Вдруг не сможешь кинуть. На гранате заметно. В патрон. Порох высыпь, пулю на место! («Ну, найдут у него два десятка патронов, что, их проверять будут?» — решил он). — Глянь, лежат?

Белоконь высунулся.

— Лежат! Лежат, гады. — Их мысли работали в одном направлении. — А если потом, где-то потом расколят этот патрон? Нет, лучше на себя, товарищ капитан. Под трусы. У меня там еще плавки. Что, они и там шарить будут? Она там и истлеет...

«Вряд ли кто-нибудь станет с тебя, с убитого, снимать плавки», — согласился про себя Ардагов.

— Ладно. Так. Действуй. По ходу сообщения и по-пластунски! Метров двести. Минимум двести.

Теперь высунулся он, чтобы посмотреть, как далеко еще видно. А видно было на километры.

— Немец наш, — еще раз подчеркнул он. — Обеспечь, насколько можно. Но донесение — важнее. Ясно? Когда не сможешь тащить — оставь его. Ясно? Это — приказ!

— Если что — если все-таки не отобьетесь, Ширмера ты не знаешь. Пленный и пленный. Ты выполнял приказ, мой приказ, и все. Доставить его. И только. Про донесение — забудь. Не было его. Не было никакого донесения. Тебе ясно? Понял?

Белоконь оскорбился.

— Да вы что, товарищ капитан. За кого вы меня принимаете? Тогда наряжайте другого. Если веры нет... У нас без веры ничего...

— Брось! — оборвал его Ардагов, но ему все-таки было отрадно, что Белоконь так оскорбился. Совсем не к месту он представил себе берег Черного моря и как по этому берегу, поглядывая на женщин в купальничках, ходит самоваром Белоконь. Что ж, он, поди, полноценно, со своей точки зрения, провел тот, фантастический сейчас, отпуск в Ливадии. — Верить тебе — верю. Не послал бы. Но ты должен все знать и все понимать. На Ширмера полагайся, как на себя.

— А я и так понимаю, — начал было Белоконь, но тут к ним перебежал, сгибаясь под брустверами, Ширмер.

Теперь уже мины падали и по ходам сообщения, и на брустверы, и в траншею, и Ширмер упал с ними рядом на дно.

— Вот.

Бумажка была крохотной, четверть листа из блокнота, и трубочка получилась тоньше мундштука от папироски.

«Научился, — одобрительно подумал Ардагов. — Конспирация. Десять лет опыта! Десять лет опыта, чтобы заниматься этим делом рядом с Волгой!»

Ардагов чуть раскатал ее, чтобы посмотреть текст. Записка была на русском.

«Лишний фриц не прочитает, — одобрил Ардагов. — А лишний наш — да!»

— На, прячь. — Он передал записку Белоконю.

Если бы Белоконь попал в плен и продал бы их, его, конечно, фрицы бы отблагодарили, во всяком случае шкуру бы свою он спас. Но сначала должен был быть убит Ширмер.

— Пошли. — сказал он ему, а Белоконя оставил: — Ты — здесь. Жди команды. Готовься — чтоб ничего лишнего с собой. Шинель брось. — Автомат и гранаты. Все.

Возле пулемета Ширмер сообщил ему третью явку:

— Резервная. Городская библиотека. Каждого пятнадцатого, в пятнадцать пятнадцать. Обусловленность та же — «Фелькишер». Пароль — «Не посоветуете ли хорошего букиниста?» Отзыв: «Кому в наше время нужны старые книги?»

— Еще раз! — Ардагов повторил. Это резервная явка запоминалась легче — горбиблиотека, пятнадцатого в пятнадцать — пятнадцать — все кругом пятнадцать: «Не посоветуете ли хорошего букиниста?» «Кому в наше время нужны старые книги?», обусловленность та же...

Ардагов помахал Щеголеву и, когда тот прибежал, приказал Ширмеру:

— Повторите все.

«Хорошо! Пойдет! — решил Ардагов. — Только не перепутать. Если ни Белоконь, ни Ширмер не пройдут, Щеголев поправит меня. Я поправлю Щеголева».

— Как только они перестанут бить, — он кивнул в сторону новой серии мин, которая ударила за траншеей, видимо, потому, что немцы думали, что там есть запасная позиция, на которой и укрываются остатки его роты, — как только перестанут, идите с Белоконем.

Он повторил, как они должны отходить.

— Если Белоконя ранят, когда не сможете нести, оставить. Это — приказ. Задача в этом случае — сдать. Будьте осторожны, будьте осторожны, чтобы наши не подстрелили. Вам ясно? Задача ясна? Повторяю, если Белоконя ранят, если не сможете нести — оставить. Это — приказ!

Он сделал паузу. Но Ширмер понял. Потери от гестапо, наверное, научили его мужеству, и в общей борьбе, там, в Германии, в борьбе с фашизмом, он, наверное, не раз видел или узнавал, как жертвовали собой люди ради других.

— Да, — сказал Ширмер. — Записку взять, уничтожить. Добираться одному. Вы, геноссе капитан...

Он явно хотел сказать: «А вы, геноссе капитан? Как вы? Может, все вместе?»

— Выполняйте задачу. На Белоконя положитесь, как на себя.

«А мы уж как-нибудь. Как получится, — подумал он. — Но, может, и получится. Еще полчаса до темноты. Всего каких-то полчаса! А ты — давай, иди. Ты за этим к нам шел. Мы ведь для тебя только случайность. Не к нам, так к другим. Таким же, как мы!»

— И думайте над легендой, если что. Если попадете... — Он чуть не сказал «к своим». — ...Если попадете к немцам.

— Мне туда? — Ширмер показал в сторону Белоконя.

— Да. Пока жив Белоконь — он старший. Он — здесь, на фронте — опытней вас. Поэтому. Точнее, он старший, пока он способен двигаться. Только до этой минуты. Вам ясно? Хорошо. Оружие не брать! Один автомат, два автомата — разницы нет, но вы с оружием — значит, не пленный. Идите.

«Теперь нас четверо, кто знает. Белоконь хотя и не знает, но имеет эти сведения. Кто-то же из четверых должен уцелеть!» — подвел про себя итог Ардагов.

Ширмер, уже сделав шаг к Белоконю, снова присел на корточки. Он смотрел вниз и горько говорил:

— Мне стыдно за свою страну. Мне стыдно за свой народ. Когда кончится этот ужас, когда немцы переболеют фашизмом, они еще много лет будут прокляты. Но не все они были такими. Были другие. Были, геноссе капитан, геноссе старший лейтенант, были другие!

— Да! — согласился Ардагов. — Идите. Вперед!

Он встал к пулемету, глядя под его сошками на тех немцев, которые подтягивались все ближе, и на тех, кто уже никогда никуда не сможет подтягиваться, а ляжет навек в эту выжженную, солонцеватую приволжскую землю.

«Сколько среди них таких, как Ширмер? — подумал он. — Но если эти, — он наблюдал, как правый фланг немцев охватывает его левый фланг, — не останутся, Ширмеру и Белоконю не уйти. Но кто-то же из четверых должен уцелеть, черт возьми!» — выругался он и сдернул трубку. В ней был фон, шорохи, какой-то писк — линия работала. И тут как раз немцы перестали бить по ним, и стало совсем тихо, так тихо, что было слышно, как звенит в ушах, шуршит под ветром полынь, и где-то далеко стонет безнадежно раненый.

— Белобородов! — радостно крикнул Ардагов. — Белобородов! Еще чуть! Я передам. Да, держим. Сейчас погоди — они отошли, собаки! Но сдохни, а помоги! Тут новое обстоятельство, очень, очень важное. Не могу говорить. Даже тебе. Не имею права! Но помни, от тебя зависит черт знает сколько. Ни я, ни ты — все мы тут не стоим этого! Так что держи их. Осталось немного! — торопливо и сбивчиво кричал в трубку Ардагов. — Как только солнце сядет, дай хорошо минут десять! По последним данным! Это если связь опять перебьют. Дай минут десять, чтобы мы смогли... Понял?

— Понял! Понял! — басил тоже радостно Белобородов на том конце провода. — При чем тут какие-то обстоятельства? Ты это выбрось из головы! Держись и все. Понял! Насчет солнца — ясно. Они нас засекли, но чихать! Еще один налет, больше они не успеют. Вот сволочь! — выругался Белобородов. — Слышишь, как близко! Опять заходят. Пока. Держись, друг! У тебя все?

— Нет, нет еще что. Вот еще что, Белобородов! — Ардагов секунды помедлил. — О Рюмине напишешь так: «Погиб смертью храбрых, прикрывая огнем пулемета отход большой группы раненых». Запомнил? «Прикрывая огнем пулемета отход большой группы раненых». Все что хочешь в начале пиши, что хочешь в начале, но конец должен быть таким! — Ардагов хотел, чтобы гордость за подвиг сына хоть на сколько-то убавила боль в сердцах стариков с ленинградской Охты. — Ясно? Хорошо. Так значит, как только оно, проклятое, сядет, даешь минут десять. Договорились?

— Ах, дьявол! — выругался он, потому что Ширмер, шатаясь, зажимал горло, шел к нему, хватаясь другой рукой за бруствер. Из-под ладони, которой он зажимал горло, и между пальцев текла кровь.

— Что же вы так! — крикнул на него Ардагов. — Надо было пригнуться! Ах, дьявол... Сестру! — крикнул он. — Сестру ко мне!

Ширмер, опираясь спиной о стенку, царапая ее свободной рукой, сел. Он виновато посмотрел на Ардагова снизу вверх, хотел что-то сказать, но лишь промывчал невразумительно, но даже от этого с его губ и из углов рта потекла кровь.

— Молчите! — приказал ему Ардагов. — Живо! — скомандовал он сестре. — Перевязать туго! Только чтоб не задохнулся. Остановить кровотечение. Сделать все! Майора сюда!

— Софья Павловна! Софья Павловна! — позвала сестра. — К нам! К нам!

— Сделать все! — повторил Софье Павловне Ардагов. — Остановить! — не дал он ей ничего возразить, поймав в ее взгляде возмущение. — Я приказываю!

«Ах, дьявол, — пробормотал он, отходя от Ширмера. — Какого черта перся, не пригибаясь! Если задета артерия, он протянет какие-то часы...»

Солнце садилось. Между ним и горизонтом оставалась полоса шириной в ладонь, было еще совсем светло, лишь погустел, стал не таким прозрачным воздух. За день, незаметно, в небо натянуло тучек, и солнце освещало их теперь снизу, золотило тучки, и, может быть, от их отраженного света само было золотым. Но оно, не то что дневное, не резало глаза, хотя и виделось накаленным — в центре особенно, а по краям чуть темней — окрашивая возле себя небо в кровавый цвет.

Ардагов вспомнил Просвирина и Жихарева.

«Какое все-таки быдло! Даже свое мерзкое дело не могли довести до конца — ума не хватило. Не терпелось: скорей, скорей, скорей! Пристрелим капитана, кокнем артиллериста, а там... там видно будет. Да ведь тот же Белоконь, Чесноков, остальные — что они, пошли бы за этим дерьмом? Ну, кто-то сдался бы, но ведь сколько на десяток сдавшихся пошли бы служить фрицам? Один? Да и один вряд ли. А сколько бы из тех, кто пошел бы служить, наслужившись, наунижавшись, насмотревшись презрения от людей — измучившись от этого презрения, — поправился он, — сколько бы этих, кто пошел служить фрицам, потом бы, замученный совестью, или спился бы, или шлепнул себя, или бежал, куда глаза глядят — хоть под расстрел.»

«К врагу, к чужим вообще, всегда прилипает дерьмо! — решил он. — Безродное дерьмо. Потому что, если тебе что-то не правится в твоей жизни, никто ее тебе не исправит, и твоя боль и твоя радость — твои».

Что у немцев служит немало всякого отребья, Ардатов знал. Контрразведчики время от времени ориентировали командиров обо всяких там забрасываемых через фронт шпионах, диверсантах, террористах. Что немцы создали целую систему подготовки их — всякие школы, курсы, центры. И всю забрасывали их в армейские тылы, где всегда много двигающегося военного народа — отставших, направляющихся в запасные полки или из них, всяких откомандированных; словом, где, имея хорошо сработанные документы, можно было действовать неделями, передвигаясь с места на место, собирая сведения и занимаясь диверсиями. И что вроде бы не испытывали недостатка в человеческом материале, иначе бы как работали эти школы и центры.

Конечно же, в эти школы попадали и те, кто видел в них путь из плена. Но ведь и немцы были не идиоты, чтобы так-то легко брать туда всякого, кто изъявит желание стать шпионом. Наверное, долго в плену следили, знали, сволочи, чем и как человек живет в плену. Наверное, начинали с того, что заставляли такого «добровольца» работать осведомителем, и пока он еще в лагере не «наосведомлял» столько, что его руки были в крови по локоть, не брали в школу. Да и там, конечно, давали такие задания, что отрезали человеку путь к своим.

«Да, но эта-то пара вроде из других, — сам себе возразил он. — Во всяком случае Просвирин. Матерая сволочь! Этот из добровольцев. Сам предложил себя».

Он пошел к нему, но остановился, не доходя, так как над ним, наклонившись с выражением полуомерзения, полулюбопытства стоял Щеголев. Здесь еще были Тырнов, Белоконь, Васильев, еще несколько красноармейцев. А Нади не было.

«Надо к ней! Надо к ней!» — приказал себе Ардатов.

— Сволочь! Гад! Гад ползучий! — говорил Щеголев Просвирину, хотя Просвирин и делал вид, что ничего не слышит. А может, он и правда уже ничего не слышал, и, закрыв глаза, чтобы и не видеть этот мир, прислушивался к себе, готовясь то ли к концу того, что было здесь, то ли к началу того, что будет где-то там. — Царя, что ли, ты захотел? На что же ты, гадина, рассчитывал? Думал, такая падаль, как ты, свалит нас? Да? Да? — допытывался Щеголев.

— Да! А ты что думал? Думал, все кончилось? Совдепия по конец света? Этот, ваш кумачовый рай — навсегда? Комсомолия, большевички! — взорвался вдруг Просвирин.

Он перевел дыхание, набирая воздуха побольше и, казалось, с каждым словом, с каждым толчком легких, с каждым ударом сердца выходила из него, как выбивалась, давно затаенная ненависть, лютая, первобытная злоба ко всему, что так или иначе было связано или даже только соприкасалось с совдепией.

Толчков легких, ударов сердца оставалось мало, Просвирин, чуя это, заторопился:

— Оговорили людей-то, заманили — и землю тебе, и сам хозяин!... Уважай власть да плати налог... Что ж, народ наш доверчивый, ему, как дитю малому — сладкие слова нужны. Он и пошел-то за Лениным, за вашим Лениным. А потом? — шиш! Землю забрали и всех в колхоз. Чтоб батрачили! На жидовских комиссаров... — Сатанея от злобы, напрягаясь от желания приподняться, Просвирин изогнулся, выпятив окровавленный живот, застонал, закрыл на секунду глаза, но сразу же их распахнул, чтобы договорить, сказать хоть раз то, что таил все эти годы, пока не пришли немцы. — Ан нет! Придет, придет время! И воля будет, и земля...

— Нет, ты глянь на него, капитан, — сказал Щеголев. — Ты видел такого птеродактиля? Это же ископаемое! Советскую власть хотел опрокинуть, а? Все, что сделано за двадцать пять лет, — к чертовой матери, а вместо этого снова помещички да буржуи. Нет, ты, капитан, подумай! Не может он без помещика, ну, прямо не может. Хотел бы да не может. Ну раб, ну смерд!

На лице, на разбитом лице Щеголева было написано и презрение и удивление, как будто он и правда столкнулся с существом времен птеродактилей.

— Бормочет тут что-то насчет земли и воли...

— А зачем тебе воля? Зачем тебе земля? — спросил Васильев, но так как Просвирин не ответил ему, он продолжал свои вопросы. — Жрать — пить самогонку вольно? Выкармливать кабанов? Чтоб под зиму колоть? Самогон да жареная свиная печенка, да толстая баба после этого — большего для тебя нет. Кур шупать? А иногда и сношек? Ты же скот. Был им и остался.

— Ну-ка, ну-ка, пусть еще, пусть еще поговорит! — попросил всех Белоконь. — Пусть, гад! Давай, давай Просвирин, — попросил он его.

Просвирин скорбно сложил губы, заморгал, пустил слезу. Видно, до самой глубинной сердечной боли ему было жалко свой народ, который так жестоко, с его точки зрения, обманули, дав после революции землю, но потом отняв ее, чтобы объединить в колхоз.

Но скорбь Просвирина была короткой. Вдруг он выкрикнул:

— Мало мы вас вешали!

— Ну! Ну! — сказал ему Ардагов. — Тебе больше ни этого времени не видеть, ни вешать не придется! А вешал? — вдруг ни с того ни сего, совершенно неожиданно для себя, спросил он. — Было дело?

Просвирин промолчал, но и по этому молчанию, и по вздоху, в котором было как бы и признание греха, и страх, что вот-вот, всего через минуты его в другом мире призовут к ответу, было ясно, что вешал Просвирин. И стрелял тех, кто защищал «Совдепию». «Гад!» — тоже должен был бы сказать ему Ардагов, но говорить этого не стал. Просвирин обмяк, как бы осыпался внутри себя, совсем посерел, так что его рука уже сливалась с землей.

— Шпокнуть его, а? — Белоконь дернул затвор и повел автомат, так что ствол закачался на уровне лица Просвирина. — Чтоб не вонял напоследок. А, товарищ капитан?.. Тот, Жихарев, готов, мы со старшим лейтенантом уделали его, чего же этот воняет?

— Да он и так... Не надо, — не поддержал Ардагов, слушая, как где-то далеко — в самом углу их позиции, где уже не было красноармейцев, воеет Кубик. Кубик выл, скулил, жаловался, как когда-то, когда был щеночком, когда его надолго оставили одного, когда бросали одного в этом страшном, большом, казавшемся ему враждебном мире.

Он пошел к Наде и остановился над убитым Старобельским.

Старобельский, вытянувшись во весь свой рост, лежал на спине, задрал бороду, закрыв глаза, вытянув вдоль туловища руки. Из его рваной сандалиии выглядывали испачканные глиной пальцы с желтыми ногтями. Пуля сразу убила Старобельского, попав ему за ухо, крови из раны вытекло мало, лицо Старобельского было без этой крови, и казалось, что Старобельский просто очень устал, лег вздремнуть, а уснул крепко.

У его головы, положив ему на лоб ладонь, стояла на коленях Надя.

Что мог сказать ей сейчас Ардагов? Он считал, что что-то же он должен говорить, он считал, что он не должен просто стоять и молчать, но все слова, которые приходили ему в голову, казались ему ничемными, мелкими, и он удерживал их в себе, а другие не приходили.

А Надя плакала, Надя плакала так, что Ардагов не знал, сможет ли она когда-нибудь перестать.

Невесть откуда и как, словно из воздуха, словно кто-то сделал с ним фокус, рядом с Ардаговым оказался Тягилев. То ли Тягилев подошел бесшумно, то ли Ардагов не услышал его, но Тягилев вдруг так неожиданно возник, что Ардагов вздрогнул.

— Что, плачет? — спросил Тягилев и сам же себе ответил, кивая головой. — Плачет, сердешная. — Сухой, какой-то древней ладонью он погладил Надю по плечу, по щеке, по голове. — Пускай себе плачет. Слеза — она не золотая. Чего ее жалеть? Ее жалеть ни к чему. И душа опростается, и око омоется. Одно к одному, потому как светильник для тела есть око, а коль око чисто, так и телу легко... Поплачь, поплачь, доченька. Что ж ты? Ну-ка. — Он погладил ее по голове. — Поплачь. Поплачь, доченька. Слеза — она не золотая, она брильянтовая...

Тягилев вздохнул и затих.

Надя снизу вверх посмотрела на Тягилева мокрыми, опухшими глазами, поймала его сухую руку, когда он отнял ладонь от ее головы, и виском прижалась к ней.

— Ты... ты проснулся? — не нашелся что спросить Ардагов у Тягилева. — Ты...

— Проснулся. Идти нам надо, а, товарищ капитан? — Тягилев, все не отнимая руки у Нади, поглядел через бруствер вперед и вообще на все вокруг. — Ишь, наложили вы их тут, иродов. Ишь, лежат! Ле-ж-а-а-т! — протянул он одновременно с удивлением и злостью. — Стоят!... — сказал он о танках тоже с удивлением и злостью, но удивления было больше. — Ведь как катили! Как катили! А вот и стали! Ишь!...

Пришел Щеголев. Он сел на корточки возле Нади, снял пилотку, вытер пилоткой лицо, положил ее на колени и опустил голову. Он не смотрел на Надю, а смотрел на дно окопа, безвольно уронив руки на него. Потом он вздохнул, закурил, все не поворачиваясь к Наде, словно не в силах видеть ее заплаканное лицо, наощупь нашел ее плечо и положил на плечо руку.

А Надя плакала, не утирая и не пряча слез, они текли у нее по грязным щекам, по подбородку, оставляя на них светлые полосы, как-то набок скосив рот, дрожа всем телом, наверное, внутри нее так же дрожало — каждой жилочкой — ее полудетское еще сердце. Она плакала, потому что ей было и жалко деда и еще потому, что она стала сиротой.

«Сиротинкой...», — подумал Ардагов.

— Позаботишься, отец? — спросил, кивнув на Надю, Ардагов. — Позаботься-ка... Она нам помогла, хорошо помогла...

Надя, не отпуская руки Тягилева, вместе с этой рукой закачала головой, как бы отрекаясь от всего, что она делала, от всего этого дня, и Тягилев выпроводил Ардагова.

— Вы идите, идите, товарищ капитан, у вас дел, поди... Или как, нету, нету уже дел? Ноне нету их? А мы уж тут все сами... Управимся. Управимся ведь? А, дочка? — спросил он, как бы для поддержки, Надю. — Похороним дедушку? Да, дочка?

— Тогда — быстро! — приказал Ардагов. — Давай, отец, действуй!

Он боялся, что если немцы снова, в эти последние полчаса светлого времени поднимутся и дружно ударят, то хоронить придется их всех, в том числе и Надю, и Тягилева, и его самого.

«Только вот кто будет этим делом заниматься? — подумал он. — Те несколько пленных, которых все-таки немцы захватят? Пленных из раненых? — Что же касалось самих немцев, так им, Ардагов знал, будет наплевать на их трупы. Немцы завалятся в этой траншее спать до утра. — До атаки на Малую Россошку, — уточнил он себе. — Нет, немцам будет не до их трупов, — еще раз со злою горечью повторил он. — Разве только когда пойдут их тылы, всякие там санитарно-дезинфекционные службы, и начальство этих служб заставит санитаров или могильщиков засыпать всех убитых русских, чтобы они не распространяли заразу, и их — Тягилева, Надю, Щеголева, Рюмина, Чеснокова, всех! — и его тоже! — засыпят в этой траншее, предварительно облив креозотом. И бронебойщиков тоже, — вспомнил он. — И вообще всех, кто лежит сейчас на этом куске земли».

— Быстро! — повторил он, и Тягилев засуетился.

— Быстро так быстро. Это мы враз. Вон она, лопатка-то. Как кто подставил! Бери, бери дедушку за ноги. Вот так. Понесли — тут вот сверток есть, недорытый ход. Там его и уместим. Земелька там сухая! Хорошо ему будет, покойно... Тут уж никто не потревожит.

Ардагов, соображая, что и как дальше делать, слышал, как Тягилев бормотал Наде:

— И не печалься, а уж коль невмочь, так печалься светло. Пришел в мир и ушел. Из праха в прах. Человек он, знаешь, каждый по этой дорожке идет. Главное, чтоб прямыми стези были его. Вот оно что. А дедушка пожил. И повидал ее, жизнь, и себя показал в ней. Так, положили. Теперь пальтишко его давай. Так... Вот сложим пальтишко, да под голову ему, чтоб удобней было. Голову приподними, приподними. Так, дочка. Теперь я руки ему на грудь. Так. Та-а-к. Теперь вон ту палаточку дай, накроем его. Дай, дай. Ничья она, коль валяется. Так, это чтоб земелька на глаза не давила. Ну, кинь горстку-то. Так. Ну, пухом земля ему будет...

Ссыпаемая с бруствера земля застучала, зашуршала по палатке, и Ардагов как бы очнулся, стяхнул наваждение от слов Тягилева.

— Пойдешь один, — сказал Ардагов Белоконю. — Пойдешь один. Смотри, за донесение отвечаешь головой! Понимаешь, чего оно стоит!

— Чеснок убит, — не то возразил, не то просто вспомнил Белоконь. — Чеснок убит. Гады...

— Давай вон с того угла, — Ардагов показал. — Незаметно на бруствер и по-пластунски. В этой твоей бумажке, считай, пять фрицевских дивизий. Понял? Ясно тебе это?

— Чеснок убит! — еще раз сказал Белоконь. Он и не смотрел туда, куда показывал Ардагов, а стоял так, вроде бы слова Ардагова его не касались. — Хороший он был, Чеснок. Я думал, мы потом с ним по корешам. Я бы его устроил в разведроту. Я бы всегда знал, раз сзади Чеснок, значит, спина прикрыта. Гады...

— Ладно. Да... Метров минимум двести, даже триста по-пластунски. Как думаешь? Ты должен пройти!

— Нет, — как решенное ответил Белоконь. — Никуда я не полезу. Не хочу я им зад подставлять. Не полезу. Вместе, капитан. Вместе! У меня предчувствие — вы верите в предчувствие? Так вот, у меня предчувствие — если полезу, не дойду. Не дойду я, капитан! И — пропало донесение.

Белоконь все не поднимал головы, тер носком сапога комочки и шевелил губами:

— Нет Чеснока. Нет его... Я ходил, смотрел. Я его засыпал. У него там не спина, а решето... Вместе, капитан, вместе... У меня предчувствие. Осталось всего чуток-чуток совсем! Вместе, капитан, вместе!...

— Что?! — Ардатов быстро сверху вниз и снизу вверх осмотрел Белоконя. — Ты понимаешь, что говоришь? Я приказываю! Это — приказ!

Щеголев локтем оттер Ардатова, сделал шаг-прыжок, так что его лицо было в каких-то сантиметрах от лица Белоконя.

— Ты — новобранец? — жестко сказал он. — Повторить приказ! — Рука Щеголева привычно коснулась кобуры и большой и указательный палец зажали и дернули застежку.

Через плечо Щеголева Ардатов видел, как сузились глаза Белоконя, как сжался рот, как по щекам, лбу, шее пошли багровые пятна.

— Да ты, старший лей... — начал было Белоконь, но Щеголев крикнул:

— Повторить приказ! За шкуру трясешься!

— А! — тоже крикнул Белоконь, стал на колени, бросил на дно траншеи свой шмайсер, рывком расстегнул ремень, выдернул из-за ремня два чехла по три магазина в каждом к шмайсеру, рывком же расстегнул ремень, сдернул с него обе гранатные сумки, толкнул под сапоги Щеголева один чехол с магазинами и обе сумки с гранатами, запрягся, схватив в одну руку шмайсер, а в другую чехол с магазинами, и выскочил.

— Шкуру?! Шкуру?! — хрипел он. — Эх, старший лейтенант... Это... — Он высморкался, отвернувшись, вытер обшлагом гимнастерки, отвернувшись же, глаза, нос и рот и ткнул стволом в гранатные сумки.

— На память! На вечную память! О Сережке Белоконе! Есть доставить донесение! Есть доставить! Пока! И — пламенный привет!

Опять ударили немецкие минометы, разрывая ломились плотно по обе стороны траншеи, а некоторые мины рвались и в ней и в ходах сообщения, и приказывать сейчас Белоконю пройти в тыл, то есть ползти, было бессмысленно — много ли бы смог проползти Белоконь через эти взрывы? Осколки мин секли полынь, ковыль, и Ардатов, думая «Только бы не перебили провод, только бы не выбили у меня связь», схватил Белоконя за ремень, дернул вниз, потому что Белоконь, лишь нагнувшись чуть ниже краев траншеи, ждал минуту, вот-вот должен был вылезти на бруствер и то ли, рискуя получить пулю, сделать во весь дух рывок от траншеи, то ли, полагаясь на свое солдатское счастье, сразу от нее поползти.

— Сядь! Отставить! Сядь, тебе говорят!

— Я что? Я насчет шкуры... — засопел, уткнувшись лбом в стенку, Белоконь. — Я ведь поляк — мой прадед был поляк, так мне говорила бабка, и чтобы поляк трясся о своей шкуре...

— Помолчи! — оборвал его Ардатов. — У, козел упрямый!... Ще польска не сгинела?

— Не! Не! — радостно затряс головой Белоконь.

Стало прохладней, откуда-то с севера, где тучи в небо были плотней, принесся ветерок, он обдувал лицо, шевелил полынь и пахнул дождиком. Быстро отмахиваясь крыльями, стремительной, плотной кучкой, пролетела вбок стая ласточек, и то ли что-то сигналила ей с земли, то ли просто так, тенькнула какая-то пичуга и вдруг, стремительно взлетев, чиркнула светлым тельцем по горизонту.

А солнце как заталкивалось за него. Заталкивалось, а не залезало, как будто не хотело опускаться за землю, как будто кто-то его задергивал туда. Оно было огромное, круглое, и от того, что чуть дергалось и все увеличивалось, казалось, что оно летит в Ардатова, летит из невыносимой дали, словно чудовищное ядро, пущенное самим злом, чтобы разнести его и тех, кто остался с ним жив, в клочья.

«Но и в океане, в вечной тьме, куда оно не пробивается, тоже есть зло», — подумал Ардатов.

Прямо на глазах солнце становилось все огромней, теряло накал, багровело, переходя к краям в малиновый цвет и делая малиновым пространство вокруг себя, и, коснувшись земли, вдруг сплюснулось в заметный овал, и Ардатов не мог не сказать себе:

«Ишь, как не хочет! Не упираться же! Скорей, давай скорей! Нам нужна ночь!»

«Ну вот, — подумал он, все наблюдая, как солнце, все-таки втискиваясь за землю, отсекалось ее чертой по все большему сегменту. — Ну вот, считай, что сегодня продержались. Еще сколько-то минут...»

— Приготовиться к движению! — приказал он. — Всех ко мне!

Пока передавали его слова, он слушал, как их повторяют по цепи, но онс быстро оборвались, цепь была очень короткой.

— Это ваша? — протянул ему его полевую сумку какой-то молоденький красноармеец. За день он видел его несколько раз, но фамилию не знал. Чем-то — худобой ли, тонкой мальчишеской шеей, голосом ли, а может, такой же юношеской застенчивостью, красноармеец напомнил ему Чеснокова. И он, он чуть было не позвал: «Чесноков!», — но вовремя вспомнил. Ему кольнуло в сердце, он откашлялся, чтобы не вздыхать, здесь было не до скорби, скорбеть о всех них должны были потом, здесь надо было опять действовать. За годы войны он потерял не одного такого Чеснокова, и он знал, что будет снова их терять.

Он знал, что они будут приходить и приходить к нему из десятых классов или, недоучившись, из заводских цехов городов, из деревень и деревенок, все они будут дороги ему, эти тонкошеие, честные, отчаянные мальчишки, и он будет все время их терять и терять. Одного там, другого здесь, третьего еще где-то, завтра, послезавтра, через месяц, через год, особенно, когда все они начнут наступать. Ведь, наступая, надо, по БУПу¹², иметь над обороняющимся тройное превосходство, потому что наступающий несет тройные потери. А наступать ведь надо было далеко — две тысячи верст. И, зная это, он сжал давно свое сердце и не позволял ему скорбеть, даже теряя таких как Чесноков, Рюмин, как старик Старобельский, Талич и всех и всех других. Он подумал, что завтра, даже еще сегодня он может потерять и Белоконя, и Щеголева, и Надю...

[12 — БУП — боевой устав пехоты]

Он сунул в сумку блокнот Рюмина и застегнул ее.

— Как фамилия?

— Федоров. Валентин Федоров. Я ее поднял, думал, забудете. Ее совсем затоптали, — объяснял, отступая, Федоров. — Я подумал...

— Пройди, — приказал он ему. — И ты, и ты, — добавил он еще двум красноармейцам. — Пройдите всю траншею. Соберите оружие. Что не унесем, испортить. Быстро!

— Надо распределить раненых, — сказала Софья Павловна. — Тяжелых шесть, безнадежных два. В том число и немец. Они не транспортабельны, но...

— Да, — согласился он. — Унесем. Лишь бы не стонали. Как вы? Дойдете? Главное — первые метров триста, потом можно медленней? До телеги. Если в нее впрячься? Может, лучше, чем нести? Хотя, скрипеть будет на всю степь.

— Не будет. Ее позавчера мазали. Так что... Ах, капитан, капитан! — сказала майорша другим тоном. — Если бы не вы...

— Бросьте! — отмахнулся он. — Если сейчас сунутся, всего взвод...

— Что ж, тут и умрем! — сказала майорша. — Пусть на плащ-палатках навяжут узлы — на каждом углу. Так легче, не скользит рука. Как насчет закурить? Нет? Что ж, попрошу у красноармейцев.

— А я вот не хочу, — возразил ей Ардатов. — Не хочу тут... Как Ширмер? Неужели умрет? Неужели ничего нельзя сделать? Нужно, чтобы он жил!

Софье Павловне была непонятна его заинтересованность в этом раненом немце, она небрежно ответила:

— Он уже почти умер. Сонная артерия, это, знаете ли...

Солнце, срезавшись до диаметра, как будто уже не в силах сопротивляться тому, кто задерживал его за землю, все усекалось, уменьшалось и темнело, темнело, как если бы его невидимая часть попадала в холод и от этого оно все остывало. Сумерки густели, но солнце еще освещало облака, свет от них отбивался вниз, и какое-то короткое время — всего минуты — все цвета в степи виделись четче — полынь желтей, суше, танки зеленей, а маскировочные песочные пятна на них — ядовитей, выброшенная из воронок земля и обожженная взрывами трава черней, а убитые — неподвижней.

С неба капнуло. Ардатов поднял голову к нему, помечтал:

«Хорошо бы дождик, хорошо бы, но вряд ли!»

Те черные облака, с которых падали редкие капли, не могли дать дождя, они казались темными лишь потому, что были ниже, и свет от спрятавшегося солнца проходил над ними, к более верхним слоям, отчего там облака еще на очень голубом небе были похожи на груды тополиного пуха.

— Ты, ты, ты, ты, ты, со мной, — приказал Ардатов, обернувшись к тем, кто уже подошел. Он показал на тех, кто, подойдя, не сел на дно, а стоял. — Белоконь — нет! Федоров со мной. Остальные — к раненым. Майор распределит. Тырнов — проследить, чтоб взяли всех. Ждать команду! Белоконь — к пленному! Отвечаешь за него головой! Быстро, Белоконь! Быстро!

Он спросил глазами Щеголева:

«Ты?»

«Как решишь!» — ответил тоже глазами Щеголев.

«Иди. Иди с ними».

«Ладно уж, остаюсь, — сказал ему глазами Щеголев. — Вместе до конца...»

— Куда? Куда мы? — переспросил кто-то кого-то.

— На кондитерскую фабрику! — ответил ему Белоконь. — Печенье перебирать. Целое к целому, половинки к половинке. Согласен? Или ты против, не любишь печений? Так я похлопочу за тебя перед начальством, мол...

«Ну, еще минут десять! Ну, пятнадцать!» — Ардатов высунулся из траншеи повыше, прикидывая, насколько же видно. Видно было еще далеко, на километр, и оставалось еще ждать, потому что, если бы они вылезли вот сейчас, да с ранеными, немцы добились бы их в два счета. Добились бы, как пить дать.

Он сам, он, Ардатов, будь на месте фрицевского комбата, он бы сейчас все положил, чтобы подготовить ночную атаку.

«Сразу после сумерек? Когда люди расслабятся! Или часа в три, когда все до одного сонные? Я бы ударил сразу. Вот сейчас бы. Пока еще видны ориентиры. Что мы теперь? Ни боеприпасов, ни сил. Санитарная команда!» — решил он.

Он снова посмотрел вверх. Лишь очень на большой высоте остался кусочек ясного неба, а в нем, как два перышка, две розовые полоски циррусовых. Небо ниже их уже смотрелось как море — темная вода, а потерявшие объем облака, как острова в нем.

— Так! — сказал Ардатов. — Еще чуть-чуть! — За дальним танком — за рюминским репером номер один — уже не различалось ничего.

— Щеголев! Всех, кто останется, в цепь! — приказал он. — Тырнов!

Как-то по-другому подошел к нему Тырнов: хотя и хромая, но быстро и в то же время спокойно, и по-щеголевски ничего не сказал.

— Раненых распределили? Хорошо. Первые сто метров — броском. Направление на телегу. Чтобы ни случилось, не останавливаться. Не останавливаться!

— Есть не останавливаться!

— Две-три минуты мы вам обеспечим!

— Ясно.

— За эти две-три минуты — уйти как можно дальше. Ясно?

— Ясно.

Ардатов подал Тырнову руку.

— В час добрый.

— Есть! — Тырнов быстро стиснул его руку, и этим рукопожатием как бы сказал:

«Ты остаешься нас прикрыть. Все ясно. Давай, действуй. И будь спокоен за нас. Мы сделаем эти сто метров броском, а потом чуть-чуть, чтобы передохнуть, пройдем шагом, а потом сделаем еще один бросок, и даже если тебя и всех с тобой перестреляют, мы не остановимся, потому что с нами женщины и раненые, ради которых ты и остаешься сам и оставляешь с собой других, чтобы прикрыть этих женщин и раненых, и я уведу их, потому что в этом и есть смысл. Иначе на кой черт было бы тебе оставаться и оставлять других с собой. Пусть это жестоко, но завтра я должен буду остаться, чтобы прикрыть кого-то, а сегодня, если сегодня — ты, то пусть тебе повезет!»

Что ж, такова для них была жизнь.

— Пока! — сказал Тырнов. — Ждем у телеги. Договорились?

— Взять раненых! — скомандовал Ардатов. Он обнял за плечо Надю. — Спасибо. Счастливо. Кубик прибежит. Позовешь его потом, только тихо — он услышит.

— Они, — Ардатов несколько раз показал большим пальцем через плечо, — они беспощадны к нам. — Надя не услышала его, не могла еще слушать и слышать его, и он должен был повторить эту мысль. — Они беспощадны к нам. Или ты считаешь иначе? Нет? Но если они беспощадны к нам, значит, и мы должны быть беспощадны к ним. Да?

— Да. Но все равно это ужасно.

Ардатов вынул пистолет, нажал защелку, подхватил обойму и посмотрел, сколько в ней патронов. В обойме не хватало больше половины. «Черт, — подумал он, — надо же так! Такая рассеянность кончится когда-нибудь для тебя плохо». Он дозарядил пистолет.

— Это ужасно. Ты права. Но это — война. И ее беспощадность требует быть беспощадным к немцам, друг к другу и к себе самому. Тебе ясно? Нет, думаю, пока нет, — ответил он за Надю. — Но ты поразмысли. О себе, обо мне, о немцах, о маме, Кирилле. О Рюмине... О Просвирине...

— Готовы? — громко спросил он всех. — Кто остается — к бою! Кто уходит — взять раненых. Взяли? Броском — вперед! Быстрее! Быстро! Быстро, товарищи!

Быть может, немцы и заметили, что группа отходит, а может, ее отход совпал с последней их атакой, но немцы, почти уже неразличимые в темноте — они скорей угадывались, чем виделись за вспышками автоматов — но немцы бросились к ним, стреляя, конечно, уже без прицела, так, приблизительно, быть может, какие-то пули в кого-то и попадут.

«Ты все-таки хочешь доложить, что задача дня выполнена? — успел подумать Ардатов о немецком комбате. — Черт с тобой! На, получи!»

Эти последние минуты этого дня и этого дневного боя были выгодней для него и для тех, кто был с ним, потому что снизу, с уровня земли ему и его людям немцы на фоне неба хоть как-то угадывались, и Ардатов, крикнув «Огонь!», припал к пулемету, и, отмеривая недлинные очереди, одновременно мысленно отмеривал то расстояние, которое пробегали отходившие с ранеными все те, кого увел Тырнов. Он стрелял, целясь на ответные автоматные вспышки, радуясь, что после каждой очереди он уже некоторое время не видит — значит, не видели и немцы.

Ему и тем, кто был с ним, удалось задержать немцев еще на три-четыре минуты, но когда он вставил последнюю ленту, он крикнул:

— Отходить! Всем отходить! Быстро! Щеголев — уводи людей! Быстро! — Он слышал, как зашуршала за ним полынь, и плечами почувствовал, что справа и слева в траншее уже никого нет, кроме убитых.

«Завтра фрицы, опасаясь заразы, сгонят сюда женщин и детвору и заставят похоронить всех наших убитых, — завертелось у него в голове. — Что ж, пусть так и будет — пусть будут ходить по степи женщины, старухи, старики, подростки, пусть эти люди будут находить, каждый раз содрогаясь, еще одного убитого и, постояв, скорбя над ним, тихо переговариваясь, похоронят его, и к вечеру, к такому же вечеру, наплакавшись, наплакавшись если не глазами, то душой, сделают то, что надо будет сделать...» — подумал Ардатов, все не решаясь выпрыгнуть из траншеи, но уже подтягивая, приподнимая пулемет. «Еще бы минутку, еще одну!» — уговаривал он себя, прикидывая, сколько еще успеют отбежать Щеголев и остальные.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! Идемте! Идемте же! — позвал его откуда-то сзади кто-то, и Ардатов, забывшись, переспросил, не оборачиваясь, все вглядываясь перед собой, но сняв уже пулемет. — Чесноков? — и тут же поправился! — Кто это? Кто?

— Я, Федоров. Идемте! А? А то... — ответил Федоров. — А то...

— Ардатов! Ардатов! — крикнул ему негромко Щеголев. — Не дури! — Щеголев спрыгнул к нему. — Не дури, капитан! Пошли, пошли! Быстро!

Уже наощупь, так как трубка не различалась, он сорвал ее и негромко крикнул в микрофон:

— Белобородов! Белобородов!

— Я, я, — ответил Белобородов.

— У тебя осталось что? Осталось?

— Есть, есть немного.

— Репер один, прицел пятьдесят два! — скомандовал Ардатов.

— Репер один, прицел пятьдесят два, — подхватил было Белобородов, но тут же сообразил, что Ардатов требует огонь на себя, по себе. — Ты с ума сошел!

— Пятьдесят два! — жестоко повторил Ардатов. Никого нет — один я. Понял? Понял, Белобородов? Хорошо. Считаю до пятидесяти. Телефон оставляю. Завтра звони фрицам. И если ответят — накрой. Понял? Понял? Прицел пятьдесят два! Считаю до пятидесяти. Нет, до сорока! Огонь! Белобородов — огонь! Спасибо! Пока, друг! Огонь!

Вскинув пулемет к Федорову, Ардатов выпрыгнул из траншеи и, подхватив пулемет, согнувшись пополам, чуть не падая, что есть духу, обгоняя Федорова, обгоняя Щеголева, побежал, стараясь держаться туда, где по его расчету была телега.

Он мысленно видел, как немцы, растекаясь сейчас по траншее, переговариваясь, занимают все ходы сообщения, и знал, что некоторое время у них уйдет, чтобы осмотреть эту захваченную позицию, что

после того, как солдат вскочит в траншею, которую так долго атаковали, его не так-то легко будет вытолкнуть из нее, не так-то будет легко послать дальше вперед.

— Смотрите, ищите! — говорил он себе, задыхаясь и сбавляя бег. — Докладывайте взводным, если они остались, докладывайте ротному, если он остался, докладывайте, что, кроме покойников, никого нет! А завтра... Завтра мы посмотрим... Завтра у меня будет батальон!

— Так! То-то! — крикнул он, останавливаясь и оборачиваясь, когда Белобородов, отсчитав «сорок», плотно накрыл траншею. — А завтра у меня будет батальон! — повторил он и тут же, вспомнив, что завтра почти уже наступило, поправился. — Сегодня у меня будет батальон...

Послесловие

Комбат Ардаатов был в Сталинграде тяжело ранен. Он удерживал там со своим батальоном один из цехов тракторного завода.

На этот раз Ардаатова отвезли в Ош, и он пролежал в госпитале до февраля сорок третьего. Перед выпиской он вызвал отца, жену и дочь. Они сняли комнату и целую неделю были вместе.

Конечно, как во всяких госпиталях, в которых лежат подолгу, люди ищут если не знакомых, то хотя бы сослуживцев по одной части — батальону, полку, дивизии, и если находят такого сослуживца, то считают его своим товарищем, более близким, чем остальные.

Командиров в госпитале было не так уж много, и когда на смену выписавшимся прибывали новые, их расспрашивали, из каких они частей, где воевали, не встречали ли они таких-то и таких-то.

Из числа самых близких сослуживцев для Ардаатова оказался командир из другого полка их дивизии, кареглазый, маленький, поджарый, узколицый лейтенант из запаса Иванецкий. Неожиданно для своей мелкокалиберной внешности он говорил басом.

Иванецкий был ранен в обе ноги — в правую стопу и левую икру, попал во время перебежки под пулеметную очередь.

Когда от их дивизии почти ничего не осталось, всех свели в сводный батальон, и Иванецкий воевал в одной роте с Белоконом и Щеголевым.

— Значит, живы! — воскликнул обрадованно Ардаатов, когда Иванецкий ему рассказал об этом. — Ай-да Белоконь! Ай-да молодец! Знаешь, этот Белоконь...

— Тогда был жив, — уточнил Иванецкий.

— Да, конечно, — не мог не согласиться Ардаатов. — За этот месяц...

С одной стороны окна госпиталя выходили к горам, и через эти окна Ардаатов видел тополя, дома, поднимающиеся по склону, еще дальше — сады, а еще дальше — горы, синие, а к вечеру даже фиолетовые с такими белоснежными вершинами, что на них было больно смотреть (но Ардаатов время от времени все равно смотрел на них), и над всем этим выгоревшее за лето небо.

— Так как там Белоконь? Трется, поди, в дивизионной разведке? Много говорит и поэтому быстро запоминается, и его, где бы он ни был, скоро знает каждый?

— Точно, — подтвердил Иванецкий. — Он сразу запоминается. Но он не терся в дивизионной разведке — последний раз я видел его на тракторном. Он сидел под фрезерным станком и спал. Там как раз не было куска стены, и Белоконя грело солнышко. Он спал на этом солнышке, держа под коленом «Шмайссер», а рукой противогазную сумку, полную магазинов. Мы только отбили атаку немцев, и Белоконь спал, как младенец. Он устал больше других, потому что это была третья атака немцев за день, а накануне ночью он ходил к ним в тылы — по канализационной сети, по подвалам. У нас от штаба дивизии до переднего края тогда было метров четыреста. Понимаете?

— Понимаю, — подтвердил Ардаатов. — Днем не высунь головы, а ночью в тебя стреляют по звуку. Кто же там был? С Белоконом? Старшего лейтенанта Щеголева не знали?

— Знал. Он убит.

— Это — точно? — переспросил Ардаатов. — И в таких делах иногда... путают. Ошибаются.

— Я видел сам. Командиров у нас оставалось считано, а Щеголев тоже из тех, кто запоминается. Щеголев лежал за котельной. Мы ее все-таки удержали тогда, но... — Иванецкому, наверное, даже не хотелось вспоминать, какой ценой они тогда удержали котельную.

— Там была еще грустная девушка, почти девочка, со снайперской винтовкой. Я, помню, подумал: «Ну, берегись, Паулюс!».

— И правильно подумали! — хмуро перебил Ардаатов. — Эта девочка... я бы и гроша не дал за себя, если бы попал ей в прицел. Это Надя Старобельская. Я видел, как она стреляет. Она спасла мне жизнь.

— Вот как? Когда я ее увидел, в левой руке у нее было пять подсумков, надетых на немецкий ремень. Получился как спасательный круг из подсумков. Но только в одном оставались патроны. Она откуда-то пришла. Из развалин. Она сказала Белоконю: «Сережа, найди мне», — и Белоконь ей приволок полцинка, и она набила подсумки и еще несколько обойм положила в карманы, а потом ушла. Как раз когда мы готовились к контратаке. К той, в которой и мне — по ногам.

Ардаатов снова отвернулся к окну. За дорогой и еще за переулочком, там, где город уже поднимался по склону, стоял длинный, плотно набитый людьми дом, похожий на барак, во дворе которого было

развешено белье, разгуливали куры, стояла привязанная возле забора коза, лежали на крыше будки собака, а прямо на земле ослица.

Обе двери дома все время раскрывались, то впуская, то выпуская людей — женщин, старух, детвору. Но из мужчин за все время разговора с Иванецким в дом пришел только один — какой-то колченогий, который поднял прут ослицу, подвел ее к тележке, впряг в нее и, вскочив боком на тележку, уехал.

«Они, — подумал о мужчинах Ардатов, — или где-то с Белоконом, или... за котельной».

Но ему все равно было приятно смотреть, как занимаются своими делами женщины и старухи, и как играет во дворе детвора.

Ардатов считал, что в госпитале он как у Христа за пазухой, как в долговременной обороне, как в сто втором эшелоне. Образно говоря, ему там следовало лишь есть компот.

«Вот именно, что мне еще здесь надо?» — думал Ардатов. По его прикидкам, да по тому, что говорили врачи, его ждали четыре месяца госпитальной жизни — чистая постель, завтраки — обеды — ужины, хоть и не очень сытные, но все-таки! Перевязки, бани, потом костыль, потом палка, потом небольшая хромота, которая со временем должна была пройти, потом резерв, потом назначение. Потом, конечно, опять фронт, но до него было минимум полторы сотни дней и ночей. Во время войны такие масштабы жизни для комбатов казались астрономическими. «Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, — считал он. — Самая зима, вряд ли будут большие наступления, значит, где-то в позиционной обороне. А перед снегом я на окне сделаю кормушку для воробьев и буду на кухне воровать крупу».

Он себе уже распланировал эти сто двадцать дней — прочесть всего Джека Лондона, заняться и дальше немецким, научиться играть на гитаре. Как максимум, он должен был вникнуть в «Капитал» Маркса, хотя и сомневался, что все в нем поймет. Еще у него впереди виделись разговоры с товарищами по палате, домино, шахматы, газеты и радио, кино и концерты — полный набор госпитальных удовольствий.

В мае Ардатов воевал на Воронежском фронте, командуя очень хорошим батальоном. В этом батальоне было все, о чем он мечтал: и пульрота с «Максимами», и взвод автоматчиков, и минометная рота, и батарея сорокопяток, и три полнокровных стрелковых роты по сотне человек в каждой.

Этим отличным батальоном Ардатов положил в землю Воронежской области немало немецких захватчиков, которым так хотелось там поселиться — воронежские края ведь богатые.

Так как Ардатов был снова ранен, он не участвовал в Курском сражении, но, подлечившись, форсировал Днепр, воюя в 3-ей гвардейской танковой Армии. За бои на Букринском плацдарме его наградили орденом Кутузова. В этих боях он и потерял свой батальон — от него уже на четвертый день после десантирования осталось очень мало, а на отдых и пополнение он отвез всего тридцать семь человек.

Поздняя осень сорок третьего прошла для Ардатова спокойно — на формировке. Весной сорок четвертого он наступал с новым батальоном по Украине и в апреле дошел до Тернополя.

По мере того, как немцы отступали, бои все ожесточались. Проигрывая войну, немцы как отползали к своим границам, и одни немцы — те, кто управлял войной — знали, а другие немцы — те, кто воевал, простые исполнители воли первых, чувствовали, что чем дальше они будут отходить к Берлину, тем позже наступит час расплаты.

В их армии ожесточилась и дисциплина: полевые суды, штрафные части, эсэсовцы в тылу — все это должно было поднять боеспособность дивизий вермахта и, в определенной мере, поднимало. Немцы дрались за каждую позицию.

В наступлении всегда существует проблема снабжения — как обеспечить наступающих, значит, отходящих от баз и складов, боеприпасами, едой, горючим, всем остальным, нужным для боя. Теперь же, отходя, немцы как прислонялись спинами к этим складам и базам и, как правило, имели нужное для боя. Они создавали высокую плотность огня, и мы несли большие потери.

Прогнать немцев с нашей земли было нелегко, нет, нелегко.

Вот и таяли роты Ардатова, отбивая у гитлеровцев клочок за клочком этой земли. Каждый новый день войны был и новой задачей для Ардатова и его батальона. Дней же войны оставалось еще много, и эти дни войны брали солдатские жизни. А как же иначе можно было отбить все те многие сотни километров, которые немцы забрали в сорок первом и сорок втором?

Каждый раз, взглядываясь в лица солдат, сержантов и офицеров, которые приехали пополнять батальон, Ардатов знал, что одних раньше, других позже он потеряет. Но мысль, что с любимым из них он пройдет, хоть сколько-то пройдет вперед, смягчала все.

«Ведь кто-то же должен идти вперед, — говорил он себе. — Кто-то же должен быть искалеченным, должен и умирать, чтобы сначала выгнать гитлеровцев с нашей земли, а потом их добить в Германии. Там, откуда эти сволочи начали! Там, где сейчас и столько ждут нас!»

Ардатову было горько терять свои батальоны, и, управляя ими в боях, он старался сберечь людей, но командир полка ставил Ардатову задачу дня, и он должен был выполнять эту задачу — то ли отбивать у немцев деревеньку, то ли пшеничное или картофельное поле, то ли какой-нибудь перелесок, то ли сбивать засевших немцев с берега речки, то ли выгонять их с железнодорожной станции. Родина, наша земля и состоит из этих полей, деревень, городов, речек, станций, и, чтобы освободить Родину, надо было освободить их.

Немцы редко оставляли хоть километр просто так, без боев, хотя это тоже было. Сколько же полей, городов, речек, лесов вместились в те километры, которые надо было пройти, ни представить себе нельзя, ни счесть их. Не счесть и боев за них, не счесть подвигов наших людей. Но трудно счесть и могилы, в которые они легли, — их ведь миллионы.

* * *

В одной из них лежит и Ардатов. Он был убит поздней осенью сорок четвертого, уже за Вислой, в Польше, на Магнушевском плацдарме.

Немцам удалось разорвать полк, в котором воевал Ардатов, на две неравных части, причем, Ардатов со своим потрепанным батальоном был в большей. Но немцы навалились на меньшую, прикрываясь жидкой пехотой, но плотным артиллерийским огнем и несколькими «тиграми». Командир полка приказал Ардатову атаковать, и Ардатов дождался вечера, когда темнота лишила немцев преимущества в силе огня — ни пушки, ни танки немцев не могли в темноте бить прицельно. Это была последняя атака Ардатова. Но он знал, что если она не будет успешной, немцы подтянут за ночь резервы, утром смогут сбросить и его батальон к реке и перестрелять остатки у воды или даже в воде. Поэтому, когда его роты легли под неприцельным, но все-таки страшным огнем, Ардатов собрал на своем командном пункте все, что было можно собрать — ездовых, поваров, санитаров, легко раненых. Он шел со всеми, перебегая в темноте от взвода к взводу, командуя: «Вперед! Вперед! Быстрее! Быстрее! Вперед!»

Роты поднялись — у него были хорошие — обстрелянные офицеры, а среди сержантов попадались не хуже Белоконя, и они пробилась к отрезанному батальону, и к утру положение было восстановлено.

Но этого утра Ардатов не видел — его нашли, когда уже совсем рассвело. Ардатов лежал щекой к пахоте, словно прислушиваясь ко всему тому, что происходило на земном шаре.

На его земном шаре.

Пуля пробилась Ардатову правую бровь и вышла через затылок, так что умер Ардатов мгновенно, наверное, еще до того, как ударился лицом об землю.

* * *

Васильев потерял под Кенигсбергом левую ногу. Но это, конечно, не повлияло на его профессию — он и сейчас еще играет на гобое в одном саратовском ресторанчике. Он хороший музыкант, и хотя слегка злоупотребляет вином, ему это как-то прощается, тем более, что человек он безвредный, да и понимают его люди. Семья у него не сложилась, что ж, не у каждого все хорошо складывается. Так в жизни не бывает.

Сержант Белоконь, как будто сама судьба хранила его, дважды побывав в госпиталях, дошел до Берлина. 10 мая, почти не веря себе, ошалев от счастья, он на ступенях обгорелого Рейхстага, на ступеньках, засыпанных осколками стекла, канцелярским мусором, гильзами, он, Белоконь, простой лесоруб, приплясывая от наполнившего его душу восторга, кричал:

— Конец! Конец войне! Ура, братцы! Ура! Мы им всыпали! Этой кодле! — Под кодлой он понимал гитлеровцев. — Ишь, присмирели! — строжился он, глядя, как беспрерывно отводят куда-то пленных. — Нах Москау? То-то! Сами полезли! То-то! Запомните навсегда!

На этих ступеньках, да и во всем громадном, от копоты еще более мрачном рейхстаге, побывали тысячи, тысячи, тысячи таких, как Белоконь, солдат и сержантов. На колоннах и стенах они писали и

выбивали свои звания, имена, фамилии, города и деревни, откуда они пришли сюда, ворошили сапогами кипы разбросанных бумаг, закидывая головы, рассматривали лепку и узоры на потолке, дымили сигарками, закусывали сухарями и консервами, предварительно хорошенько хлебнув из фляжки, вели себя шумно, беспечно, поплеывая на фашистские вензели, которых было много на стенах, и вообще на все теперь на свете.

Это были долгожданные дни. К ним — от 22 июня 1941 года шли двести миллионов советских людей, и путь был славен — в нем столько совершалось подвигов, и скорбен — в нем было столько жертв.

Но ведь только такой путь и дает нам право называть Победу — Великой.

Белоконь демобилизовался, уехал домой и протолкался с месяц без дела. Так как и праздничному настроению приходит конец, Белоконь снова подался в лесорубы и работал в лесорубках четверть века. Сейчас ему под шестьдесят, теперь он слесарничает в мастерской леспромхоза. Он остался таким же, если подвыпьет, то воображает, что еще, хотя и не молод, но все-таки чертовски хорош, и в присутствии симпатичных женщин держится «самоваром». Но все-таки он здорово сдал. Когда он смотрит кино про войну, ему трудно удерживать слезы, но утирать их нельзя, даже в темноте кинозала заметят, и эти слезы блестят у него на щеках, пока не просохнут.

Генерал Нечаев читал одно время лекции по истории прошлой войны в военной Академии. Особенно тщательно он занимался первым, трагичным для нас периодом войны. У него сложились выводы о причинах неудач Красной Армии в сорок первом и в сорок втором. Но его здоровье сдавало, он ушел в отставку, пожил немного спокойно и умер от сердечной недостаточности.

Надя Старобельская жива. Окончив в пятидесятом институт, она некоторое время работала в комсомоле, потом перешла в школу, и сейчас она завуч одной из самых хороших школ в Курской области. У нее две дочери, есть даже и внук, а ее муж, бывший танкист, начальник автобазы.

Следы Тырнова затерялись, как он кончил войну (если дожил до ее конца), неизвестно. Что же касается Тягилева, так он, демобилизовавшись, остаток своих дней проработал пасечником.

За той братской могилой в Польше, где лежит Ардатов и солдаты его последнего батальона, хорошо ухаживают: приходят польские пионеры и вдовы поляков, которые погибли здесь, неподалеку, и похоронены рядом.

Все, кто приходит — с венками ли, поправить ли что-то, подкрасить ли оградки, все ребята, девочки, взрослые, перечитывая «Иванов, Ардатов, Гнедич», другие фамилии, гордятся этими людьми, не пожалевшими себя ради борьбы с фашизмом, гордятся и хоть недолго, но от души скорбят.

В этой гордости и в этой скорби и есть, наверное, то главное, что мы подразумеваем, говоря:

НИКТО НЕ ЗАБЫТ.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

Алма-Ата, 1972 год

Примечания

¹ Ab ovo (лат.) — букв.: от яйца, т.е. с самого начала

² Спряжение немецкого глагола «быть» - «Анна и Марта едут в Анапу» - фраза из школьного учебника

³ КС — самовоспламеняющаяся жидкость

⁴ ОП — огневая позиция

⁵ Товарищи! Наш последний призыв — Только вперед!

⁶ ПМП — пункт медицинской помощи

⁷ МГ — тип немецкого пулемета

⁸ Летнаб — летчик-наблюдатель

⁹ ПНП — передовой наблюдательный пункт

¹⁰ ППГ — полевой передвижной госпиталь

¹¹ ГЛР — госпиталь легко раненых

¹² БУП — боевой устав пехоты